Эстер Файн

По дорогам, не нами выбранным



ПО ДОРОГАМ,
НЕ НАМИ ВЫБРАННЫМ

Esther Fain

THE WAY THAT WAS NOT CHOSEN BY OURSELVES

Overseas Publications Interchange Ltd
London 1990

Эстер Файн

ПО ДОРОГАМ, НЕ НАМИ ВЫБРАННЫМ

Overseas Publications Interchange Ltd
London 1990

Esther Fain: PO DOROGAM, NE NAMI VYBRANNYM

First Russian edition published in 1990
by Overseas Publications Interchange Ltd
8 Queen Anne's Gardens, London W4 1TU, England

ISBN 1 870128 81 8

Cover design by Andrzej Krauze

Printed and bound in Israel

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЭВАКУАЦИЯ

"Ребята, айдате глядеть-то, выкувырованные приехали!"

Так встретили нас колхозные мальчишки, когда после долгих перипетий мы достигли конца пути – колхоза "Верный путь" сельсовета "Пьянский перевоз" на реке Пьянке. Не думайте, что название аллегорическое. Река Пьянка, а может быть, и сельсовет "Пьянский перевоз" существуют и поныне в Горьковской области в районе города Арзамаса.

Нас было четверо девушек из Латвии: две еврейки, Элла и я, одна чистокровная латышка по имени Тоня и Нина, полуеврейка-полуармянка, воспитанная на русской культуре, как, впрочем, большинство латвийских евреев.

Когда немцы уже находились на подступах к Риге, из нас, студентов университета, организовали группу первой помощи, которой обучили в течение трех дней. Это было похоже на увлекательную игру, в которой мы участвовали с большим подъемом: ведь мы едем на фронт, на передовые позиции, где борьба и настоящая жизнь, хотя там рискуют жизнью и лишаются ее! Все же остальное – одно прозябание.

Из Риги мы выехали в закрытой машине для перевозки хлеба. При выезде из города нас где-то кто-то обстреливал. Мы не могли разобраться, где и кто (машина ведь была закрытой), но это, безусловно, были не немцы. Так добрались до Пскова, там нас посадили в теплушки. Это я приняла как должное: сейчас война, и, конечно, все пассажирские поезда идут на фронт. Надо привыкать к неудобствам: на фронте будет еще труднее. Все было ново, интересно, и сами неудобства являлись частью приключения.

Из раскрытых дверей видны были безграничные поля низкорослой редкой ржи и овса. Среди этого монотонного пейзажа возникали серые деревеньки с избами, крытыми соломой. Нас, горожанок, вид этих бедных полей, где васильки иногда преобладали над рожью, не смущал. Наоборот, мы вспоминали, как в субботу (мы, еврейки) ходили за город гулять и набирали букеты васильков домой. Но обилие соломенных крыш поразило. Эти низкие грязно-серые избы, крытые такой же грязно-серой соломой, с подслеповатыми окнами, перебросили нас в мир далекий и чуждый, мир глубокого прошлого, знакомый только по стихам Некрасова и Кольцова.

Но сейчас ведь другой век! Советская власть! Тут уже построен социализм! Как же это может быть?! Немцев тут еще не было, война еще не проходила! Что же это такое?!

Но солнце светило вовсю. Мы были молоды и веселы. Война нарушила строй нашей упорядоченной жизни, и это странное положение – стремиться к неизвестному и быть уверенным, что именно это неизвестное и есть самое нужное и важное, – каким-то образом пьянило нас и отодвигало на задний план не только впечатления от проходящих перед нами картин, но и мысли о вчерашней жизни, о судьбе оставленных родителей, о том, что будет, если немцы займут Латвию.

В поезде за несколько дней наших странствий установился какой-то быт. На остановках бегали за кипятком, пили чай (у кого был), делились продуктами. Но были и такие, которые ели в своем углу, отгородившись от всех. Раз в день нам выдавали хлеб, и мы с аппетитом поедали его, запивая кипятком.

Были даже скоропалительные семьи, возникавшие за одну-две ночи. Например: он – молодой латыш, она – русская, с двумя маленькими дочками и с пожилой благообразной мамашей. В течение двух ночей он сделался и мужем, и зятем, и папашей двух чужих детей, причем все происходило довольно открыто. Мы посмеивались, но нас это совсем не задевало.

Немного о понятии "кипяток". Это одно из первых явлений советского быта, которое прочно вошло в нашу эшелонную жизнь. В Латвии я не встречала такого удобства, как кипяток на станциях. В вагонах люди ели бутерброды, закусывали яблоками или грушами, не говоря уж о тех редких счастливчиках, которые извлекали из пакетов оранжевый апельсин, благоговейно очищали его и с величайшим вниманием и осторожностью, разделив на дольки, отправляли, священнодействуя, каждую по отдельности в рот. Но чтобы при приближении остановки люди вскакивали и мчались к выходу с огромными чайниками, толкая и давя друг друга?! В солидной Латвии даже помыслить о таком было невозможно. Но мы, искренние поборницы социализма, поняли, что страна большая, ездят долго, и потому надо заботиться о человеке, а выпить горячего чаю куда как приятно. Добыча кипятка очень забавляла. Кто-то снабдил нас старой посудиной. Латышка Тоня, самая ловкая из нас, была у бачка с кипятком среди первых. Она даже выучила слово "кипяток", произнося его на латышский манер – "кипятокс", с ударением на первом слоге.

Раз на одной из бесконечных запыленных станций с жухлыми палисадниками, с кривыми заборчиками и замызганными вокзалами мы вышли в поисках воды. Стояла душная, влажная жара. Мы были грязные и потные, мы совсем одурели от жары и тряски, и первым желанием было помыться и напиться. Спеша к водокачке, я остановилась. Передо мной на пыльной траве сидел старый дед и ладонью вытирал пот с лица. Одет он был в совершенно вылинявшую рубашку, а на ногах были валенки, разлапистые, разношенные до предела, но – валенки.

– Дедушка, что же вы в такую жару в валенках? Разве не жарко?

– Жарко, дочка, только стар я уже босиком ходить.

– Почему босиком, – возразила я, – вы бы обули ботинки!

Старик поднял на меня свои старые выцветшие глаза и, помолчав, сказал:

– А чтобы ботинки обуть, сперва надо иметь их, а я уже не помню, когда я их видал.

Я очень удивилась и никак не могла понять, как при цветущем социализме, при новейшей технике у рабочих людей нет ботинок. Но при всем моем глупом удивлении у меня хватило ума не выразить его вслух.

Город Горький мы видели только издали, когда поезд остановился на несколько минут на дальних путях. Оттуда мы прибыли в Арзамас. Там ожидало большое разочарование: нам объяснили, что на фронт нас сейчас не возьмут, ибо еще неизвестно, кто мы такие, может, друзья, а может быть, и враги. Нас пошлют работать. Теперь, когда враг напал на нашу родину, надо работать вдвойне и этим доказать свою преданность, и если действительно докажем, то, может, и возьмут на фронт.

Так как Элла и я с детских лет принадлежали к сионистской социалистической организации "Гашомер гацаир", готовились уехать в Палестину и жить в кибуце, занимаясь физическим трудом, нам было ясно, что работа – это святое дело, и мы тут же согласились идти в колхоз (по нашим понятиям – подготовка к кибуцу). Тоня и Нина не захотели с нами расстаться, и мы решили идти вместе.

После долгих переездов и остановок на глухих станциях и полустанках мы прибыли на конечный путь нашего путешествия – село Пьянский перевоз на реке Пьянке – и предстали перед лицом местной власти, то есть перед председателем сельсовета "Пьянский перевоз".

Это был молодой белесый парень с подслеповатыми глазами без ресниц. Критически осмотрев нас, он поинтересовался, куда мы желаем быть направлены. Мы с готовностью отвечали, что в колхоз. Он поглядел с недоумением:

– А что вы собираетесь там делать?

– Как – что? – возмутились мы в один голос. – Мы будем работать!

– А-а, значит, вы работать хотите? Ну, что ж... – Он еще раз обвел нас безресничным выцветшим взглядом, как бы говоря: ну и дурье! И вдруг выкрикнул зычно: – Сашка, по-

давай лошадь, вези их всех в село Выжлеи, колхоз "Верный путь", они работать хотят!

Мы вышли из сельсовета на площадь, поражавшую какой-то застарелой скукой. Трава по краям была измята и усеяна плотным слоем подсолнечной шелухи и окурков, точнее – жалкими остатками окурков, которые, как я потом узнала, докуриваются подростками почти до ожога пальцев. В середине площади в серой пыли копошились куры с очень занятым видом. По краям стояли невысокие строения неизвестного назначения, на противоположной стороне – длинный барак, а на нем, поражая глаз, красовалась вывеска, где белым по красному было выведено: "Столовая".

– Столовая! – воскликнули мы радостным хором. – Саша, подожди, мы закусим и поедем.

Худенький остроносый Сашка, мальчик лет десяти – двенадцати, окинул нас мудрым всезнающим взглядом и произнес неожиданным баском:

– Зря это все, и нечего вам туда ходить-то. (От него первого мы услышали окающую речь.)

– Саша, но мы же голодные!

– Ну и что же, что голодные, – сказал он тоном взрослого, увещевающего несмышленых детей, – все равно ничего хорошего не найдете.

(У него это звучало: *"Все ровно ничего хорошего не нойдете".*)

– Но мы же есть хотим, нам не обязательно хорошее, нам бы чего-нибудь!

Сашка махнул рукой, как бы убедившись в нашей полной умственной ограниченности, и буркнул: "Ладно, идите".

Мы зашли в столовую. Это была длинная комната, уставленная деревянными некрашеными столами и лавками. Была также стойка, а за ней на стенах висели полки, зиявшие абсолютной пустотой. У стойки стояла женщина, и она обратилась к нам:

– Вам чего?

Мы еще раз окинули взглядом пустоту полок и растерянно сказали:

– Нам бы чего-либо поесть...

– Поесть? – протянула в задумчивости продавщица и тоже скользнула взглядом по пустым полкам. – Да чего же вам дать-то?

На минуту мелькнула надежда, что, может, в другой комнате что-то варится и она сейчас вынесет тарелку дымящегося супа с мясом, но надежда тут же угасла. Буфетчица открыла под стойкой какой-то запертый шкафчик, вынула четверть буханки черного черствого хлеба и, положив это на стол перед нами, предложила чаю. Мы грызли нашими молодыми зубами круто посоленный черствый хлеб, который казался, между прочим, очень вкусным, и запивали его жидкостью, называемой чаем.

Выйдя из столовой, мы увидели нашего малорослого возницу. Он держал в руках вожжи несчастной лошаденки, по которой даже студент первого курса мог отлично сдать экзамен по лошадиному скелету.

Сашка расселся на передке, широко, как заправский ямщик, расставил худенькие ноги и хрипло прикрикнул на лошаденку, что стояла с низко опущенной головой: "Н-но, не балуй, зараза!"

Мы улыбнулись, потому что трудно было представить балующейся эту забитую "заразу".

Мы тронулись в путь. В Латвии я не видела, чтобы десятилетним детям доверяли лошадь, и я спросила:

– Саша, а как это тебе, такому маленькому мальчишке, доверили лошадь?

– Какой я маленький! – обиделся Сашка. – Мне, чай, шестнадцатый год пошел!

Мы переглянулись и замолчали. Было что-то удручающее в этом хриплом голосе, напоминающем голос взрослого мужика, маленьком детском теле и худеньком личике с суровыми глазами.

За пределами сельсовета "Пьянский перевоз" по проселочной дороге наша кляча пошла понурым шагом. Но кругом зеленели деревья, голубело беспредельное небо с мелкими облачками, и до близости знакомое солнце тихих дереве-

нек и провинциальных городков улыбалось нам, и мы беззаботно болтали между собой в ожидании новой, воспетой советскими журналами колхозной жизни.

Через час мы приехали в село Выжлеи, колхоз "Верный путь", и вот она началась – наша удивительная, веселая колхозная жизнь.

* * *

Село было небольшое, всего два порядка, то есть две улицы крест-накрест. В центре – просторная поляна, покрытая сочной травой. Там же возвышалась церковь с забитыми окнами и, конечно, без креста. Она, как и в других колхозах, служила амбаром для ссыпки зерна. На противоположной стороне находились колхозные учреждения, где заседали председательница и кладовщик, чью роль я не поняла до конца, так как никаких кладовых мне увидеть не пришлось, и стучал на костяшках счетовод.

Мы стояли посреди поляны и не имели ни малейшего понятия, что с нами будет, но не беспокоились, так как были уверены, что советская власть о нас позаботится. Вокруг собрался народ – поглазеть на нас, то есть толпа из баб и мальчишек; чуть подальше стояли девчонки, перешептываясь и хихикая. Мужчин не было вообще. К нам не обращались, но выражали мнение о нас вслух:

– Ну и чудные эти выкувырованные, и одеты-то не по-нашему!

– Гляди, и не стыдно им, платья-то короткие, скоро задницу видать!

Сами они были в длинных юбках и носили кофты навыпуск с длинными рукавами.

– Гляди, гляди, эта, здоровая-то какая!

– Ну да, а ростом-то не вышла. (Это обо мне.)

Но самое большое любопытство вызвала Нина, жгучая брюнетка: ее армянские глаза так и пылали черным огнем, но главное, что поразило толпу, – ее брюки. Для того времени и для нас это не было обычной одеждой.

– Бабы, глядите, и что это такое делается? Девка – да в штанах!

– Да ты что, дурная, или стыду в тебе нет совсем?

И они, гневаясь, оглядывали ее со всех сторон, между прочим, с большим интересом. Одна пожилая женщина выделилась из толпы и, поглядев на смущенную Нину с явным отвращением, плюнула ей под ноги, воскликнув: "Баба в штанах. Тьфу, срам-то какой!"

Плюнув еще раз, она величественно удалилась. После бесцеремонного оглядывания и не менее бесцеремонного высказывания мнений о нашей внешности началось настоящее знакомство.

– Вы, девушки, откуда будете, отсюда далеко?

– Мы из Латвии.

– Из Латвии, а где ж она есть, эта Латвия, поближе от Москвы или подальше?

Мы сбились с толку и не знали, как объяснить. Тогда пожилая, степенная тетя Паня, как мы потом узнали, вывела нас из неловкого положения.

– Да что вы, бабы, пристали? Видите, людей издалека пригнали, там у них немец сейчас. Им бы посидеть теперь, отдохнуть, а вы пристаете.

Она распорядилась, чтобы Ванька и Шурка принесли скамью и поставили перед нами длинный стол из неструганых досок.

– А вам, девушки выкувырованные, счастье. Вас мясным обедом кормить будут! – Этому мы, конечно, несказанно обрадовались.

Толпа не расходилась, а, наоборот, уплотнилась за счет вновь прибывших, которые, не слыхав наказов тети Пани не приставать, тут же приступили с вопросами.

– Ты какой нации будешь, девушка? – обратилась ко мне высокая старуха басовитым голосом.

– Я? Еврейка.

– Яврейка? Да будет врать-то! – Кругом рассмеялись, будто поймали меня на неудавшейся лжи.

– Что вы, бабушка, я не вру. Я действительно еврейка!

– Будет врать-то! – повторила старуха. – Разве такие яврейки бывают?

– А какие бывают?

– А тебя как звать-то?

– Этя.

– Вот видишь, а яврейки все Хайки да Сорки, с длинным носом да шпекулянтки! – И, оглядев меня с головы до ног, убежденно изрекла: – Не подходишь.

Она была права. Под это определение я не подходила ни по каким пунктам: меня не зовут ни Хайкой, ни Соркой, нос у меня короткий и вздернутый. В спекуляции я до сих пор не только ничего не соображаю, но даже не представляю, какого рода эта деятельность. Таким образом, переубедить их мне не удалось ни тогда, ни позже. На все мои уверения, что я еврейка, они добродушно отмахивались: ладно, поврала и хватит.

В стороне стояли две молодые бабы и, неодобрительно поглядывая, говорили между собой. В заключение одна выкрикнула:

– И чего выкувырованным этим счастье такое? Им мясной обед варят!

По нашим домашним понятиям, мясной обед варится каждый день, и в чем же тут счастье небывалое, мы не поняли. Но вот, наконец, мы сели за длинный стол, нам подали глубокие тарелки, полные супа (мясного!), и по ломтю черного хлеба. Окружавшие нас бабы и особенно дети смотрели нам в рот с неизъяснимым выражением.

Покончив с супом, мы ожидали, как водится, второе блюдо.

– А им еще скоро чай дадут, вот как их принимают! – послышалось между баб. Мы переглянулись, и несдержанная Нина (все-таки сказывалась армянская кровь) спросила:

– А когда подадут мясо?

Поднялся шум, галдеж, мы уловили возгласы:

– Ишь чего захотели! Мясо им подавай! Смотри, откуда такие взялись?

– Бабы, тише, они же наших порядков не знают! – ста-

ралась успокоить всех тетя Паня. Когда шум улегся, она объяснила: – Мясо, девушки, не про нас с вами сварено. Мясо начальству.

Мне хотелось узнать, кто подразумевается под словом "начальство", но, вспомнив негодование, вызванное вопросом Нины, я прикусила язык. "Еще успею познакомиться с теми, кого обозначают этим словом", – подумала я. И не ошиблась. Но вот подан чай – светло-коричневая жидкость в граненых стаканах толстого стекла. Мы сидели, ожидая сахара.

– Что же вы, девушки, не пьете? – участливо спросила тетя Паня.

– Мы будем пить, мы просто ожидаем сахара.

Воцарилась тишина. Бабы отстранились, в лицах сквозила открытая неприязнь. Даже тетя Паня отошла, смотря с осуждением.

Мы не понимали причин общей враждебности и сидели растерянные. Тогда высокая старуха (та, у которой басовитый голос) вышла из толпы и обратилась к нам строго, но без ненависти:

– Ишь вы, девушки, чего захотели! Сахару! Да мы этого сахару годами уже не видели. У меня внуку семь лет, а он не знает, какой такой сахар бывает, поняли?

Мы не поняли, но молчали. Трудновато было понять, как при социалистическом коллективном хозяйстве, так заманчиво выглядевшем в статьях и книгах, дети растут, ни разу не видев сахара.

После обеда мы познакомились с колхозным начальством – молодой худощавой женщиной, председательницей. Она произнесла речь. Сначала объяснила текущий момент, то есть, что враг напал на нашу родину, но что мы раздавим фашистскую гидру и враг будет разбит.

Это была первая речь, которую я слышала в Советском Союзе, она произвела на меня большое впечатление, и я тут же решила, что должна работать изо всех сил, пока меня еще не отправили на фронт. Я была всем сердцем согласна со словами председательницы, что крепкий тыл ведет к победе. Конец речи был неожиданным:

– А вы, девушки выкувырованные, должны отдать все силы колхозу, потому что мы приняли вас в наш дом как пострадавших от фашистов, мы дадим вам избу у тети Лиды, а мальчишки нанесут вам свежего сена, чтобы было мягко спать.

– И чего только им не хватает, выкувырованным, и свежего сена им подавай, чай, и на соломе спать могут, – послышался ворчливый голос.

Председательница строго глянула в сторону говорившей:

– Постыдилась бы ты, Шурка, у них фашисты дома забрали, а ты о сене. Надо сознательность иметь.

– Сознательности хватает, а коровам жратвы не хватает, – огрызнулась та. Мы с восхищением смотрели на председательницу: вот настоящий советский человек!

– Завтра, девушки, как начнут в рельсу бить, выходите на работу, – закончила председательница. Я перевела нашей латышской подружке Тоне всю речь, и она удивилась: а что же мы есть будем?

Я не знала, что ответить. Мне казалось нетактичным приступить к председательнице с таким обыденным вопросом после горячей патриотической речи. Но девушки поддержали Тоню, и мы отправились в контору выяснить этот вопрос. Председательница выслушала нас и ответила:

– В колхозе, девушки, расчет делают в конце года. Вы сперва работайте, а в конце года увидим, сколько вам полагается на трудодни.

Тут даже мой непрактичный ум возмутился.

– Извините, пожалуйста, – сказала я, – получается, что мы будем целый год работать, а есть только в конце года?

Да, действительно, получилась неувязка, и председательница на минуту смутилась. Она повернулась к счетоводу и сказала:

– Прикинь-ка, сколько получится, если дадим им по полкило муки на брата.

Счетовод прикинул на костяшках. По его мнению, получалось многовато, и он недовольно хмыкнул. Но председательница взглядом остановила его дальнейшие поползно-

вения и обратилась к нам с царственным жестом королевы, дарующей поместья приближенным:

– Так и быть, девушки, получите с завтрашнего дня по полкило муки на брата, а в остальном устраивайтесь сами.

Этот совет мы приняли во внимание в последующие дни, так как после обеда мы были почти так же голодны, как до него, и о еде мы больше с начальством не заговаривали.

Мы поселились у тети Лиды в отдельной избе, которая состояла из одной просторной комнаты, на треть занятой большой русской печью. Меблировка была скромная: охапки свежего сена, впрочем, скоро потерявшего свою свежесть. Днем мы убирали сено к стенам, в виде турецких диванов, а вечером раскладывали на полу и покрывали двумя простынями, которые ухитрились привезти Элла и Нина.

На следующее утро с восходом солнца ударили в рельс, и под эти звуки мы проснулись. Умылись у колодца, поливая друг другу на руки из ведра, и заспешили на поляну у церкви, где собирались на работу. Всех баб разделили по звеньям. Мы попали в звено тети Лены. Выход на работу затягивался. И тут предстал перед нами Санька-бригадир, высокий плечистый мужчина с крупными красивыми чертами загорелого лица. Со временем мы узнали его жену Таньку, худенькую невзрачную женщину, мать шестерых детей, которая таскала на себе мешки, вскапывала землю, была первой на молотьбе и, кроме того, вставала до зари – испечь хлеб и приготовить завтрак семье и варево двум боровам, которых мальчишки, то есть сыновья Саньки и Таньки, довели до совершеннейшего расстройства нервов; боровы кидались на каждого встречного, к удовольствию всей Санькиной ватаги. Между прочим, я тоже была одной из жертв этой семейной забавы.

Саньке по его высокой должности бригадира тяжелой работы не полагалось.

– Бабы! – крикнул он. – Что же вы на прополку не выходите?

Взрыв голосов возвестил, что Манька и Любка еще не явились и работать за них никто не собирается. После полу-

часовых пререканий между Санькой и женщинами появились Манька и Любка, и мы отправились на прополку проса.

Посевы находились в трех-четырех километрах. Шли мы, конечно, пешком.

По прибытии на место опять начались препирательства между бригадиром и звеньевой тетей Леной. Предметом спора была степень засоренности полей. Тетя Лена доказывала, что в нашем наделе засоренность третьей степени, а Санька стоял на том, что от силы второй, а местами и первой степени, и это вызывало возмущение колхозниц. В конце концов Санька и тетя Лена пришли к соглашению (ведь по степени засоренности поля насчитываются трудодни), и мы приступили к работе. Борозды были очень длинные, с одного конца другого не видно. Мы шли, не разгибаясь, и вырывали сорную траву. Самым большим врагом был осот. Это растение с глубокими сильными корнями, широкими резными листьями (причем каждый резец заканчивается злой колючкой). После первого захода наши непривычные руки были исколоты до крови. Тетя Лена, увидев это, посмотрела вдаль прищуренными глазами и сказала вертлявой десятилетней девочке, половшей вместе с нами:

– А ну-ка, Зинка, сбегай на пригорок, погляди, Санька-бригадир далеко?

Зинка шустро взбежала на пригорок, и оттуда послышался ее писклявый голос:

– Дале-о-ко, тетя Лена, отседова не видать!

Последовал общий вздох облегчения, и тетя Лена выкрикнула протяжно на всю полосу:

– Бабы, закуривай!

"Закурка" означала отдых, потому что никто из баб не курил. Бабы развязали узелки с завтраком, в них был хлеб, лук и вареная картошка. У нас и этого не было. Мы сидели и отдыхали, дуя на зудевшие руки. Никто нас не угощал, никто с нами не делился. Только позже мы поняли, что у них просто нечем было делиться.

Часа в четыре мы возвращались с полей усталые и очень голодные. Но, придя домой, увидели две большие буханки

хлеба, которые тетя Лида испекла нам из нашей муки. Около буханок стояла тарелка с крупной солью – это уже лично от тети Лиды, и настроение у нас повысилось. Кроме того, оставалась еще мука, из которой мы научились варить два блюда: заваруху и затируху. Заваруха – мука, разведенная очень жидко на воде, которую мы густо солили. Затирухой называлась та же мука, лишь слегка разведенная на воде, – при кипячении мы ее все время растирали. Каждое блюдо имело свои преимущества и недостатки: первого было много, но оно не утоляло голод. Второго было гораздо меньше, но зато оно было сытнее. Этим бы и исчерпывались источники нашего питания, если бы мы не преминули использовать совет председательницы устраиваться самим, как можно. Первым долгом мы заключили договор с коровой тети Лиды и брали картошку, которую хозяйка готовила ей в большом чугуне. Корова ни разу не подвела и покрывала молчанием эти попытки приобщиться к уголовному миру. Но как бы невинны ни были наши первые шаги на этом поприще, в них таилась опасность. Случайно мы нашли более безопасный путь к пополнению питательных ресурсов.

Как я уже заметила, нас всегда сопровождали трое-четверо мальчишек девяти – двенадцати лет. Особенно привлекала их Нина необычайностью внешности: из себя чернявая, глаза чудные, ненашенские, и еще баба – и в штанах. Самой же мощной притягательностью обладали окурки папирос, которые Нина сначала просто выбрасывала, а потом отдавала мальчишкам по их просьбе. Но однажды мы додумались и на просьбу рыжеватого Шурки оставить ему "сорок", то есть окурок, спросили:

– Шура, у вас в огороде уже поспели огурцы?

– Не, – протянул Шурка, – зато у Ваньки в огороде морковка во какая огромадная. Я сбегаю и мигом принесу.

Морковка из Ванькиного огорода, хотя и не "огромадная", была очень сладкая, и мы съели ее с большим аппетитом. Увидев возле нашей избы скуластого Ваньку, который, видно, тоже пришел поживиться окурком, Нина сказала без обиняков:

– Ваня, мы слыхали, что у тебя в огороде морковка поспела. Принеси немного и получишь "сорок".

– Да что вы! – возмутился Ванька. – У нас в огороде морковка вот какая малюсенькая, – показал он полпальца. – А вот у Шурки огурцы во какие большие, я мигом сбегаю.

Он сбегал и через несколько минут принес десяток свежих зеленых сочных огурцов, за что и получил целую (!) папиросу.

С тех пор у нас не было недостатка в овощах, и мы не особенно допытывались, кем, из чьего огорода они взяты. Нина щедро давала "сорок", а иногда платила и целой папиросой. Папиросы она покупала в сельсовете или в местной лавчонке, именуемой гордо "сельпо". Когда у Нины иссякли денежные ресурсы, мы соскребли все гроши, случайно оказавшиеся у нас при эвакуации, и покупали папиросы для Нины и для общих нужд.

* * *

Первое воскресенье нас поразило. Мы встали позже, позавтракали хлебом и жидкостью неопределенно-темного цвета, называемой чаем. Этот чай находился в сельпо в изобилии, и так как наша хозяйка, тетя Лида, была заведующей сельпо, то у нас не было недостатка в этом продукте.

После завтрака (ибо это и был наш ежедневный завтрак) мы вышли на улицу посмотреть, что делается в колхозе. То, что мы увидели, привело нас в полное недоумение. Перед домами на завалинках, на бревнах или просто на траве сидели попарно женщины, голова одной покоилась на коленях другой. Та, другая, держала в одной руке нож, а другою искала и выбирала что-то из волос напарницы, и на ноже что-то пощелкивало и потрескивало.

Мы стояли и смотрели с разинутыми ртами, и вид у нас был, наверное, довольно глупый. Первой догадалась латышка Тоня, в детстве бывшая деревенской жительницей, так что и вши ей были более знакомы, чем нам, дочерям еврейских заботливых мам. Она вскрикнула по-латышски:

– Девочки, это они вшей ищут!

У нас в городке, если у ребенка обнаруживались вши, это был стыд и позор, и ребенок не выходил из дома, пока не становился чист как стеклышко. Но то, что предстало перед нами, было, очевидно, обыденным явлением, приятным времяпрепровождением, ибо при "искании" передавались новости и сплетни, а также изливали душу.

– Девки! – окликнула нас Танька, маленькая энергичная жена Саньки-бригадира. – Что уставились, лучше бы сами поискались, сегодня воскресенье!

– Что вы, Таня! У нас нет вшей!

– Нету вшей? – удивились женщины. Тогда вмешалась сгорбленная бабка Агафья:

– Чего ж вы, бабы, не понимаете, они же, может, болезные, эти выкувырованные, а потому у них даже вши не водятся! – и запричитала во весь голос: – Ох, вы, разнесчастные, ох, вы, болезные, даже вши у вас не во-о-одю-у-у-тся, и что же с вами бу-у-у-дет?!

От такого диагноза мы совершенно опешили, но через неделю доказали всем бабам, что мы не болезные и кожа у нас здоровая, и научились "искаться", как заправские колхозницы.

Однажды после нескончаемой прополки проса мы, пыльные, грязные и усталые, решили выкупаться в пруду. Окруженный ветлами, он стоял на отлете, примерно в километре от последней избы, вода в нем оказалась мутная, дно илистое, и вообще, все производило впечатление угрюмой запущенности. Бабы рассказывали, что когда-то здесь водились окуни и караси, но теперь даже мелкой рыбки не найти. Действительно, за время нашего пребывания в колхозе, то есть за целое лето, я ни разу не видела мальчишек с удочками или же баб, полоскающих белье. Место было пустынное, и это-то нас привлекало.

Мы разделись и первым долгом выстирали одежду (перемены у нас не было) огрызком мыла, подаренным тетей Лидой (она как заведующая приносила иногда по куску твердого стирального мыла). Расстелив на сучьях ракит-

ника и ветел пожитки, мы вошли в пруд. Вода, хоть и мутная, хоть и грязноватая, но все-таки – вода!

Каким-то образом разнеслась весть, что "выкувырованные купаются", и вскоре пустынный берег наполнился бабами. Они с интересом разглядывали детали нашего туалета, с нетерпением ожидая, когда мы выйдем. На этот раз они даже не распространялись насчет особенностей фигуры каждой из нас, а тут же приступили к расспросам.

– А это для ча будить? – две молодые шустрые бабенки указали на лифчики. Мы показали наглядно, как используется эта часть туалета.

– Без надобностев! – заявили они безапелляционно при одобрительных кивках остальных. (Как видно, уже тогда, в 1941 году, в селе Выжилеи предвидели моду 90-х годов.) Тогда вышла вперед высокая старуха, которая объяснила нам про сахар, и, указав на трусики, висящие на ветках и трепещущие на ветру, строго спросила:

– А это, девушки, для чего будет? Куда это одеть-то?

Мы немного смутились (я заключила это из покрасневших лиц моих подружек), но тем же наглядным способом пояснила, куда надеваются трусики. Бабы хихикали и перешептывались. Старуха покачала головой:

– Нехорошо, девушки, для здоровья!

– Для здоровья? Бабушка, почему нехорошо для здоровья?

– Воздуху нету. Не продуваить.

Не удостоив нас более ни единым взглядом, строгая старуха удалилась. За нею последовали остальные, оживленно обсуждая чудну́ю одежду выкувырованных.

* * *

Вечерами, когда солнце садилось и наступала долгожданная прохлада, молодежь выходила на улицу петь частушки и плясать. Первым являлся Костя-горбатый, гармонист. Услыхав гармошку, девушки выходили из домов и шли "стеной", во всю ширину улицы, распевая частушки на злобу дня, час-

то одна против другой, причем куплеты придумывались тут же на месте, иногда очень метко. Образовывался круг, и самые задиристые авторши и заядлые плясуньи выходили друг против друга. Все частушки пелись на один мотив, последняя фраза ухарски выкликалась, к примеру:

Мой миленок что теленок,
Только разница одна:
Мой миленок водку хлещет,
А теленок – никогда!!! У-ух!!

И следовала такая чечетка, что мелкие камешки летели во все стороны. Парней было мало, и они не плясали, а стояли в стороне, посмеиваясь и отпуская замечания насчет девушек в кругу. Мы никак не могли включиться в это веселье. Нам это было чуждо, как и вся колхозная жизнь.

Но мы были молоды, и нам тоже хотелось петь. Мы пели старые революционные песни: "Смело, товарищи, в ногу..." или песни Лебедева-Кумача, очень популярные в Латвии, особенно у евреев, говорящих по-русски.

Колхозницы удивленно говорили: мы таких длинных песен не поем, мы их сроду не слыхали.

Было странно, что песни о советской родине проникли за границу и затронули наши сердца, но совершенно не пробились в народную глубь.

Иногда на работе, когда наступала "закурка", мы садились на межу и пели старые комсомольские песни или романсы: "Ты сидишь у камина" или "Однозвучно гремит колокольчик". Пожилые колхозницы потихоньку утирали слезы, молодые смотрели отчужденно и даже с неприязнью.

– Эй, ты, голосистая, спой чего-нибудь не из нашенских, а из ваших, длинных песен! – говорили пожилые, и я пела им все, что знала. Эти морщинистые женщины, загрубевшие в постоянной жестокой борьбе за существование, оживали сердцем, слушая сентиментальные песни. Я пробовала им петь народное, как: "То не ветер ветку клонит, не дубравушка шумит", но и это было им совершенно незнакомо (таре-

лок с громкоговорителями в колхозе еще не было, так что хор Пятницкого до них не дошел).

Молодые девушки невзлюбили нас с первого взгляда и смеялись над нами при всякой возможности, потому что мы не поспевали за ними в работе. Только Тоня, высокая, крепко сложенная деревенская девушка, могла с ними сравниться и часто была одной из первых. Ее невзлюбили по двум причинам: она не знала языка и изъяснялась через меня, и она была хороша, а потому являла собой настоящую опасность, ибо не только "неженатики", но даже сам Санька-бригадир заглядывался на нее. Но и мы, остальные, будучи "выкувырованными", то есть существами из другого мира, вызывали обостренный интерес у населения мужского пола. Оно состояло из четырех парней на всю деревню. На вопрос, где же остальные, нам объяснили, что многих угнали на войну, а есть которые сидят. Мы уже набрались немного ума и, понимая значение слова "сидят", осторожно спросили, за что. Нам объяснили, что сидят за кражу, а больше всего – "за фулюганство". У соседки, миловидной женщины, с которой мы познакомились поближе, потому что Элла, захватившая из Риги санитарную сумку, лечила ихтиолом ее нарывы, – муж тоже сидел уже третий год "за фулюганство". "Скоро выйдет", – рассказывала она без особой радости. "Что же, вы разве не рады, что муж скоро вернется?" – удивились я и Элла. "Чего радоваться? – возразила она спокойно, – вот вернется домой, поживет пару месяцев, напьется и опять нафулюганит, ну и заберут его обратно. Кто раз сидел, обязательно обратно сядет".

Видно, безнадежная уверенность в правоте сказанного породила подобие спокойствия. Она знала, что говорила.

Итак, было четверо кандидатов на романтические похождения: Костя-горбатый (иначе Костя-гармонист), Костя-хромой, Костя Кузнецов (просто Кузнецов) и Толька, которому шел шестнадцатый год, и, как видно, по молодости ни фамилии, ни прозвища ему не полагалось. У Кости-гармониста было типичное лицо горбуна с заостренным подбородком, удлиненным носом и узкими щелками темных глаз,

которые с восторгом снизу вверх смотрели на Тоню. У Кости-хромого было остроскулое лицо с крупными красивыми чертами и большие, чуть выпуклые умные глаза. Толька был худощавый темно-русый подросток, с татарскими глазами и интеллигентным лицом. О Косте Кузнецове могу сказать, что ему было девятнадцать лет и особых примет не было, кроме одной: у него была семнадцатилетняя жена на сносях. Оба были белобрысые, веснушчатые и курносые. Когда этот Костя (просто Кузнецов) стал появляться у наших окон, мы не имели никакого понятия о его семейном положении. Он с первого взгляда влюбился в Нину, не сводил глаз с ее горящих очей и густых бровей и никогда не просил папирос, а наоборот, приносил свои и угощал Нину. То, что Нина брала папиросы, вероятно, вселяло в него надежды, но, видя ее грозные взгляды и сдвинутые брови, он не осмеливался выразить свои надежды вслух. Неизвестно, победил бы он робость или нет, но однажды на нашем пороге появилась молодая женщина с рыжеватыми косичками, плутоватыми глазами и непомерно большим животом. Оглядев нас четверых с порога, она спросила обыденным тоном:

– А к которой из вас, девушки, мой Костя ходит?

Мы недоуменно смотрели друг на друга. Во-первых, их трое по имени Костя, во-вторых, они просто стояли у порога или у окна и разговаривали с нами, а кто на кого смотрел и какими глазами, никому до этого дела нет.

Нина тут же вспыхнула и выпалила:

– А вы кто такая, чтобы спрашивать?

– Я жена евонная, законная жена, и от него брюхата, а ты, чернявая, чего вскинулась? Это он к тебе ходит?

Глаза этой женщины-девчонки сузились и позеленели, лицо приняло кошачье выражение. Она не вспылила и не закричала, а только до неожиданности странно спокойным голосом сказала:

– Вот что, девушки, ежели мой Костя к которой из вас ходить будет, я оболью ее серной кислотой.

Бросив на Нину ненавидящий зеленоватый взгляд, она повернулась и ушла.

– Какая нахалка, как она смеет так говорить! Я пойду к председательнице! – кипятилась Нинка.

– Нинка, – объяснила Элла, – пока председательница начнет выяснять, что и как, тебя свезут в больницу с обожженным лицом.

– Да на что он тебе дался, этот Костя, неужели он тебе нравится? – удивилась Тоня.

– Нравится? Да ну его ко всем чертям! Но как она смеет так со мной разговаривать?

Я не дала ей вновь разбушеваться:

– Значит, решено: сегодня же скажи ему, чтобы не смел больше приходить.

Когда сумерки уступили место вечерней прохладе, мы увидели при слабом мерцании звезд крадущуюся фигуру, в которой тут же распознали Костю Кузнецова. Он поманил меня пальцем из-за кустов и сказал полушепотом:

– Будь другом, вызови Нину.

– Костя, – ответила я ему тихо, – ты лучше больше не приходи, мы с женатыми не желаем разговаривать.

– Мне жена не указ, – повысил голос Костя, – а тебя никто не спрашивает, а ну-ка, вызови Нину.

Не знаю, чем бы кончились наши переговоры, если бы Нинка, как видно, слышавшая весь разговор, не выскочила из избы со сверкающими глазами, что было видно даже при свете звезд, и не закричала сдавленным и потому еще более страшным голосом:

– Вон отсюда, сволочь паршивая! Чтобы духу твоего тут не было! А если еще придешь, я тебя кипятком ошпарю!

Костино лицо перекосилось от испуга, и, пробормотав "Ну и бешеная", он нырнул в кусты, как заяц. Больше он не показывался. Через месяц его жена родила девочку, и их супружеская жизнь продолжалась без особых драм, а через два месяца его мобилизовали. Все эти новости нам рассказали остальные Кости.

Однажды вечером Костя-хромой пришел один и позвал меня погулять. Я тогда понимала слово "гулять" в самом прямом смысле. Только после я поняла пробелы в моем об-

разовании, то есть такие выражения, как "гуляет!" и "гулящая!". Мы свернули с главного порядка на тропинку, ведущую в поле. Из-за кустов раздались приглушенные возгласы: "Ребята, айдате, Костя с выкувырованной е...ться идут!" Костя кинулся в кусты, зашумели потревоженные ветки, и в ясном свете взошедшего месяца мелькнуло несколько быстрых пяток. Мы сидели у стога с сеном. Позади стога отбрасывал черную тень густой орешник, а впереди расстелился скошенный луг, облитый сказочным лунным светом. Вся моя юность и юность других девочек из движения "Гашомер гацаир нэцах"* была насыщена романтикой поздних вечеров, когда мы устраивали на лодках полулегальные собрания (в городке Люцине были прекрасные озера и уединенные островки) или уходили за три-четыре километра в лес. Чувственные переживания заменялись полуподпольной романтикой, а если некоторые эротические попытки все же имели место, то пресечь их было всегда очень просто. Поэтому мы не боялись находиться в обществе юношей даже поздно вечером. Мы не были святыми, но все, чего мы жаждали, было признание в любви при лунном свете после ярых споров между "Бейтаром" и "Гашомер гацаиром" или после бесед о жизни в кибуце и песен о Кинерете. Если от пожимания рук переходили к поцелую, то это было высшей точкой, дальше некуда. Редкие рассказы об изнасиловании мы принимали как фантастические сказки братьев Гримм, которые интересно и страшно слушать, но в которые никто не верит.

Итак, мы сидели под стогом, и все атрибуты романтики были налицо. Признаюсь, было приятно, что Костя пригласил именно меня, а не стройную кареглазую Тоню или голубоглазую Эллу. (О Нине не могло быть и речи, потому что весть о позорном бегстве Кости просто Кузнецова быстро распространилась, и парни поглядывали на нее с опаской.)

"О чем же же мы с Костей будем говорить? – подумала я. – Не о сионизме же, философии или литературе!" О вой-

---

* Сионистская социалистическая организация молодежи, членов которой готовили к отъезду в Палестину и работе в кибуцах.

не тоже не хотелось говорить в этот тихий серебряный летний вечер. И вдруг он спросил:

– А ты Пушкина читала? – Вечер начинался по общепринятым правилам.

– Конечно, читала, – чуть обиделась я.

– А ну-ка, скажи Руслана и Людмилу!

– Скажу! – приняла я вызов. – "У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый..." – и запнулась.

– Вот видишь, не помнишь, – торжествовал Костя, – а я помню!

И он, действительно, декламировал многое из Пушкина спокойным глубоким голосом, и лицо его при этом казалось красивым и даже одухотворенным. Потом он замолчал. Я тоже молчала. Сердце мое забилось учащенно: сейчас он скажет... Он действительно повернул ко мне напряженное бледное лицо и сдавленно сказал:

– Ты бы лучше ушла, Маня.

– Что с тобой, Костя? – поразилась я такому обороту дела.

– Сказано тебе, уйди! – проговорил он сквозь зубы, не глядя.

Оскорбленная и недоумевающая, я встала и пошла. Пройдя мимо зарослей орешника, я приметила из-за кустов разочарованные рожицы подглядывающих мальчишек. Представление не состоялось.

* * *

Однажды под вечер нас пригласили на угощение. За деревней в пышном орешнике были уютные поляны, полные цветов. Мы пришли в сумерки и нашли всех обожателей в сборе. На траве расстелена чистая скатерть, а на ней... благодать: крупные ломти хорошего полубелого хлеба, сочные малосольные огурцы, крутые яйца, соль. Посреди красовалась бутылка водки и граненые стаканчики. Не знаю, как Тоня, но мы трое ни разу не пробовали водки, и эта бесцвет-

ная жидкость казалась нам совершенно невинным напитком. Парни щедро налили нам по полному стаканчику, и мы храбро приложились, но тут же страшно поперхнулись и закашлялись к их удовольствию.

Вдруг кусты раздвинулись, и выступила нога в стоптанном валенке, а за ней – ее обладатель, дядя Ваня, деревенский пастух, лет шестидесяти, с добрыми выцветшими глазами, набрякшими веками и всклокоченной бородишкой.

– А ты, дядя Ваня, чего пришел? – парни были не особенно довольны его появлением.

– А я за кумпанию. Девчат-то четверо, ну и нас будет четверо! – весело подмигнул нам дядя Ваня.

– Не ко времени пришел, дядя Ваня, мы тебя в другой раз угостим, – сказал Костя-гармонист. Но дядя Ваня не выказал ни малейшей готовности поступиться даровой выпивкой.

Мы не очень вникали в причины нерасположения парней к дяде Ване, а были заняты едой. Водка нас мало интересовала, но яйца, хлеб и огурцы поедались необыкновенно быстро (еще бы – после затирухи и заварухи). Между дядей Ваней и Костей-гармонистом шел непонятный разговор полунамеками, причем Костя сердился, а дядя Ваня резонно что-то доказывал. В конце концов дядя Ваня сказал рассерженно:

– Ты, Костя, не очень зарывайся, это тебе не фулюганство, за это не три, а пять лет дадут.

– Да ведь, дядь Вань, разве мы их силой притащили? Они же сами пришли! – возразил Костя с хитрой улыбкой.

– Ты, Костя, не балуй, – ответил дядя Ваня, – они же выкувырованные, они тут ничего не понимают. Может, они думают, что так и надо.

– Эх! – воскликнул Костя с досадой. – Какое угощение задарма ухлопали!

Элла, как видно, тоже услышала разговор, и мы с ней переглянулись. Нина с Тоней еще налегали на угощение, когда мы обе поднялись.

– Большое спасибо, ребята, уже поздно, нам пора.

Наши подружки, заметив что-то неладное, тоже поднялись.

– Да что вы, девушки, куда спешить, еще угощение есть, и вина (то есть водки) много, – уговаривал дядя Ваня, явно издеваясь над парнями.

Парни нас не задерживали и принялись за следующую бутылку.

* * *

На следующий день под вечер дядя Ваня зашел в гости. Он оглядел пустую избу.

– Да, небогато живете, – и, осмотрев нас с ног до головы, добавил: – и истрепались вы здорово.

Затем, потоптавшись на пороге, сказал:

– Вы, девушки, приходите ко мне в воскресенье. Я письмо от сына получил, вы мне прочтете. Ну и угощение, конечно, тоже будет.

В воскресенье мы отправились к дяде Ване. Он жил на краю деревни в покосившейся избушке с двумя тусклыми оконцами. Внутри были покосившийся стол, две лавки и большая русская печь. Судя по ее запущенному виду, она давно не топилась. На всем лежал отпечаток бедности, застарелости. Дядя Ваня овдовел много лет назад, и было очевидно, что с тех пор женская рука не прикасалась ни к чему в этом доме.

Но кривой стол был чисто выскоблен, как видно, в нашу честь, и в надтреснутых чистых тарелках лежали свежие огурцы, посоленные крутые яйца, свежий полубелый хлеб и даже кусочек желтого сыра.

– Хотел я вам, девушки, достать красного вина, но нигде не было, а потому выпьем, – и дядя Ваня достал из заповедного уголка бутылку водки и торжественно поставил на стол. Не буду описывать, как мы дружно уплетали съестное, а дядя Ваня больше налегал на "белое вино". Когда темп работы наших жевательных органов немного снизился, а глаза дяди Вани захмелели и уровень жидкости в бутылке понизился на две трети, он повел с нами следующий разговор:

– Вы, девушки, к нашим парням на угощение не ходите,

вы наших порядков не знаете. Ежели девушки идут к парням на выпивку, значит, они... – он запнулся, но сейчас же и нашелся: – значит, они согласные.

– Дядя Ваня, мы совсем об этом не думали, мы, главное, из-за угощения! – воскликнули мы разом.

– А вы разве не поняли, чего это я из-за кустов явился – вас жалеючи, а на их вино мне наплевать! Я для себя завсегда достану.

– А разве нельзя просто так посидеть и поговорить о чем-нибудь при угощении?

– Эх, девушки, и ничего вы о нашей жизни не понимаете! – В голосе дяди Вани послышалось глубокое сожаление, а глаза сделались серьезными и печальными. – У нас зазря вам никто ничего не даст, а уж парни девок и подавно задарма кормить не станут. Не понимаете вы нашей жизни, и вам отсюда уходить надо. Пропадете вы тут ни за что.

– Что вы, дядя Ваня, мы же молодые, мы работать будем, и советская власть о нас позаботится!

Дядя Ваня уставился на нас, как на существа без малейших умственных способностей, и задумчиво ответил – не нам, а самому себе:

– Так они же выкувырованные, где им нашу жизнь понять...

И начал объяснять, как полным несмышленышам:

– Вот лето пройдет, зима настанет, а у вас ни одежонки нет, ни валенков. А чем печь топить будете? Разве для вас дрова заготовлены? А есть-то чего будете? Вам же без трудодней хлеба не дадут!

Да, картина близкого будущего явилась перед нами совсем не в розовом свете. Мы примолкли. За время нашего раздумья дядя Ваня опорожнил еще пару стаканчиков, и когда на донышке осталось лишь немного жидкости, а глаза дяди Вани приняли прежнее доброе и лукавое выражение, он взмахнул бороденкой и сказал:

– Ладно, девушки, не тужите, пока еще лето на дворе и солнышко светит. А я для каждой из вас подарок припас. – Он подошел к стене, где стоял колченогий топчан, покрытый

то ли дерюгой, то ли домотканным покрывалом, похожим на половик у нас дома, и из-под него вынул четыре пары новеньких лаптей, золотившихся в лучах солнца, пробивавшихся через мутное стеклышко. Вся хибарка засветилась праздничным светом, но больше всего светилось лицо колхозного пастуха. Мы стояли, пораженные, а потом наперебой стали благодарить.

– Да ладно уж, чего там, – смущенно отвечал дядя Ваня. – Вот как кончится война и вернетесь домой в вашу хорошую жизнь, может, вспомните разок дядю Ваню.

На прощание он снова подмигнул:

– А ежели, девушки, вам больно до угощения охота будет, только мигните, а у меня для вас завсегда найдется.

* * *

Хозяйка тетя Лида была худая желчная женщина неопределенных лет. Она заведовала сельпо и в поле не выходила. В чем заключались ее обязанности, я так и не смогла выяснить, потому что большую часть времени сельпо было закрыто. Тетя Лида забегала на минуту домой по хозяйству не только в полдень, когда все были на работе. Даже в дни, когда это торговое заведение было открыто, я не видела, чтобы люди толпились в очереди, по той простой причине, что полки были почти пустые.

У тети Лиды было трое детей. Старшая – Ленка, лет четырнадцати, худая, голенастая, угловатая, очень похожая на мать. Ленка рубила дрова, мыла полы, стирала белье и таскала на себе из леса огромные вязанки хвороста, но мать ее не жаловала, а ругала при каждой возможности; Ленка была нелюбимой дочерью, угрюмо молчала, иногда огрызалась. С нами она почти не разговаривала, только глядела недружелюбными глазами. Зато тетя Лида обожала сына Вовку, которому было тогда лет пять. Это был хорошенький белоголовый пузан с веселыми яркими голубыми глазами. Вовка ел досыта, иногда тетя Лида совала ему в кулачок на зависть Ленке кусочек припрятанного сахара. Третьим был ре-

бенок неполных двух лет, худенький и невзрачный Сашка, он часто хныкал и получал шлепки. Иногда Ленка, если не была занята, брала его на руки и укачивала, пока он не успокоится. Тетя Лида была вдовой. На наши соболезнующие вопросы, когда и как умер ее муж, она равнодушно ответила, что его год тому назад "поездом зарезало по пьяной лавочке". Мы, как полагается, жалостливо посмотрели и спросили:

– А вам не жалко его, тетя Лида?

На что получили ответ:

– А чего жалеть-то, ежели бы я мужика не знала, то, конечно, жалко, а так – трое детей есть, ну и хватит.

Это была необычная точка зрения. Да, жизнь в Выжлеях оборачивалась неожиданной стороной.

Однажды, когда мы вышли на работу в поле, нам показали, что такое белена, она росла вокруг по краям канав. По дороге домой мы попробовали маленькие зеленые плоды, наполненные зернышками, напоминающими по вкусу мак. Мне они не понравились, и я съела не больше пяти-шести головок. Но мои подружки продолжали срывать мимоходом свежие зеленые головки и разжевывать.

Ужас начался поздно ночью. Я проснулась и увидела фантастическую картину: каждая из моих подружек бесновалась по-своему. Элла лезла на стену, плакала и бормотала что-то несуразное по-еврейски. Тоня лепетала неразборчиво быстро-быстро по-латышски, а Нина скрежетала зубами, рычала диким голосом, воюя с несуществующими врагами. Я старалась их унять, но все было напрасно. Они на меня не обращали никакого внимания, в их бреду, как видно, я не существовала. Я испугалась и с нетерпением ждала прихода дня. Только теперь я поняла суть пословицы: "Что, ты, баба, белены объелась?"

С восходом солнца я побежала к председательнице просить лошадь и повозку, чтобы отвезти в больницу взбесившихся подруг, которые бегали по деревне, перешагивая через несуществующие бревна, или подскакивали вверх, как бы перепрыгивая через забор. Они подходили к людям, заго-

варивали на непонятных языках, иногда спокойно, иногда очень агрессивно. Одна бабушка воскликнула:

– Что вы, девки, белены объелись?

Да, они объелись белены.

На мою просьбу председательница спросила:

– А зачем им лошадь? – И, посмотрев вслед невменяемым, заключила: – Ты погляди, чего вытворяют, какие здоровые – они и пешком дойдут, а у меня страдная пора, все лошади позарез нужны.

До больницы было около девяти километров. Взяв полбуханки хлеба и бутылку с водой, мы отправились в путь, то есть разбрелись в разные стороны с первой же минуты, а я бегала, возвращая то эту, блуждающую в поле, то ту, ползающую на коленях по лугу в поисках чего-то потерянного, то подбиралась к третьей, усевшейся в канаве, обложившись камнями, которые она довольно удачно швыряла во все стороны.

При таких обстоятельствах трудно похвалиться успехом. За час мы продвинулись не более чем на 500 метров. Пожилой колхозник, понаблюдав несколько минут нашу живописную группу и узнав, в чем дело, посоветовал:

– А ты возьми хворостину и загоняй их, тогда лучше пойдет. Небось видела, как коров хворостиной загоняют?

Но я все-таки не послушалась разумного совета, потому что никогда в жизни не держала хворостины и не гоняла коров.

В полном отчаянии я села у обочины, мои подруги разбрелись по лугу, полному золотистых одуванчиков, голубых незабудок и сладкого белого и сиреневого клевера. Каждая была поглощена своим бредом: одна устремлялась куда-то бегом, другие яростно грозились и ругались на трех языках, а то они замирали как вкопанные, тупо уставившись в землю оцепенелым взглядом... Мне было страшно. Солнце показывало полдень, а мы все еще находились в каких-нибудь трех-четырех километрах от деревни. Что будет, если они действительно сошли с ума?

Но вот Нина, которая только что пробежала мимо, вы-

соко подпрыгивая, как бы преодолевая препятствия, повернула ко мне голову, взгляд ее терял оцепенелую сосредоточенность, становился осмысленней. Она подошла, тихо села и попросила напиться. Потом обвела удивленным взглядом дорогу, лужайку и бесцельно блуждающих на ней подружек и изумленно спросила:

– Где мы? Что мы тут делаем? Что они носятся как безумные?

Медленно, повторяясь по нескольку раз, я объяснила, что случилось. Она смотрела с изумлением и растущим недоверием:

– Не может быть, ты все выдумываешь! У тебя только шутки на уме!

Но, следя взглядом за Тоней и Эллой, которые вели оживленную беседу (каждая с кем-то невидимым, причем беседа Эллы велась в дружелюбном тоне, ответы собеседника вызывали в ней взрывы смеха, Тоня же угрожающе надвигалась, и ее милые карие глаза сверкали неподдельным гневом), Нина сказала в раздумье:

– Да, я совершенно ничего не помню.

– А помнишь, как вы срывали и ели головки белены, которая росла на обочине просяного поля?

– Да, это я помню, а дальше, хоть убей, ничего не знаю, будто одна темная ночь.

Подошла Элла и, пристально вглядываясь в меня совершенно черными от расширенных зрачков глазами, нежно улыбнулась и сказала по-еврейски странной скороговоркой:

– Значит, сегодня вечером после *асейфа* (собрания) встретимся на берегу речки, – и, шаловливо прижав пальчик к губам, шепнула свистяще: – ш-ш-ш, никому ни слова.

После этого спрыгнула с воображаемой ступеньки и легко убежала.

Нина, уже совершенно придя в себя, закипятилась:

– Их надо связать и отвезти в больницу. Мой отец работает в Красном Кресте в неотложной помощи, он доктор и рассказывал, что были случаи сумасшествия, кончившиеся смертью от отравления беленой.

Я хотела возразить, что никогда не видела в Латвии белены, но поняла бесцельность спора, а потому сказала совсем другое:

– А кто их свяжет? И на чем мы их повезем?

Нина удивленно уставилась на меня:

– Что значит – кто? Позовем людей, они помогут, а председательница даст лошадь!

Я пробовала втолковать ей, что уже просила лошадь, но получила отказ. Нина продолжала кипеть как самовар:

– Свинство! Как она смеет! В Советском Союзе каждый человек на вес золота! Это антисоветский подход к людям!

– Как видно, смеет, если отказала.

– Я буду жаловаться, я пойду к секретарю партии!

Зная ее характер, я не спорила, только спросила:

– Пока суд да дело, как с ними поступить сейчас? До больницы еще больше пяти километров.

Нина немного поостыла и предложила, чтобы каждая из нас взяла за руку одну из блуждающих и силой повела к больнице. Мы принялись за дело, но это было не так просто. Элла и Тоня были выше и сильнее меня и Нины. Тащить их силой не было никакой возможности. Они вырывались и убегали.

Встречные мужики и бабы смеялись, глядя на нас, а когда мы просили помощи, они отвечали, что мы "во, какие здоровые", указывая пальцем особенно на меня из-за моей полноты, и что нам не помешает немного побегать. Поведение Эллы и Тони вызывало в них прямо-таки восторг:

– Гляди, гляди, ишь чего выкомаривают! Я, чай, совсем чокнутые!

Время тянулось медленно. Мы обе совсем выбились из сил. Хлеб был давно съеден, вода выпита, а села, где больница, не было видно даже издали. Солнце клонилось к западу. Повеяло прохладой. Мы с Ниной сели отдохнуть, подставив ветру разгоряченные лица. Ноги горели и ныли от долгой беготни, и на несколько минут мы перестали следить за нашими подружками. Каждая клеточка тела требовала отдыха, и мы ни о чем не хотели думать и заботиться. Элла вывела нас из нашего забытья.

– Девочки! Что же это мы одни в поле, а где все колхозницы? Где тетя Варя? Чего мы сидим тут и не идем домой?

Ее чистые голубые глаза недоумевали.

– Нина, расскажи ей, а я пойду приведу Тоню.

– Ладно, лучше ты сиди и отдыхай, намучилась с нами троими достаточно, а я попробую привести Тоню сама.

Нина ушла, а я стала объяснять происходящее. Реакция Эллы на мой рассказ была в точности как у Нины. Она не поверила. Медленно, упорно пробивалась я к ее памяти. В это время подошла Нина, ведя за руку Тоню, покорно идущую за нею. Мы посадили Тоню в середину. Нина сбегала и принесла воды из мелкого ручейка. Мы напоили Тоню и сами напились. Она сидела, уставившись на нас мутным взглядом, но никуда не порывалась. По мере нашего разговора она все внимательнее и осмысленнее глядела на нас и вдруг весело спросила:

– А что, девочки, мы, наверное, здорово наскандалили, но я ничего не помню!

Вернулись мы поздно ночью, усталые и голодные, но совершенно нормальные. Через несколько дней любимый сын хозяйки тоже объелся белены. Его вид был страшен. Четырехлетний мальчик ходил, шатаясь, по комнате с кухонным ножом в руках, его голубые всегда веселые глазки были налиты безумием, зрачки стали огромными, бездонными. Он лез на стену, скрежетал зубами и дико вскрикивал:

– Мамка, я тебя зарежу!

К вечеру живот у него вздулся, а лицо приняло синюшный оттенок. Мы ничего не понимали в медицине, но было ясно, что, если Вовку не отвезут в больницу, он умрет. Тетя Лида совсем растерялась. Она стояла на коленях лицом к тому углу, где, как видно, когда-то были иконы, и молилась:

– Господи, если Тебе уж так надобно, взял бы Ты моего Сашеньку, он еще маленький, ангелочек невинный, и мне руки развяжешь, а Вовку оставь мне, Господи!

Она молилась страстно, простирала руки вверх, наверное, там было местонахождение Господа Бога.

Мы нашли Ленку – она кормила несчастного Сашку, ко-

торого тетя Лида великодушно предлагала Господу, и убедили ее бежать к председательнице и требовать лошадь. Ленка быстро сообразила, какая опасность грозит брату, и через полчаса у дома стояла запряженная лошадь, и Вовку свезли в больницу.

Молитва тети Лиды была услышана, но только частично. Господь не забрал себе Сашеньку в ангелочки и не развязал рук тети Лиды. Но Вовка выздоровел.

* * *

Приближалась осень. Наступил сентябрь с золотым и пурпурным листопадом и летучими паутинками бабьего лета. Нам следовало бы задуматься о трудностях зимы, но мы жили совершенно беззаботно, только сегодняшним днем. Однажды нас вызвали к председательнице в контору. Там сидел представитель латвийской дивизии. Он вербовал добровольцев. Мы сразу согласились на долгожданную отправку на фронт. В день, когда мы отправлялись на сборный пункт (конечно, пешком, всего шесть-семь километров, это же пара пустяков), вся деревня вышла нас провожать, даже девки, которые все лето относились к нам не очень доброжелательно.

Перед уходом председательница позвала нас в контору рассчитаться. Нам полагалось за четыре месяца работы по буханке хлеба и по отрезу ситца (три метра). Перехватив наши недоумевающие взгляды, председательница спокойно пояснила:

— Вам, девушки, и этого много. Мы вам дали жилье и по полкило муки на каждый день. Не всякий колхозник столько получает. И не забудьте, что трудодни насчитываются в конце года. Кто знает, может, при расчете в конце года еще колхозу с вас бы причиталось.

Возразить было нечего. Мы не разбирались в колхозной экономике. Мы попрощались с председательницей, и начались проводы.

Бабы и девки шли за нами и причитали в голос:

– Ох, вы, родименькие, и на кого вы нас покидаи-ти-ии-и?! Пропадете там совсем, несчастненькие-и-и-и!!!

Некоторые даже громко голосили:

– И куда же вас угоняют?!

Дядя Ваня отозвал нас в сторону и без всяких причитаний предупредил:

– И куда вы, девушки, идете по своей воле? Вы, может, думаете, что там картошками стреляют? То бонбы летают, не дай Боже, убить могут!

Мы, конечно, знали, что на фронте могут убить, но по глупому, совершенно неоправданному оптимизму молодости были уверены, что в нас лично никакая пуля или снаряд не попадут.

– Ну, что вы, дядя Ваня, – бодро воскликнули мы, – нас не убьет!

Дядя Ваня оглядел каждую из нас добрыми выцветшими глазами, махнул рукой и вздохнул:

– Эх, глупые вы, девки. Молодые и глупые.

Больше он не разговаривал, но был из последних, которые с нами расстались.

На сборном пункте нас записали и накормили рыбным варевом, которое нам показалось необыкновенно вкусным, и оттуда отправили в Гороховецкие лагеря.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

В АРМИИ

В моих воспоминаниях об армии я не собираюсь описывать ни историю латвийской дивизии, в которой я провела больше четырех лет моей жизни, ни стратегические соображения, к которым я не способна, ни бои, ни передвижения части в хронологическом порядке. Я хочу описать нашу повседневную жизнь, наши радости и печали, и мое медленное, но верное отрезвление от всех иллюзий, особенно в 45-м – 46-м году после освобождения из армии.

Итак, Гороховецкие лагеря.

Мы жили в землянках, по-военному: в блиндажах, спали на нарах, и у каждой был сенник, то есть мешок, набитый сеном. Нам выдали полное обмундирование, которое включало шинель, плащ-палатку (на случай дождя), солдатские ботинки и портянки. В 41-м году у девушек не было обмундирования, подходящего их полу. Нам выдали те же галифе, гимнастерки навыпуск и те же ботинки с обмотками. Все это, по сравнению с гостиницей тети Лиды, было роскошью. Кроме того, кормили три раза в день, и обед всегда был мясной!!!

Но вот обмундирование... Хорошо девушкам статным, высоким, на которых гимнастерки лежали гладко, элегантно собранные сзади, а галифе подчеркивало округлость бедер, ботинки были по ноге, а обмотки полностью выявляли стройность ног! А что делать девушке, рост которой меньше 150 сантиметров, к тому же довольно полной, а номер ботинок не 39-й (самый маленький размер в армии того времени), а 34-й?! Что ей делать, если гимнастерка доходит до бе-

дер, галифе ниже колен, и между ботинками и брюками не остается места для обмоток? А кроме того – портянки! Наворачивать правильно портянки – целое искусство, которое я постигала с большим трудом. Вид мой был, наверное, очень комичным, потому что солдаты покатывались со смеху и отпускали такие шуточки, что я пробегала мимо, густо покраснев. Но и пробежать мимо часто не было никакой возможности, потому что вне территории своего подразделения мы всегда шли в строю и в ногу.

Наше подразделение называлось "санитарной ротой", кратко – "санрота", нашей задачей было помочь раненым, но так как мы находились в глубоком тылу (дивизия только формировалась), то никаких раненых не было, были просто больные самыми обыкновенными болезнями: гриппом, ангиной, поносами. Это было знакомо с детства, нестрашно и неинтересно.

Нас обучали первой помощи раненым: как перевязать, как наложить шину, как правильно уложить раненого, как остановить кровь.

Я училась не только разумом, а всем сердцем. Вскоре я уже знала действие всех немногих лекарств, бывших в распоряжении начальника аптеки, знала все, что успели нам сообщить об анатомии, умела делать уколы и кипятить шприцы, – словом, все, что и являлось "первой помощью" по тем временам. Но мы были не на фронте, и жизнь в Гороховецких лагерях, потеряв новизну, сделалась будничной, с оттенком неуловимой неприязни.

Дело в том, что дивизия состояла из латышей и евреев, выходцев из Латвии. Латыши, даже те, которые за год Советской власти сделались ярыми коммунистами, выявляли свой немного угрюмый, индивидуалистический характер вместе с застарелым антисемитизмом. Этот антисемитизм выражался не в открытых нападках и намеках, а в холодном, несколько брезгливом отчуждении.

Санрота состояла, как и все военные подразделения, из двух общественных слоев, между которыми, по законам военной дисциплины, не должно быть никаких отношений, кро-

ме приказа со стороны командира и исполнения со стороны бойцов. На этом построена армия.

Но между командирами, то есть средним командным составом, и бойцами был целый сонм посредников, так называемый младший комсостав: сержанты, старшина роты, который быстро заимел большую силу, ибо от него зависело все благополучие ротного быта, повар, у которого всегда находилась лишняя порция для бойца, припасенное мясо и другие вкусные вещи не только для командирской кухни, но и для тех, от кого он особенно зависел.

Ротный писарь тоже считался полуначальством, так как многие комбинации зависели от его списков.

На особом положении были политические работники, начиная с захудалого политрука роты и кончая заместителем полка или дивизии по политчасти, или комиссаром, как потом именовали эту должность.

Их преданными помощниками были комсорги, проводившие "политическую подготовку" у молодежи, а так как большинство солдат было в комсомольском возрасте, то у комсоргов было много "дела".

Строевые командиры были действительно заняты. Они проводили занятия по изучению и применению оружия, по боевой и строевой подготовке. Политработники, особенно низших рангов, должны были присутствовать на занятиях и следить за внешним видом каждого бойца, за его способностями и прилежанием. Им было очень скучно, так как сами они ни в чем не участвовали и только присматривались, к кому бы придраться, чтобы потом на политзанятиях привести яркий пример "антисоветского поведения, позорящего звание советского бойца". Низшие политработники – политруки и комсорги рот – не многим отличались от бойцов образованием, интеллигентностью и привычками быта. Беседы их были примитивны, и это сначала меня поразило. В Латвии я мало встречалась с еврейскими коммунистами, а латышских и вовсе не видела. Но те немногие, которых я знала, имели если не общее, то, во всяком случае, политическое образование. С ними можно было дискутировать, и это было интересно.

Ротные политруки, не говоря уж о комсоргах, каждое политзанятие начинали так:

– Товарищи, фашистская тигра ("г" выговаривалось с придыханием, как латинское "h") напала на нашу родину! Мы будем бороться до последней капли крови! А военная обстановка у нас такая... – Следовал перечень населенных пунктов и городов, оставленных "по стратегическим соображениям", или, как принято было выражаться, "чтобы выровнять линию фронта". Это была магическая формула отступления. Но каждое политзанятие заключалось словами: "Враг будет разбит, победа будет за нами". Прокричав очередное "да здравствует товарищ Сталин!" и "ура!", бойцы с облегчением расходились по своим делам.

Санрота, хотя и была по своему строению частью советской армии, но внутренние отношения были совсем другие: во-первых, командир санроты был еврей – доктор С., худощавый, невысокий, с грустными большими глазами, густыми бровями и типичным еврейским носом. Доктор С. имел понятие о войне и военной науке не больше нас, с той разницей, что мы, девушки, пошли в армию добровольно, горя желанием быть полезными и умелыми, а врачи были мобилизованы. Старшим врачом полка был еврей по фамилии Ш., похожий на Ротшильда, но не из французских миллионеров (их я никогда в жизни не видела), а из рассказа Чехова "Скрипка Ротшильда".

Латышские девушки четко отдавали честь еврейским командирам, выполняли все приказы, не вступали ни в прения, ни вообще в какие-либо разговоры. Их антисемитизм выражался в холодном игнорировании. Еврейские врачи, наоборот, относились к латышкам с большим уважением за их аккуратность и исполнительность и совершенно не чувствовали (или делали вид, что не чувствуют) их пренебрежения.

Нас было вначале две еврейки и Нина, полуеврейка по рождению, но очень далекая от еврейства по воспитанию. Была еще еврейская девушка, смазливая и многообещающая, и так как она оказалась человеком слова, то есть выполняла свои обещания, то в санроте ее почти не видели, пи-

талась она угощениями командиров, а ночевала... Латышки, особенно постарше и менее привлекательные, пренебрежительно фыркали, встречая ее.

Надо сказать, что в то время в санроте она была одна такая и, к сожалению, еврейка.

Мне было трудно физически и нравственно. Иногда наш командир доктор С. беседовал с нами, забывая все различия звания и должности, но, как только кто-либо появлялся, он тут же делался строг и официален и отделывался в таком роде: "Санинструктор Манькова, можете идти".

Однажды именно в то трудное время отчуждения и одиночества меня вызвали к главным воротам лагеря. "К вам посетители!" – передал посланный боец. Я никого не ожидала и не могла себе представить, кто мог приехать в эту глушь во время войны меня проведать. Жизнь поломалась надвое, и прошлое казалось далеким, призрачным, не имеющим ничего общего с этой действительностью, называемой войной. И вдруг я вижу перед собой мою милую подругу Мирьям, с которой мы жили душа в душу с семилетнего возраста. Она, конечно, решила, что я большая героиня, потому что пошла в армию, и тут же выразила желание присоединиться ко мне. Я быстро охладила ее пыл, рассказала об антисемитизме латышей, о врачах (как я уже заметила, все они были евреями), которые чувствовали себя высшим сословием и относились к нам как к низшему, при этом, конечно, оказывая предпочтение латышкам.

Я была удивлена, каким образом она, будучи в Казахстане, узнала обо мне. Оказалось, что в газете "Циня" ("Борьба"), издаваемой латышскими коммунистами в Советском Союзе, была помещена статья, в которой корреспондент Краулинь, посетивший Гороховецкие лагеря – один из наивно преданных Советской власти, сидевших в тюрьме при независимой Латвии за принадлежность к партии, – описал именно меня, конечно, не упоминая моей национальности.

После этой встречи прошли годы, я снова встретилась со своей подругой уже в Израиле. Она послушалась моего совета и не пошла в армию. Она прошла по пути дальней эва-

куации, пути не менее, а может, и более тернистому, чем мой. Но я выбрала свой путь добровольно, хотя не имела понятия, что меня ожидает, как и предупреждал колхозный пастух дядя Ваня, – и он оказался, конечно, гораздо мудрее нас. На этом пути надо было утвердиться и снискать расположение товарок, среди которых проходили 24 часа моей жизни.

* * *

Я обладала веселым нравом, звонким голосом и неутомимой жаждой действия. Но так как раненых не было (лагеря находились в глубоком тылу, и война доходила до нас только через сводки), фактически никакой борьбы с врагом не было и в помине.

В ожидании отправки на фронт я бралась за всякие работы, но латышки, особенно деревенские, выполняли эти работы гораздо успешнее. Однажды нас спросили, кто согласен собрать в стирку солдатское белье. Я посмотрела на исполнительных и старательных латышек, но из них никто не вызвался, потому что солдатское белье завшивело до последней степени. В первый раз пошатнулось мое мнение о прилежании и преданности латышек. Тогда доктор С., переведя взгляд, полный ожидания, от одной к другой и не дождавшись ответа, обратился ко мне.

– Я попробую, – сказала я неуверенно, потому что не особенно ясно представляла себе характер этой деятельности.

Я разложила солдатское белье, каждую часть отдельно, и завязала в узлы. Латышки следили за мной сперва с недоверием, а потом даже с некоторым уважением. Когда я, довольная, вернулась с работы в блиндаж, моя подруга по санроте Хана обозвала меня последней идиоткой и сказала, что такая работа – для "деревенских гоек", а не для "еврейской девушки", но я с ней не согласилась.

Время тянулось медленно и однообразно. Ответственной за наши успехи в медицине была латышка лет тридцати пяти, профессиональная госпитальная сестра, очень строгая, неулыбающаяся женщина с круглым лицом, в круглых очках

и с круглыми совиными глазами. Несмотря на то, что я довольно скоро усвоила, как взбивать сенник и застилать койки, подавать больным еду, убирать госпитальный блиндаж, и старательно выполняла все наилучшим образом, она меня невзлюбила и при виде меня ее холодное лицо делалось пренебрежительным. В общем, хотя день был якобы забит, мы много бездельничали и тяготились этим; все как одна с нетерпением ждали отправки на фронт. Распорядок дня был такой же, как у всех бойцов: физзарядка, боевая подготовка, занятия по специальности и политзанятие. Политруком был пожилой латыш с землистым лицом и добрыми впалыми глазами. Он был старый подпольщик со времен "буржуазной Латвии" и отсидел в тюрьмах. В отличие от других политработников, которые любили поговорить, он был молчалив: на политзанятиях скупо обрисовывал "текущий момент", а затем немного более красноречиво рассказывал о возвращении на родину, в Латвию.

Комсорг был полной его противоположностью: советский парень, с живыми серыми глазами, круглым свежим розоватым лицом, энергичный и красноречивый. Его фамилия была Барак. Он со знанием дела организовал красный уголок, комсомольскую ячейку и нашел подругу – бездумную, но очень хорошенькую латышку Мирдзу. Когда я сказала ему, что она не понимает, о чем он говорит, он ответил, что именно таких надо "приобщать", так как их разум "как чистый тетрадный лист" и туда можно вписать все что угодно. Он был прав, Мирдза быстро стала повторять за ним все лозунги.

Но вот поползли слухи, что дивизия укомплектована и и мы скоро отправимся на фронт. Прислали пополнение – нового врача доктора Айну и двух еврейских девушек, худенькую с черными, как сливы, цыганскими глазами Еву и Мэри, длинноногую, немного смахивающую на журавля.

Через несколько дней мы выступили на фронт в московском направлении. По приближении к Москве нас выгрузили из теплушек, и начался пеший поход. На то мы и пехота!

* * *

Был январь 41-го года, с его страшными морозами, доходившими до 40 – 41 градуса. Мы шли лесными дорогами, по твердому скрипящему снегу, в шинелях, в ботинках с обмотками. Ватники и валенки нам еще не успели выдать. Потом мы убедились, что "не успели" было обыденным явлением, зимнее и летнее обмундирование запаздывало на два месяца постоянно. Так что ползимы мы мерзли в ботинках, а весну ходили в мокрых валенках.

Немецкие самолеты носились над нами и обстреливали в упор каждый едва видимый дымок, так что было запрещено разжигать костры не только ночью, но и днем. Бойцы изнемогали, при каждой остановке валились в снег и тут же впадали в сонное забытье, и надо было силой заставлять их подняться. Сержанты и старшины пинками и ударами прикладов, бешено ругаясь, поднимали одуревших от кратковременного сна и смертельной усталости бойцов, и те вяло тащились дальше. Куда делись строевой шаг и боевые песни?! Их давно и в помине не было.

Мы, девушки, еще держались. Может быть, нам было легче переносить мороз, потому что жировая прослойка толще, а может, потому, что мы были в состоянии эйфории – мы шли на фронт!

Ночевали в лесах, устроив наскоро шалаши с нарами из липовых веток, ложились рядышком и укрывались шинелями.

Доктор Айна, единственная женщина-врач, спала с нами. Выспаться не очень-то удавалось: дивизия спешила принять участие в боях под Москвой, и, кроме того, холод не давал залеживаться.

Однажды на одном из коротких привалов комсорг Барак изловчился организовать комсомольскую летучку – зачитал газету и красноречиво объяснил "текущий момент". Я обратила внимание, что хорошенькая Мирдза, весело напевая, подпрыгивает в новеньких, маленьких, аккуратно сшитых валенках и все время ему поддакивает.

— Вот, посмотрите на нашу Мирдзу, — обратился он к нахмурившимся латышкам, — она всегда весела и довольна, потому что сделалась сознательной комсомолкой.

Латышки иронически улыбались, переминаясь с ноги на ногу в холодных ботинках. Я покосилась на новые валенки и довольную физиономию Мирдзы и сказала вполголоса:

— Да, успехи в политической деятельности согревают душу и ноги.

Доктор Айна понимала русский лучше других латышек, она бросила быстрый взгляд, и я заметила, что у нее очень красивые насмешливые карие глаза. Она присутствовала иногда на наших собраниях, так как была членом партии. С этого момента между нами началось постепенное, все крепнущее сближение.

Мы еще не прибыли на фронт, но уже были пострадавшие: обмороженные, замерзшие во сне, которых утром находили мертвыми. И вот на очередном привале у покинутого полустанка тех, кто был не в состоянии идти дальше, командование решило оставить на попечение медперсонала, чтобы затем отправить их в госпиталь. "Медперсонал" звучит солидно и внушительно, но им оказался лишь военфельдшер Л., который вызвался на эту миссию сам, расторопный латыш с серыми хитроватыми глазами, поблескивающими из-за пенсне. По профессии на гражданке он был массажистом, его медицинские познания были весьма туманны, что, однако, не помешало ему стать военфельдшером с двумя кубиками. В помощники он выбрал почему-то меня.

На нашем попечении осталось 120 больных и обмороженных, которых надо было сдать в ближайший госпиталь. Мы расположились в здании бывшей школы. Как видно, до нас там ночевали, потому что на полу валялись сенники. Солдаты в изнеможении попадали на них. А мы, "медперсонал", начали раскладывать перевязочный материал и медикаменты — аспирин, йод, спирт.

— Видишь бинты и марлю? — обратился ко мне фельдшер.

— Вижу.

– Давай отложим их в сторону, вот эти, и они будут считаться стерильными, а остальное – просто "перевязочный материал".

– То есть как это "будут считаться"? – недоумевала я. – Ведь для этого их надо стерилизовать!

– Помни, что я твой прямой начальник, и если я говорю – стерильное, значит – стерильное. Поняла? – и он подмигнул мне своими узкими глазами.

Спорить не приходилось. Закончив эту нехитрую работу, мой начальник огляделся вокруг и сообщил, что он оставляет на меня больных ("Ты ведь, *мазайс*, во всем этом хорошо сама разбираешься"), а сам пойдет искать ближайший госпиталь, и как только найдет, тут же вернется забрать больных.

– Когда ты вернешься? – спросила я довольно беспомощно.

– Думаю, что к вечеру мы всех определим, а завтра чуть свет отправимся в путь.

Я была с ним совершенно согласна и даже была довольна и горда тем, что на мне одной теперь ответственность за 120 человек.

Я начала обход больных в уверенности, что через несколько часов они будут отправлены в госпиталь и там уж им окажут необходимую помощь и все устроится наилучшим образом. Очень скоро я убедилась в том, что сама не справлюсь. Обмороженные добела, иногда дочерна места надо было растирать докрасна снегом или, в более тяжелых случаях, обтирать спиртом. Так как обмороженных было больше ста, то даже если бы я работала всю ночь, я бы не управилась до завтра. Поэтому я заставила тех, у кого руки были здоровые, помогать мне в этой работе. Гангренозных я обрабатывала сама, хотя и знала, что в таких случаях мой труд бесполезен.

Подошел один солдат и потребовал измерить ему кровяное давление, он был уверен, что оно подскочило. Я посмотрела ему в лицо – оно напоминало лицо гоголевского Ноздрева, и по его выражению я поняла, что назревает скандал. У меня не было аппарата, но даже если бы и был, я бы не

знала, что с ним делать. Но в данный момент я была старшей и ответственной, и надо было найти достойный ответ. А где его взять? Солдат увидел мое смущение и дерзко заметил, что тот, кто не знает элементарных вещей в своей работе, должен сидеть тихо, а не брать на себя ответственность за жизнь людей. Я знала, что он прав, и мне не надо было соглашаться оставаться одной со всеми этими больными, но сейчас сожалением делу не поможешь, и я, призвав на помощь все самообладание, спокойно ответила, что у меня, к сожалению, нет нужного аппарата, и если он себя плохо чувствует, пусть ляжет и отдохнет, а когда вернется фельдшер, то если найдет нужным – отправит его в тыл. И ледяным, по возможности, тоном добавила:

– А теперь, если вы не можете помочь, то, по крайней мере, не мешайте работать.

Солдат отошел, цедя сквозь зубы ругательства в мой адрес.

Бойцы помогали друг другу, и я успокоилась. Но тут увидела, что одному из больных совсем плохо. Он лежал на сеннике, устремив тусклый взгляд в одну точку, лицо было серым, отливало свинцом, он дышал часто, хрипло и с трудом. Руки и ноги отекли и лежали неподвижно, пульс был очень быстрый и слабый. Фамилия солдата была Козловский. Я испугалась, я поняла, что человек этот на грани смерти, но как я могу помочь со своими йодом, спиртом и аспирином?

Когда я закончила обход, было далеко за полдень. Солдаты сидели хмурые и поглядывали недоброжелательно. Послышался ропот:

– Оставили нас на какую-то девчонку, и никто о нас не заботится. Вот, кончится хлебный паек, что жрать будем?

И правда, как это я не подумала о продуктах, не спросила об этом у фельдшера?! Ведь я же отвечаю за них за всех! Недовольство нарастало, и я совершенно растерялась. Здесь не поможет тон, надо что-то предпринять, а что? И тут совершенно неожиданно пришла помощь. Крупный широкоплечий человек с густыми сросшимися бровями и строгими черными глазами на смуглом лице поднялся со своего места.

– Ну, чего разгалделись? – вмешался он глубоким басом. – Мужики, а расхныкались, как бабы. Видите, что девушка первый раз на фронте, ну и командира нет. Ну-ка, пошли со мной, дров принесем, может, еще чего найдем.

Несколько человек поднялись с неохотой и пошли за ним. Через несколько минут один вернулся и позвал помочь принести дрова и мешок картошки, который они нашли рядом.

Скоро в печке запылал веселый огонь, закипел чай и забулькала в котелках картошка. Солдаты повеселели и принялись за еду и чаепитие. Я сидела в стороне с чувством вины и отчужденности. Кому я нужна?

– Сестрица, – обратился ко мне пожилой солдат, – сядь с нами чай пить. Скучно без чая-то.

Бойцы подвинулись и дали место у печки. Я пила крепкий сладкий чай и наслаждалась. Настороженность и недоброжелательность бойцов бесследно исчезли. Солнце начало клониться к закату, а фельдшера все не было. Я начала беспокоиться. Что с ним случилось? Я, конечно, ни с кем не могла поделиться своими опасениями. Я пошла попоить чаем Козловского, и мне показалось, что за эти часы его тело еще больше отекло, а пульс был почти неслышен, с частыми перебоями. На чай он не обратил внимания, даже не повернул свою тяжелую голову. Я молча вернулась на место.

– Вы кем были на гражданке? – спросил мужчина, который так меня выручил.

– Студенткой. А вы?

– Тюремщиком в Первой Рижской городской тюрьме.

Тюремщик! Да еще еврей! Я с трудом сдержалась, чтобы не отпрянуть. По моим понятиям, тюремщик был низким типом, который мучает идеалистов-революционеров и т.д. А тут – настоящий живой тюремщик, который так хорошо всем распорядился, успокоил людей, мне помог! Мои прежние представления пошатнулись.

Был поздний вечер. Умиротворенные солдаты спали на сенниках, укрывшись шинелями. Я сидела у печки, в которую "тюремщик" время от времени подбрасывал полено, и с

беспокойством смотрела на дверь: вот она откроется, и войдет фельдшер, возьмет все в свои руки, и все наладится. Но дверь не открывалась, и никто не входил.

– Послушайте, сестрица, – сказал мой избавитель. – Вам надо завтра утром рано пойти искать госпиталь и сдать больных.

– Но мне же надо ждать фельдшера. Я не могу пойти без его распоряжения.

– Извините, как вас зовут? – неожиданно спросил он.

– Меня? – удивилась я неуместному вопросу. – Эстер!

– А меня – Исаак.

Ну, так и думала, что еврей. А он спокойно продолжал:

– Ваш фельдшер сегодня уже не придет, и завтра, наверное, тоже. Видно, где-то загулял. А у вас тут Козловский умирает.

Я опять почувствовала себя глупой и бесполезной. Он прав, ведь если Козловский умрет, это будет на моей совести.

Я растерянно смотрела на этого сильного, строгого и такого умного человека и не знала, что ответить.

А он продолжал:

– Вот что, Эстер, я подежурю у печки, а завтра чуть свет вы пойдете искать госпиталь. О нас не беспокойтесь, хлеб и картошка есть, сахар и чай тоже найдутся. Я позабочусь обо всем. А теперь – марш спать, – добавил он менее строго, но без улыбки.

Я сразу же заснула, как бы провалилась в бездонный колодец, и проснулась оттого, что меня кто-то упорно будил.

– Вставайте, сестрица, до рассвета успеете еще чаю попить.

Я села рывком, и передо мной, как по волшебству, появилась кружка дымящегося чая и аппетитный кусок черного хлеба... Я огляделась вокруг.

– Он не пришел, – ответил мой помощник на незаданный вопрос.

Пока я, обжигаясь, пила горячий чай, взошло красное морозное солнце. Перед выходом я пошла посмотреть Коз-

ловского. Он был жив, но дыхание вырывалось со свистом и пульс вот-вот оборвется.

– Идите, – сказал на прощание мой неожиданный друг, положив руку мне на плечо. – Только не заблудитесь, а я обо всем остальном позабочусь.

Я вышла на улицу. Солнце из алого становилось золотисто-розовым. Мороз был несильным. Нетронутый снег порозовел под лучами солнца и голубел в тени деревьев. Вокруг было тихо, безмолвно, и никаких следов – ни санных, ни человеческих ног. Я вспомнила рассказы Джека Лондона о Белом Безмолвии американского Севера. И тут мне стало страшно. Куда идти? Вся красота сказочного зимнего утра стала мне ненавистной. С какой же радостью поменяла бы я все это на утоптанную конскими копытами, унавоженную колею, а это великолепное безмолвие – на отчаянную ругань повозочных!

Куда же направиться? Я заметила, что в одном месте снег возвышался уходящей вдаль полосой. Я поняла, что это насыпь, и пошла по ней. Не знаю, сколько времени я шла. Солнце поднялось высоко. Ни одна живая душа не попадалась навстречу. Ни одной тропинки, ни намека на близость человека. Усталость от ходьбы вытеснила в какой-то мере беспокойство и страх. Солнце уже было в зените, когда на насыпи показался кто-то, идущий навстречу. Это был молодой солдатик из подразделения, которое расположилось неподалеку. Он сказал, что какой-то госпиталь находится в двух-трех, от силы – четырех километрах отсюда. Туда ведет проезжая дорога. Усталость и чувство отчаяния сразу исчезли, и я энергично зашагала вперед. Вскоре я вышла на хорошо утоптанную дорогу со следами свежего конского помета, и стрелка указывала на полевой госпиталь. При виде палаток, повозок, раненых я почувствовала себя дома. Тут же нашла палатку, главную перевязочную, и смело вошла внутрь. У самодельного стола сидел капитан медслужбы и что-то писал. Подняв глаза, он коротко спросил:

– Вам чего?

– Доктор, – начала я скороговоркой, – у меня на полу-

станке 120 обмороженных, и по их состоянию я должна сдать их в госпиталь.

Капитан молча продолжал смотреть на меня. Что-то во мне его, несомненно, забавляло. И вдруг он задал совсем не относящийся к делу вопрос:

– А вы давно на фронте?

Я объяснила.

– А разве вас не учили обращаться по уставу? – рявкнул он.

Что это такое! У меня больные и умирающий, а тут – "по уставу"! Но я овладела собой, вытянулась по стойке "смирно" и обратилась чужим голосом:

– Товарищ капитан медицинской службы, разрешите обратиться?

– Обращайтесь!

И я ему рассказала все сначала.

– Вы какой части будете? – холодно спросил он.

Я ответила.

– Вы к нам не относитесь, и мы ваших больных принять не можем.

Он опустил глаза и продолжал писать. Я осталась стоять как вкопанная. Что делать? Как я могу вернуться назад ни с чем? Неужели никому нет дела даже до умирающего Козловского? Капитан поднял на меня глаза и небрежно бросил:

– Можете идти!

Я вышла из палатки. К кому обратиться? Куда идти? Вокруг сновали люди, но никто не обращал на меня внимания. Я стояла растерянная, чужая, с совершенно пустой головой. Мимо меня по направлению к большой палатке прошел пожилой, на мой взгляд, лейтенант. "Наверное, это военфельдшер", – вяло подумала я. И вдруг он повернулся и подошел ко мне.

– Ты что, девушка, такая скучная стоишь? Или стряслось чего?

От его спокойного и участливого голоса меня прорвало: я залпом выпалила все, что у меня на душе; он молча слушал, понимающе кивая головой.

– Ну, ладно, ты не больно убивайся. Подожди тут, я пойду выясню. Может, поможем твоей беде. – Это было сказано спокойным и уверенным тоном, с явным желанием помочь. Вскоре он вышел из палатки и бросил на ходу:

– Пошли!

– Пешком?! – вырвалось у меня.

– Ты, наверное, девушка, на фронте недавно?

Я кивнула.

– Так знай, у нас раненые и больные пешком в госпиталь не ходят.

Я почувствовала огромное облегчение. Мы сели в сани и двинулись в путь. С нами было еще двое саней. Оказалось, что к полустанку вела дорога, и мы приехали довольно быстро. Но зимние дни коротки, и солнце уже начало клониться к западу.

Первым делом, когда я зашла в дом, я спросила:

– Фельдшер вернулся?

Солдаты угрюмо отвернулись. Исаак, мой добрый ангел, кивком указал на комнату, где лежал Козловский. Я и русский военфельдшер подошли к нему. Он лежал в той же позе, устремив равнодушный взгляд в потолок. Одутловатое лицо стало совсем серым. Но хрипа и свиста дыхания слышно не было. "Хорошо, хоть дыхание успокоилось", – подумала я про себя, счастье, что не вслух. Фельдшер прощупал пульс, потом вынул из кармана маленькое зеркальце, начисто его вытер и приложил к губам больного. Зеркальце так и осталось чистым. Фельдшер тяжело поднялся и посмотрел на меня в упор холодным взглядом.

– На вашей совести человеческая жизнь. По вашей халатности армия потеряла бойца. Знаете, что за это полагается?

Я молчала. Это была первая смерть, которую я видела собственными глазами и виновницей которой оказалась я. Бойцы, сидевшие вокруг, глядели на меня исподлобья. Я была так потрясена, что не могла сдвинуться с места, не то что начать оправдываться. В душе я вполне была согласна с тем, что я – виновата. Фельдшер поглядел внимательно и вдруг положил мне руку на плечо.

– Ладно, девушка, не тужи. Это – не в первый и не в последний раз, что человек пропадает. На то и война. А ты впредь будь осторожней, а то нарвешься. А теперь давай станем осматривать больных.

Я не помню, что было потом. Я только ходила за ним как автомат, и записывала, что он мне говорил, а передо мной все время стояло серое лицо Козловского. Не помню, как всех увезли. Помню, что сидела на сеннике, а рижский тюремщик Исаак, у которого были отморожены пальцы левой руки, помогал фельдшеру. Когда последние бойцы были уложены в сани, Исаак подошел попрощаться. Он крепко пожал мне руку и предложил ехать с ними. Я поблагодарила, но отказалась – мне надо было ждать моего начальника. Исаак подал мне какой-то сверток и сказал:

– Возьмите, сестра Эстер. Это хорошие сапоги. Я снял их с Козловского. Я вижу, ваши ботинки совсем разодрались.

Что же это делается?! Чтоб я обула сапоги с мертвого? Да еще умершего по моей вине?! Но чтобы не обидеть человека, так обо мне заботившегося, я сказала:

– Большое спасибо. Я не могу их надеть – они мне велики, а вам пригодятся.

Он посмотрел мне прямо в глаза и покачал головой:

– По всему видно, что вы еще фронта не видели. Ну, что ж, желаю всего хорошего, Эстер. И вот вам мой единственный совет: впредь будьте осторожны. – Он крепко пожал мне руку своей сильной волосатой рукой и добавил: – Кто знает, увидимся ли еще...

Больше мы никогда не встретились.

Наступил вечер. Я сидела в выстывшей комнате оставленной школы на заснеженном полустанке и ждала моего командира. Кругом был белый безмолвный простор. Что же будет, если он и сегодня не вернется, куда я завтра пойду? Где искать свою часть? Я решила переночевать, а утром отправиться на поиски полка. Сначала я чуть было не впала в отчаяние, но мой непобедимый оптимизм взял верх. Я подбросила дров в печку, подтащила сенник поближе и села ожи-

дать командира. Когда я почти задремала, дверь открылась, и с шумом вошел военфельдшер. Щеки, порозовевшие от мороза, пылали здоровьем, серо-зеленоватые глаза поблескивали из-за пенсне, и весь он так и лучился весельем.

– Мазайс, где же больные?

– Может, ты недоволен, что тебя не дождались? – огрызнулась я. – Где ты пропадал все время, пока я госпиталь искала и пока всех отправляла? – выкрикнула я с обидой, но он совсем не смутился, покровительственно похлопал меня по плечу и сказал:

– Молодец, мазайс, я знал, что ты все устроишь наилучшим образом!

Я замолчала, не имея сил пробить брешь в его радостном самодовольстве. После некоторого молчания я тихо сказала:

– В твое отсутствие у меня солдат умер.

Он посерьезнел на минуту.

– Мазайс, это война, а не прогулка, и ты должна привыкать.

Повеселев опять, он рассказал новости. Наша дивизия принимала участие в боях под Москвой, были большие потери, и теперь дивизия отступает в Наро-фоминском направлении.

– Вот видишь, они воевали, а мы тут околачивались со всякими обмороженными!

– Да что ты так волнуешься, мазайс! Война только началась, хватит и на твою долю! – беспечно ответил он.

– Значит, завтра мы едем догонять дивизию? – мой вопрос звучал утверждением.

– Да, конечно, – поспешно согласился мой командир, – но сейчас надо ехать в Москву.

– В Москву? Но ведь дивизия находится на Наро-фоминском направлении, противоположном Москве?

Военфельдшер прищурился и начал пояснять:

– Ты больных в госпиталь сдала?

– Сдала.

– Документ о сдаче предъявить нужно?

– Нужно, но мы предъявим его в нашей части!

– Ты кому сдала больных? Медсанбату нашей дивизии или госпиталю другой дивизии? Ну, значит, документы надо предъявить в штабе армии, а штаб армии еще находится в Москве, и нам надо спешить.

Затем подошел, погладил меня по голове и заговорил так, будто увещевал малого ребенка:

– Дурочка, я же о тебе забочусь. Если ты вовремя не сдашь документ об отправке больных, тебя же обвинят в халатности и разгильдяйстве и еще чего доброго потянут в суд!

Вот тебе раз! После того, как он оставил меня одну со 120 больными на заброшенном полустанке и я все-таки сдала их в госпиталь, меня еще привлекут к суду!

Я чувствовала, что что-то не так, но никак не могла ухватить кончик нити, которая бы привела меня к правде. Кроме того, формалистика всегда действовала на меня подавляюще. У меня мелькнула мысль, что я нашла выход из положения.

– Знаешь что, возьми документ и поезжай в Москву, в штаб армии, а я отправлюсь догонять дивизию, – заявила я, довольная своей находчивостью.

– Ты что, совсем с ума сошла? – воскликнул он с явной тревогой. – Ты думаешь, что я пущу тебя одну шляться по эшелонам? Ты вообще понимаешь, что значит девушке одной ездить в такое время?

Я начала понимать, к чему он клонит, но у меня была полная уверенность, что если я не захочу, никто мне ничего худого не сделает.

Эта уверенность, между прочим, вполне оправдалась в течение всей моей жизни.

Я начала было объяснять, что, мол, никого не боюсь и никто мне зла не сделает, но он прервал рассуждения в самом начале, бросив со злостью:

– Дура, никуда ты одна не поедешь! Ты прикреплена ко мне, и я твой командир! Без моего разрешения ты не двинешься с места!

– Плевать мне на твое разрешение! Я еду на фронт!

Я схватила свой тощий вещмешок и бросилась к двери, хотя не имела ни малейшего понятия, куда надо идти. Он меня не задерживал, только бросил вдогонку одно слово: "дезертир".

Для нас не было более постыдного слова, чем дезертир, и я остановилась как вкопанная.

– Это я дезертир? Я на фронт еду догонять подразделение, а ты – околачиваться в тылу в Москве!

– Я объявлю, что ты без ведома командира отлучилась из подразделения в неизвестном направлении, а на фронт или не на фронт, это еще бабушка надвое сказала!

Я поняла, что он вышел победителем. Куда я пойду без направления, без документа для получения пайка (ведь кто знает, как долго добираться до дивизии), когда в любую минуту, в любом месте меня могут запросто задержать за дезертирство?

Итак, мы отправились в Москву, и я убедилась, что мой фельдшер умел устраиваться в любом положении. Он нашел эшелон, идущий в Москву, переполненный бойцами неизвестных частей. Каким-то чудом нашлось место и ему и мне и еще нескольким латышам, связанным с доставкой провианта и потому везде желанным попутчикам.

Появилась буханка хлеба, круглая, пышная, ее коричневая корочка дразнила наш возрастающий аппетит. В одно мгновение появились вскрытые коробки консервов и, конечно, бутылка водки, без которой никакое застолье немыслимо. Тут же возник пузатый чайник с кипятком, и был заварен крепкий чай.

Надо признать, что мой командир обо мне заботился и старался доставить все маленькие удобства, которые не имеют значения в нормальной жизни и так важны в условиях войны, когда все опрокинулось вверх дном, в том числе и понятия, что является наиважнейшим, что честно и что нечестно или в чем выявляется дружба.

– Мазайс, – уговаривал он, – выпей с нами, ты же едешь на фронт, тебе надо привыкать!

Я глотнула из кружки, которую мне преподнесли, и вкус

водки показался мне отвратительным, к тому же я страшно закашлялась на радость всей компании.

По прибытии в Москву началась совершенно непонятная жизнь. У моего командира оказались знакомые среди гражданского населения, и мы остановились у них на квартире, причем туда же доставили мешки пшеничной муки и риса (а рис был тогда редкостью), кульки с сахаром, мясные консервы и, конечно, водку.

Каждый вечер появлялись командиры отставших от дивизий хозяйственных частей, какие-то русские девушки (причем были очень даже молоденькие), и начиналась вечеринка, то есть попросту попойка. Отказ пить со всеми воспринимался как страшное оскорбление и признак заносчивости. Мне пришлось привыкнуть и пить так, чтобы не обидеть компанию и не опьянеть.

На настойчивые вопросы, почему мы не догоняем дивизию, фельдшер только отмахивался, но на следующее утро он собрал всех бойцов хозяйственных подразделений и велел мне проверить их на вшивость, провести санобработку и лечить больных, прибавив:

– Ты думаешь, это не важное задание? Тебе лишь бы героизм проявлять, а вот попробуй военные будни!

Бойцы лечились с удовольствием, тем паче, что ничем, кроме насморка, не болели. Но когда дошло до проверки на вшивость и санобработки, большинство сконфузилось не меньше меня. Я уж собралась своей властью уполномочить одного из них выполнить это сложное задание, но мой командир явился собственной персоной, чтобы проверить, как его подчиненная выполняет поручение. Это была его месть за мои вечные напоминания о возвращении в дивизию.

С каменным лицом я обсыпала порошком против вшивости всех бойцов по порядку, стараясь не смотреть им в лицо, поскольку им было так же стыдно и неловко, как и мне. Фельдшер стоял в сторонке и ухмылялся.

В тот же вечер хозяйка напекла вкуснейшие пирожки из пшеничной муки, начиненные рисом. Стаканы и бутылки уже были расставлены. Скоро пришли завсегдатаи и несколь-

ко новоиспеченных командиров, которым надо было отправляться на фронт, появились девушки (между прочим, как всегда, другие), и началась попойка. Мне стало грустно, и я решила выйти на свежий воздух, главное, чтобы не обижать компанию отказом от выпивки. Я стояла в сенях, вдыхая чистый ночной воздух, и любовалась темным мерцающим небом и белой искрящейся землей. На минуту вся военная действительность исчезла из моего сознания, захотелось раствориться в этом торжественном величии, ни о чем не думая. Но дверь скрипнула, и на пороге показался мой командир.

– Мазайс, иди-ка сюда, я открою тебе секрет.

Он, как видно, был сильно выпивши, потому что нетвердо стоял на ногах. Я подошла, и он, нагнувшись близко, зашептал:

– Кончились золотые денечки, завтра утром едем догонять полк.

– Вот здорово! – воскликнула я и на радостях обняла его, как родного брата, но это было ошибкой. Он прижал меня к себе и впился в меня губами. Я начала вырываться, он жарко зашептал:

– Я знаю, что у тебя еще никого не было, пойдем со мной, ведь на фронте тебя могут убить, и ты так и не узнаешь вкуса мужчины.

Я вырывалась, загремели какие-то ведра, кадка с квашеной капустой стала медленно крениться на бок, и капустный сок растекся по сеням. На шум открылась дверь, показались любопытные лица. Я выскочила во двор, давясь от смеха и наблюдая издали, как смущенный фельдшер, чертыхаясь по-латышски, возвращается в комнату.

Я огляделась. Было то же звездное небо и та же бело-искрящаяся земля, но уже не хотелось растворяться в их торжественной красоте.

На следующее утро мы выехали на фронт.

* * *

Был серый теплый оттепельный день. Мы уже догнали

полк. Неодолимо желая, конечно, со всей скромностью, без похвальбы, рассказать о всех переживаниях и как успешно справилась с трудной задачей, я поспешила к девушкам. Но когда увидела их возле знакомых медицинских ящиков, они отвернулись и зашли в палатку, а передо мной стояла только Марта, сестра военфельдшера. Зеленые, чуть монгольские глаза сощурились, узкие губы растянулись в ядовитой улыбке.

– Ты, Манькова, как видно, неплохо проводила время в тылу с моим братом, пока мы тут воевали!

Внутри у меня все опало от чувства вины, что, действительно, пока они воевали под Москвой, я околачивалась в тылу с моими обмороженными (подумаешь, какая важность!), но, вспомнив ее брата, я озлилась и не менее ядовито отрезала:

– Да, твой братец не особенно спешил догнать дивизию, это правда.

Марта позеленела от злости, а я прошла мимо в палатку. Девушки были заняты каждая своим делом, как бы не обращая на меня никакого внимания. У меня не было духу расспросить их об участии в боях. Наступило тягостное молчание. В эту минуту в палатку, как буря, влетела Нинка. Она продолжала переругиваться с кем-то невидимым и чертыхалась на все лады. При виде меня гнев ее моментально испарился, и она обняла меня от всего сердца. (Поцелуи не были приняты.)

– Пошли обедать! – воскликнула она, не замечая моей подавленности и общей враждебности. Когда мы вышли из палатки, я спросила, почему мне был оказан такой прием.

– Видишь ли, под Москвой нас послали на самую передовую, выносить раненых с поля боя. Многие девушки были ранены, а некоторые убиты. У нас ранено трое, – она назвала имена, – а Валя Томсон убита.

Валя Томсон – высокая стройная латышка с матово-бледным лицом и прекрасными северно-голубыми глазами. Солдатская форма не только не портила, но придавала ее стану необыкновенную прелесть. Когда Валя в развевающейся

плащ-палатке мчалась верхом на лошади (которую артиллеристы ей охотно давали), она выглядела как владелица средневекового замка. У нее был спокойный мечтательный нрав. До сих пор помню, как она напевала несильным, но очень приятным контральто (даю примерный перевод):

О Родине песня так грустно звучит,
но видеть ее мне мой рок не велит.
Брожу по чужбине с болящей душой.
Увижу ль когда-нибудь берег родной?..

И когда она сидела, напевая, она опять-таки напоминала царицу из сказки.

И вот она убита при выносе раненых с линии фронта. Да, хвастаться нечем: подумаешь, сдала 120 больных и обмороженных в госпиталь! А тут воевали по-настоящему!

В общем, начались будни, то есть тяжелые походы. Мы шли в Наро-фоминском направлении и продвигались к Старой Руссе. Была суровая зима 41-го года. Мы давно оставили железную дорогу с ее поездами-теплушками и пробирались по лесным фронтовым дорогам пешком; артиллерию тащили лошади.

По мнению командиров, фронт был далеко. Нам не грозила опасность, и мы двигались медленно, подбирая отстающих. Как правило, отдыхали в деревнях. В начале первого года войны эти деревни ничем не отличались от села Выжлеи в сельсовете "Пьянский перевоз" на реке Пьянке. Мы располагались в избах, хозяйки топили печь и приготовляли пищу из наших продуктов, а мы угощали их и всю семью. Мы наедались и, разомлев от тепла, быстро засыпали, потому что никогда не знали, когда нас поднимут.

Но вот только мы расположились в одной светлой и чистой избе в ожидании горячего обеда, и вдруг налет и бомбежка. Немецкие самолеты пикировали с отвратительным визгом. Мы выскочили на улицу с санитарными сумками. По обеим сторонам улицы горели избы, из них выбегали раненые бойцы. Пикировщики безотказно продолжали свое

дело. Ни одного советского самолета не было в небе. И мы были совершенно беззащитны. Не знаю, что чувствовали бойцы и командиры, захваченные врасплох и поливаемые жестоким огнем, но девушки, представьте себе, именно девушки, не растерялись. Мы бросились перевязывать раненых и оттаскивать их подальше, хотя в грохоте взрывов было совершенно неизвестно, где "дальше" и где "ближе". Это было моим боевым крещением. Я не чувствовала страха, как и остальные девушки. Врачей я на улице не видела. Одна Айна была с нами и указывала, куда перенести перевязанных раненых, причем она лихо таскала их вместе с нами. Когда налет кончился, появились остальные врачи, командир роты доктор С. и главврач доктор Ш., и занялись эвакуацией.

После отправки раненых мы собрались вместе, и Айна сказала:

– Молодец, Этька! В первый раз в таком переплете и не испугалась!

Для меня это было высшим признанием. Мои еврейские врачи расхваливали латышек, но обо мне – ни слова. Я не сердилась, я их прекрасно понимала.

С тех пор началось непонятное. Мы устремились вперед, но оказалось, что дорога отрезана и впереди немцы. Но сзади тоже оказались немцы, а кроме того, дорога обстреливалась и справа и слева.

Помню, как мы, то есть не дивизия и не полк, а наша боевая санрота, состоящая из трех врачей, двадцати девушек и четырех или шести санитаров, людей пожилых и больных, повозочного (такого же вояки, как и санитары) и лошадей, а также старшины, о котором я уже упоминала, – мы все мчались скорым карьером к ближайшему лесочку, который казался хоть и жалким, но каким-то укрытием. Повозочный с лошадьми и со старшиной почему-то в таких случаях оказывались позади, около полковой кухни, которая приняла опоздание как правило поведения. Я при моем росте и спортивных способностях оказалась последней. Никто, кроме Айны, не оглядывался назад. Айна остановилась на минуту и, обругав меня последними словами, дурой и уж не помню,

чем еще, потащила меня за собой, и, запыхавшись и выбившись из сил, мы прибыли в лесок. Все тут же полегли на землю. По окончании обстрела я не удержалась и ядовито заметила доктору С.:

– Никогда не думала, доктор, что вы бегаете с легкостью серны, не оглядываясь.

Его изможденное лицо стало пунцовым, и мне сделалось его жаль.

Таким манером мы продвигались к Старой Руссе, и я, конечно, не берусь судить, то ли мы беспорядочно удирали (что называлось выравниваем фронта), то ли спешным карьером, то есть почти бегом, продвигались в назначенном направлении и выполняли боевое задание. Не успевали мы обосноваться в какой-либо деревне на отдых, как налетали немецкие бомбардировщики, бомбили и даже обстреливали в упор. Было много раненых, и мы перевязывали, делали уколы морфия, поили их крепким сладким чаем, в общем, делали все, что было нужно по требованиям времени. Это было не только работой, но и нашим призванием. Официальной задачей была "обработка раненых", то есть все то, о чем упоминалось выше. Эвакуация раненых в госпитали входила в обязанности старшего врача. К нему были прикреплены повозочные, девушки составляли медицинский персонал, сопровождающий раненых.

В это сумасшедшее время, 41-й – 42-й годы, случалось, что мы еще не успевали как следует "обработать" раненых, а уже был дан приказ по полку двигаться дальше. Мы, как правило, заканчивали нашу работу и бежали догонять полк. Но главный вопрос – эвакуация. Легкораненые шли пешком вместе с нами, тяжелораненых клали в повозки или сани, смотря по времени года, и укрывали шинелями, одеялами и соломой.

На одной из таких остановок наша санрота, то есть девушки и врачи, удрали в последний момент. Обстрелом убило лошадей, и раненые остались в избе. Немцы продвигались и были на подступах к деревне. Старший врач, длинноногий очкастый еврей, тот, который был похож на чеховско-

го Ротшильда, рассудил, что, будучи таким ярко выраженным евреем, он не может оказаться в немецком плену. Он оставил с ранеными санитарку, здоровенную светловолосую и краснощекую латышскую девушку, снабдил ее продуктами (которые были под рукой), медикаментами и перевязочным материалом, а сам бросился бежать.

Когда я узнала, что старший врач вернулся, я бросилась в землянку командира роты, доктора С., чтобы сообщить радостную весть. Но доктор Ш. был уже там. Он сидел на патронном ящике, закрыв лицо руками. В землянке, как и вообще в землянках, было полутемно, а со света совсем мало видно, так что я в первую минуту не разобралась в ситуации и радостно закричала: "Слава Богу, что все в порядке и вы благополучно вернулись!" Доктор Ш. поднял голову и устремил на меня тусклый взгляд. Мои глаза уже успели привыкнуть к полутьме, и мне показалось, что он меня не видит. Я посмотрела на командира роты, но он без слов, одним движением черных бровей велел мне выйти, чему я несказанно удивилась. Но когда я вышла, все стало ясно. У входа стояла Марта в окружении других латышских санитарок и что-то оживленно рассказывала, а увидев меня, многозначительно улыбнулась и повысила голос:

– Он оставил ее со всеми ранеными на произвол судьбы у немцев, а сам удрал. Ох, эти евреи...

В латышском языке есть два определения для понятия "еврей", и оба официально приняты: "еврей" и "жид", чтобы не к чему было придраться. Когда Марта с воодушевлением закончила свой рассказ, она добавила:

– Ну, ясно, еврей, жид...

И было в этих двух словах столько высокомерного презрения, что мне сделалось холодно в этот теплый тихий оттепельный день. Остальные девушки, которые возмущенно поддакивали, увидев меня, замолчали и разошлись. После услышанного я поняла, что означал мертвый взгляд доктора Ш. Ему грозили или военно-полевой суд, то есть расстрел на месте, или штрафная рота. Ведь он оставил раненых в руках врага. Штрафные роты, как правило, посылали туда, откуда

не было шансов вернуться, но если паче чаяния кому-либо удавалось, с него снималась вина. У доктора Ш. было направление в штрафную роту. Он пришел проститься с доктором С. Когда он вышел из землянки, худой, высокий еврей с подгибающимися коленями, вся санрота от него отвернулась. Мне хотелось пожелать ему что-нибудь на дорогу, но я не знала, что сказать. Ведь мне было известно, что оттуда не возвращаются. По окончании войны я узнала, что он погиб. Какова была судьба раненых и латышской санитарки, также осталось неизвестным.

После боев под Москвой, в которых дивизия потеряла около трети боевого состава, нам прислали пополнение. Прибыли новый командир полка (прежний был ранен) и новый заместитель по политчасти, который потом именовался комиссаром.

Трудно представить более противоположных людей, чем эти двое. Полковник Ю. был подвижный, худощавый человек с умным сухим лицом и пронзительными карими глазами. Комиссар Б. был широкоплеч, приземист, с широким красным пышущим здоровьем лицом и холодными голубыми жестокими глазами. Полковник не повышал голоса, даже когда приказывал, а в частном разговоре был вежлив и выражался языком интеллигентного человека. Комиссар отдавал приказы лающим голосом, его речь состояла из лозунгов, а насчет частной беседы не могу сказать, я с ним в таковые не вступала. Единственное, что было общим у обоих, это их прошлое. Оба были советскими латышами, участвовали в революции, затем оба попали в лагеря заключенных, откуда и посланы были на фронт, чтобы пополнить дивизию хоть какими-нибудь латышами. Полковник иногда, хоть и не часто (ведь он был командир полка), беседовал со мной о литературе. Даже дал читать одну часть из трилогии А. Толстого "Хождение по мукам".

Комиссар Б. невзлюбил меня с первой минуты: во-первых, я была еврейка, а евреев он не жаловал, во-вторых, от меня за версту разило крамолой, ибо я задавала вопросы. Было принято, что после патриотических лозунгов, главной

части речей, политруки спрашивали, есть ли вопросы, и, как правило, вопросов не было. Однако после того, как какой-то приезжий политрук, возможно, из штаба дивизии, снова прочел нам (уже в пятый или шестой раз) обращение товарища Сталина "Братья и сестры!..", причем читал он правильно и довольно выразительно, и все с большим подъемом провозгласили традиционное "ура" и последовало традиционное обращение "вопросов нет?", я подняла руку.

– Вам чего? – удивился приезжий политрук.

– У меня вопрос! – Воцарилась непонятная тишина, и все присутствующие уставились на меня, как на чудо.

– Вопрос? – медленно переспросил политрук. – Ну, что ж, послушаем.

– Мы все грамотные и газеты умеем читать сами, так что нам известно, что сказал товарищ Сталин по поводу войны. А вот интересно знать, что вы скажете?

Тишина сгустилась. И хотя я сидела около других девушек, я почувствовала вокруг себя пустоту. Политрук на минуту смешался, и его лицо пошло пятнами. Надо сказать, он тут же нашелся.

– Ну, что вы, девушка, что бы я ни сказал, лучше товарища Сталина все равно не скажешь!

"Молодец! – безобидно подумала я, – нашел выход из неудобного положения". Но, как я узнала потом, сам политрук не был безобидным, и мое поведение обсуждалось у комиссара Б. Это я узнала у Айны, в которой удивительно совмещались абсолютная преданность партии и такая же преданность дружбе.

– Так, Этька, помалкивай и попридержи свой язык. Это – мой совет! – заключила она.

Я старалась следовать ее советам и не показываться на глаза комиссару, но "помалкивать" не получалось. Интересно, что Нина тоже не молчала. Она посылала всех мужчин ко всем чертям, не разбирая должностей и званий, но комиссар ее за это не преследовал, а только посмеивался: молодец, Нина, не давай им спуску.

Однажды подошел ко мне фельдшер Л., мой бывший

командир, и, к моему изумлению и негодованию, предложил мне пойти мыть полы – и у кого! – у комиссара Б.! Я приняла это как насмешку и большое унижение.

– Иди, предложи это своей сестре Марте. Ей это больше подходит!

Он не обиделся, улыбнулся и сказал, что я подала удачную мысль. Совет, действительно, оказался удачным – Марта, к моему удовольствию, оставила санроту и осталась у комиссара. Она не мыла полы и не готовила еду – у Марты были другие обязанности: ППЖ – походно-полевая жена. Так что после войны комиссар оставил свою законную супругу и остался с Мартой в Латвии.

Прибыли и новые врачи советского производства. Один был чернооким красавцем с вьющимися черными волосами и необыкновенно милым выражением лица. Несмотря на цвет глаз и волос, он был настоящий русский, доктор Николай Ляпунов. Он понравился всем, и все девчонки в него влюбились, до поры до времени – платонически.

Второй врач – бледный, остроносый, кареглазый, с насмешливым прищуром, был еврей, и вся санрота его невзлюбила с первого взгляда. Вся санрота, кроме меня. Мне казалось, его невзлюбили потому, что в нем что-то особенное, скрытое, то есть – интересное. Может, будь я сведущей в психологии, я бы поняла, что его насмешливость исходит от комплексов со сложными названиями. Но на фронте было не до тонкостей. В одной из деревень к нему приехала жена, молодая светловолосая женщина. Звали ее, как меня, – Эсфирь, то есть Эстер. Это меня поразило.

В промежутках между наступлениями и сражениями доктор Ляпунов учил меня медицине. Он раздобыл книгу для обучения фельдшеров и часами (правда, редко) проходил со мной ускоренный курс. Я любила учиться и использовала все свободное время. Скоро я уже разбиралась во всех медикаментах, бывших в нашем распоряжении, когда, кому и как их давать. Часто врачи оставляли меня дежурить вместо себя, чем я очень гордилась. Из всех девушек санроты лишь на меня возлагали распределение раненых на эвакуа-

цию. Это была большая ответственность, и мне это было очень лестно.

* * *

Итак, раненые.

Уход за ранеными являлся не занятием, работой или службой, а главным остовом нашей жизни. Так чувствовали все девушки без различия возраста (от 17 до 30 лет), национальности (латышки и еврейки) и культурного уровня, но никто не произносил выспренных слов "долг", "социалистическое отечество" или "за родину, за Сталина!"

Однажды (это было на подступах к Старой Руссе, когда мы и немцы делали концентрические круги с наступлениями и отступлениями, местными победами и поражениями, где полегли тысячи бойцов) немцы собрались в сотый раз в наступление, и, как обычно, перед наступлением начался артиллерийский обстрел. На этот раз – из дальнобойных орудий, пушек с прямой наводкой и минометов. У нас в палатке и до обстрела было полно раненых, которых мы не успели эвакуировать, потому что не было транспорта и потому что, по расчетам начальства, мы были в тылу. Это подтверждалось тем, что к нам прибыли корреспонденты из дивизионной газеты и даже армейской, два спецкора и один полковник, которые, конечно, не рисковали бы своей особой, если бы знали, что им угрожает опасность. До обстрела все было хорошо. Они расспрашивали нас и раненых, записывали в блокноты, пили чай. И мы надеялись, что попадем в дивизионную газету, а может быть, даже армейскую. Но вдруг без всякого предупреждения начался страшный обстрел. Земля, воздух и наша несчастная палатка – все заходило ходуном. Раненых мы сняли с нар и положили на пол, на одеяла (очень жалкая защита от осколков, а о прямом попадании и говорить нечего).

Нас было трое: Ольга – крупная крепкая голубоглазая латышка, Олечка – милейшая девочка 16 – 17 лет с широким свежим славянским лицом и смеющимися серыми глазами, и я. Мы поправляли повязки, громко крича на ухо ра-

неным успокоительные слова сквозь страшный грохот обстрела.

— Может, напоить их чаем?! — прокричала Олечка-маленькая.

Очень хорошая мысль! И я одобрительно кивнула головой. Ольга и Олечка нашли чай, оставшийся от корреспондентов, и разлили по кружкам, причем руки у них дрожали. Я посмотрела на свои руки: хорошо, что не я разливала чай, у меня бы все пролилось.

К моему удивлению, раненые с жадностью пили чай и смотрели на нас благодарными глазами. Но тут я спохватилась: а где же полковник и два майора? Их нигде не было! Не может быть, чтобы в такой адский обстрел они вышли наружу! Хотя надо признать, что брезентовые палатки не представляют собой идеал защиты и безопасности, но для нас и, кажется, что и для раненых, это все-таки были стены, и мы были внутри, а грохот взрывов — снаружи.

Понемногу грохот стихал. Раненые, кто мог, подымали головы, оглядываясь кругом, как бы просыпаясь от страшного сна, и даже садились. Тут Ольга-большая дернула меня за рукав и глазами указала на три неподвижных тела в хромовых сапожках и аккуратных новых шинелях. Они все, как по команде, лежали спиной вверх, прижавшись к грязному полу. Но куда делись головы? В первую минуту мы испугались: а вдруг они убиты? Но вот тела зашевелились, и из-под низких нар стали выдвигаться с трудом вдавленные туда головы. Раненые, те, которые были в сознании, перемигнулись и отвернулись. Мы, трое, переглядывались, смотря, как медленно выползают на карачках, а потом на коленях, полковник и майоры. Нас разбирал смех, и я не удержалась:

— Вот, девочки, какой успех мы имеем! Даже полковник и майоры перед нами на карачках ползают!

Олечка-маленькая прыснула, а Ольга-большая укоризненно сказала:

— Из-за тебя не попасть нам в газету.

Точно как в воду глядела: мы не попали ни в дивизионную, ни в армейскую, ни даже в полковую газету.

Мы были закалены, и вид ранений, даже самых страшных, не вызывал ни страха, ни отвращения. Но каждая из нас, мирных жительниц благоустроенной Латвии, прошла свою точку перелома.

Недавно школьники (я сейчас работаю медсестрой в межкибуцной школе Кидмат-Кинерет на берегу Тивериадского озера) обратились ко мне с просьбой рассказать о каком-нибудь остром переживании при оказании помощи раненым. Тогда я вспомнила. Это было зимой 41 – 42-го года. Мы уже знали, что представляют собой раненые, истекающие кровью, с бледными, полными страданиями лицами, запыленные, грязные, часто не имеющие сил сдерживать испражнения. Мы крепились и делали все что надо без малейшей брезгливости. Я считала себя совершенно закаленной. И вот, после одного из многих богатых жертвами и бедных результатами наступлений, к нам снова прибыли раненые. Я уже закончила дежурство и вышла из палатки, полной тяжелых запахов и стонов, на свежий воздух, предвкушая шестичасовый (если не будет неожиданных приказов) отдых. Но тут я услыхала голос одной из девушек, выглянувшей из палатки:

– Зайди, Айна просит, чтобы ты помогла!

Если Айна просит, чтобы я помогла после моего дежурства – это верх доверия и дружбы. Я вернулась. На очередных носилках стонал раненый. Другие лежали на нарах после обработки, а некоторые, до кого руки еще не дошли, находились недалеко от входа. Ничего необыкновенного.

– Этька! – обратилась ко мне Айна, – у него пятка держится на одних сухожилиях, но я попробую пришить. Может, удастся.

Раненый перестал стонать и обеспокоенно спросил:

– А это больно – пришивать?

– Не бойся, милый! – сказала она на своеобразном русском языке с латышским акцентом. – Я тебе сделаю укол.

Глаза солдатика наполнились безграничным страхом, и он следил за наполнением шприца, как за своей судьбой. Я крепко прижимала почти оторванную пятку к ступне... Айна наклонилась со шприцем, и в этот момент солдатик дер-

нулся изо всех сил, и оторванная пятка осталась у меня в руках. Все потемнело вокруг, и больше я ничего не помнила. Когда я начала приходить в себя, первым ощущением был звук. Сквозь шум в ушах мне послышался обеспокоенный голос Айны:

– Ну, как, лучше ей? Приходит в себя? – И я почувствовала несколько сильных шлепков по щекам. Но когда я открыла глаза в надежде на ее сострадание, я увидела гневное лицо, и на меня посыпался дождь ругательств: "дура набитая", "ослиха несчастная" и тому подобные определения моих умственных способностей.

– Ведь, может, мне бы удалось пришить ему пятку, а теперь он останется инвалидом на всю жизнь!

Я сидела на поваленном бурей дереве, поддерживаемая Олечкой-маленькой, и подавленно молчала. Когда я подняла на Айну удрученный взгляд, я заметила веселый луч, вырвавшийся из ее карих глаз под еще гневными насупленными бровями.

– Ладно, Этька! – сказала она миролюбиво. – Еще не такое бывает. Студенткой я сама в морге пару раз теряла сознание. – И, совсем развеселившись, добавила: – Приходи ко мне сегодня чай пить. Я получила командирский паек: пачку галет и пятьдесят граммов масла.

После всего происшедшего пить чай у Айны! Это было счастьем! Да, о командирском пайке. Все начальство, то есть врачи и фельдшера, получали тот же паек, но делилась с нами лишь Айна. Все остальные мужчины, конечно, приглашали ту или иную девушку и угощали (о цели угощения я умалчиваю). Но угощать и делиться – это совершенно разные вещи. Галеты, да еще с маслом, – это нельзя было сравнить с самыми высшими командирскими отличиями...

Этот случай был моим боевым крещением. Больше подобного со мной не бывало, и я не боялась браться ни за какое дело, ни за какое самое страшное ранение, которые я не стану описывать. Но еще два случая врезались мне в память.

Однажды, после очередного наступления, к нам прибыли раненые. Мы скоро управились с работой и, к счастью, успе-

ли всех эвакуировать – кого в медсанбат (медицинский санитарный батальон), кого в ближайший госпиталь. И вот, посушив полусырой хлеб на раскаленной жестяной печурке, посыпали его сахаром и с приятным чувством выполненного долга расселись на пнях и поваленных деревьях отдохнуть и закусить. Издали медленно приближался человек, держа перед собой какой-то красный сверток. Мы не обратили на него особого внимания: идет себе человек – ну и пусть идет. Когда он приблизился довольно еще твердым шагом, но с остекленевшим взглядом, моя милая подружка Ева (одна из нас, троих евреек) вскочила с пня, на котором сидела, и хлеб, с таким трудом просушенный и подсахаренный, упал в снег.

– Этя! Что у него в руках?!

Вот тут действительно полагалось грохнуться в обморок: он нес в руках собственные кишки, которые выпали при ранении в живот. Но никакого обморока ни с кем не случилось. Сам раненый, остановив на нас помутневший взгляд, успел произнести: "Девчата, помогите!" – и стал медленно оседать. Мы уложили его на носилки и внесли в палатку. При обработке раны, которую делал сам доктор Ляпунов, раненый только стонал, но в сознание не приходил.

– Камфоры! Пульс совсем плохой! – приказал доктор Ляпунов, и его прекрасное юное лицо посуровело и постарело.

После камфоры раненый не пришел в себя, но пульс сделался ровнее и сильнее.

– Его надо срочно эвакуировать, иначе он умрет у нас, – сказал доктор упавшим голосом, ибо всем было ясно, что никакого транспорта нет и в помине. Мы стояли вокруг носилок, опустив головы. Мы не привыкли, чтобы за короткое время пребывания у нас раненые умирали. И если это случалось, все тяжело переживали. И вот тогда выявились скрытые, но великие способности санитарки Варьки. Варька была грудастая широкоплечая дивчина, веселая и добродушная, которая всегда находилась не в санроте, а в землянке кого-нибудь из командиров. Но и бойцами не брезговала. Сам комиссар полка вызвал ее и сделал строгое предупреждение, но потом, смягчившись, посоветовал:

– Ну уж если ты не можешь без этого, хоть позвала бы своего парня к себе, а не шлялась бы по чужим землянкам.

На что Варька, не стесняясь, ответила:

– Если я всех своих парней стану приглашать, очередь будет стоять от санроты до КП (командного пункта).

Комиссар только руками развел, а Варька вернулась с победой. Но не об этих способностях идет речь. У Варьки был и другой талант – она умела художественно материться. Мы посмеивались, но не придавали этому должного значения. И вот эта самая Варька, которая не отличалась большим рвением в уходе за ранеными, но любила выполнять тяжелые работы вместе с санитарами, подошла к доктору Ляпунову:

– Ты не вешай голову, доктор (это обращение к вышестоящему, конечно, не соответствовало уставу, но Варьке многое сходило с рук), я найду транспорт. А вы, девушки, вынесите носилки на дорогу.

Что подразумевалось под словом "дорога" в лесах, покрытых снегом, весенними лужами и осенней грязью, о том речь впереди.

Мы вынесли носилки на дорогу, и доктор велел Нинке сопровождать раненого, если действительно найдется транспорт, на что было мало надежды. Может быть, удивленный читатель спросит: почему не вызвали амбуланс? Наивный вопрос. Такого средства передвижения до конца 43-го года не существовало.

Итак, носилки лежали на крепкой, усыпанной сеном и конским пометом дороге. А нам Варька велела сойти с дороги и встать за деревьями. Через несколько тягостных минут из-за поворота показалась пустая полуторка. Видно, шофер отвез боеприпасы на передовую и налегке возвращался в тыл. Он немного затормозил на повороте и только собрался развить скорость, как обнаружил посреди дороги монумент. Варька стояла, широко расставив и прочно уперев сильные ноги в землю. Разведенные в стороны, как крылья огромной птицы, руки заняли почти всю ширину дороги. А могучие груди были нацелены, как две пушки, на машину. Шофер

невольно затормозил, и тут из Варькиных уст полился непрерывный поток ругательств, так что сперва шофер открыл рот от изумления, а потом – в блаженной улыбке. По-моему, шоферы всех стран и народов большие мастера ругаться, а советские – прошли высший курс. Но Варька их перещеголяла. Ее ругань продолжалась не менее двух минут. А когда шофер пришел в себя, носилки с раненым уже были в кузове, а около них на старой шине восседала Нинка, угрожающе сдвинув черные густые брови. Шофер только ахнул и руками развел, а Варька молодецки подмигнула и сказала:

– Отвези-ка его в госпиталь, а на обратном пути – заезжай. Не прогадаешь.

Мы все, как и сам шофер, знали, что на обратном пути, то есть с боеприпасами на передовую, он нигде не останавливается, но Варька его совершенно очаровала. С тех пор она была освобождена от ухода за ранеными и больными, и ее прямой задачей стало добывать транспорт. Скоро Варька сделалась популярной личностью у полковых шоферов. Возвращаясь с передовой, они нарочно замедляли ход, предвкушая удовольствие видеть Варькину монументальную фигуру и слышать ее художественную ругань, которая начиналась классически, то есть упоминанием души и матери, но далее появлялись такие неожиданные повороты и загибы, что даже видавшие виды шоферы диву давались.

А вот еще один случай. Мы вышли из санитарной палатки и отправились с поручением комроты в КП. Мы – это я и Марта. Не та Марта, о которой речь шла раньше (та уже давно была занята совсем другими обязанностями), – эта Марта была очень крепкая, работящая, простая латышская девушка.

Примерно в трехстах метрах от нашего расположения мы наткнулись на солдатика: он сидел задумавшись у небольшого костра. В этом не было ничего примечательного. Сотни солдат сидели у костров, пили чай, варили кашу или просто отдыхали, глядя в огонь. Мы пошли дальше. Возвращаясь через два часа, увидели того же солдатика в той же задумчивой позе. Это было странно: был сильный мороз, снег скри-

пел под ногами; не может быть, чтобы человек в такой мороз, сидя на снегу, даже не пошевелился. Когда мы приблизились, запах паленого мяса ударил нам в нос, а перед глазами возникла страшная картина: человек горел заживо. Какие-то мычащие звуки, даже не похожие на человеческий стон, свидетельствовали о том, что он еще жив, но ноги и часть бедра обуглились до кости.

– Я принесу носилки, – крикнула Марта на бегу, и я видела, как ее вырвало, но она почти не замедлила бега. Мы внесли его в санитарную палатку, и даже наши врачи побледнели. Ему делали уколы кофеина и камфоры, промывали рану соляным раствором, которого было очень мало, так как инфузий у нас не делали. Но все было бесполезно. Бедный солдатик скончался, не приходя в себя, у нас на глазах через какие-нибудь полчаса. Санитары вынесли его тщедушное тело, а мы – девушки-санинструкторы, фельдшера и врачи – остались в палатке, подавленные чувством бессилия.

Фельдшеров в санроте было мало. Это были люди, кончившие трехгодичные фельдшерские курсы. Курсы отличались от школ госпитальных сестер программой. Фельдшерская программа не предусматривала обучения госпитальному уходу, но давала гораздо больше самостоятельности, ибо фельдшера в деревне замещали врачей. По званию они были младшими лейтенантами, то есть все-таки офицерами, с хромовыми сапогами, хорошей форменной одеждой и командирским пайком. Как правило, их посылали командирами санвзводов – батальонных пунктов первой помощи. Наши санротные фельдшера были более пожилые и более опытные. Одним из них был фельдшер Танаев, которого за его возраст (много за сорок), добродушие и умение делать всякую работу прозвали "батя Танаев". Он не гнушался помогать повозочным около лошадей – все это со знанием дела, рубил дрова и растапливал печи. Батя Танаев никогда не отдавал приказаний, как это любили делать новоиспеченные младшие лейтенанты всех родов войск. Он обращался к повозочным домашним голосом: "А ну-ка, милый, запряги лошадь". И "милый" шел запрягать без прекословия, с трудом пере-

двигая отекшие усталые ноги. Иногда, во время ночных дежурств, когда в палатке или в землянке было тихо и мы сидели у раскаленной печурки, батя Танаев рассказывал о жизни в колхозе. Говорил о всех тяготах и трудностях этой жизни, как говорят о ветре, дожде, грязи или снежной буре.

– Вот, например, приезжает в колхоз новый председатель...

– А где же – старый? – прерываю я его обстоятельный рассказ.

– Старый? – удивляется он неуместному вопросу. – Спился, конечно. Вот и отозвали.

– Как – спился? На нем же ответственность за весь колхоз! Какое же право он имеет спиваться?! – возмущаюсь я.

– Эх, Манькова, вроде и не дура ты, а в нашей жизни ничего не смыслишь.

И батя Танаев начинает развертывать передо мной картину колхозной жизни, при которой председателю, если он честный человек, нельзя не спиться, потому что выполнить присланный свыше план нет никакой возможности. Если же он человек "немного вороватый", он все равно попадется, потому что начальство, с которым он успел "сработаться", то есть умаслить кое-где кое-чем, меняется. И чтобы доказать, как чисто метет "новая метла", новый начальник тут же начинает обличать незадачливого председателя.

– Ну а как же колхозники, почему они молчат? – продолжаю я негодовать.

Батя Танаев смотрит серыми добрыми глазами, сощуренными под белесыми ресницами, и говорит:

– Каждому жить охота.

Я не понимаю, что кроется за этими словами, но уже больше не спрашиваю.

Батя Танаев знал русскую природу как свои пять пальцев и в лесу был как у себя дома. Он объяснил мне многое, чего я раньше не знала. В один из нескончаемых походов через болотистые леса вокруг Старой Руссы батя Танаев указал на куст с небольшими твердыми листочками, унизанный темно-синими ягодами с белой дымкой, и спросил, знаю ли

я, что это такое. Я не знала, так как в Латвии таких кустов не было.

– Эта ягода называется ганноболь, или пьяная ягода. Попробуй.

Ягода оказалась хороша, но со странным привкусом.

– Много есть нельзя, от нее пьянеют, а иногда и сознание теряют, – сказал он, когда я стала ощипывать ганнобольный куст.

Тут я вспомнила, как мои подруги в колхозе объелись беленой, и рассказала бате Танаеву.

– Белена – это, наверное, белладонна, – объявила я голосом специалиста, ибо знала наизусть названия всех лекарств, упомянутых в учебнике для фельдшеров.

– Ну нет, – возразил наш фельдшер, – белена – по-латыни Hiosciamus называется. И в ней скополомин имеется, который употребляют в психиатрических больницах. А если ее много съесть, на человека находит пьяный дурман.

"Вот тебе и крестьянский колхозный фельдшер. Поумней тебя будет", – подумала я.

Я спросила молодых врачей советского производства, что такое белена, но они даже не знали выражения "белены объелся". Конечно, никто из них не жил в деревне и белены никогда не видел. А вот батя Танаев знал!

* * *

В 42-м году у нас уже был полный штат врачей. Прибыл новый старший врач по фамилии Б., еврей, но выглядевший как молодой испанский гранд, во всяком случае, в моем представлении: красивый, с большими мечтательными глазами, острой бородкой, худощавый и стройный. Но было в нем что-то неопределенное, женственное немного.

Это проявлялось в его нежелании или неумении действовать решительно и в его попытках быть остроумным, которые тоже были как-то неопределенны. Девушкам он не особенно нравился, несмотря на впечатляющую внешность. Как и прежний старший врач, тот, что попал в штрафную роту, он

не отличался стратегическими способностями и, следовательно, большую часть времени проводил в санроте, а не на совещаниях комсостава. Кроме того, он был хирург по специальности и любил свое дело. Он достал инструменты для малой хирургии, которая нам по штату не была положена, и занимался мелкими операциями.

Доктор С., командир роты, имея под своим начальством полный штат, не отличался командирскими способностями, то есть не требовал субординации и никому не приказывал. Но после почти двух лет войны каждый знал свое дело и место, и давать лишние приказы значило мешать работе. Это понимали все, от главврача до последнего санитара. И когда политруки требовали, чтобы пожилые больные и усталые санитары стояли по стойке "смирно" перед нашими командирами, это всем казалось нелепостью. Санрота и даже весь полк были для нас домом.

Я любила петь. Не обязательно под аккомпанемент, а просто сидеть с девушками и петь. Я любила петь, а доктор Л., тот бледный худощавый врач, жену которого звали Эсфирь, любил слушать мое пение. На этой почве у нас возникла дружба. Мы часто были вместе в походах и на стоянках, в деревнях, где в холодную грязную избу набиралось до 20 – 30, а то и 40 человек. Он освобождал мне место около себя и часто рассказывал о своей жизни. Все знали, что мы дружим, и были убеждены, что я живу с ним, как другие девушки, у которых были постоянные друзья. Но доктор Л. не делал никаких поползновений к физической близости. Как-то мы остановились в деревне, на берегу речушки, которая все-таки была гораздо шире Иордана. Был конец апреля. В воздухе носились запахи талого снега и весны. Земля была пропитана влагой, но под вечер лужи покрывались легким ледком, потрескивающим под ногами. Было тепло и ветрено. Доктор Л. позвал меня погулять, и мы вышли на берег речки. Лед посинел, и сквозь его тонкий слой было видно, как течет вода. Мы сидели на широком камне, прижавшись друг к другу, и молчали, глядя на месяц, обливающий все вокруг изменчивым светом из-за мчащихся туч. Вдруг он сказал:

– Спой мне что-нибудь, *клайне* (то есть опять-таки "малышка", но не по-латышски, а на идише).

Я пела фронтовые песни: "Землянка", "Споемте, друзья" и другие. Это были наивные песни с грустными мотивами. И нынешней молодежи они, наверное, покажутся скучными. Но для нас на фронте они были самой жизнью. Так мы сидели, крепко обнявшись, и я ему пела. И вдруг раздался треск. Это тронулся лед. Мы стояли, очарованные, и смотрели, как льдины, как какие-то фантастические создания, налезали друг на друга с шумом, а под ними радостно струилась освобожденная вода, порой тусклая, порой искрящаяся при неверном лунном свете. Мы крепко поцеловались. "Пора вернуться, клайне!" И мы вернулись. Может быть, если бы он предложил мне остаться, я бы осталась, но он не предложил.

Мы приблизились к нашему расположению, и солдат, стоявший на часах, проводил нас двусмысленной улыбкой.

Конечно, тем, кто вырос на современной литературе, где автор считает священным долгом со смаком описывать все подробности половых отношений, мой рассказ покажется бледным. Но это дело читателя.

После этого вечера я влюбилась, и каждая встреча была для меня настоящим праздником.

Когда мы стояли на переформировке, к нам приезжал военторг, где нельзя было достать ничего кроме душистого мыла и самого дешевого одеколона, который, как правило, расхватывали лейтенанты. Кроме того, были нитки, иголки и сапожная мазь. Эти предметы ширпотреба имелись в изобилии. На этот раз в военторге оказались вязаные женские кофточки ядовито-розового цвета. На них не нашлось охотников в лейтенантском сословии, и девушки могли сделать покупку. Было только два размера, но мы все защеголяли в этих ярко-розовых кофточках.

Как-то недалеко от КП я наткнулась на комиссара Б. Я вытянулась и отдала честь, как полагается, но комиссар не отдал ответного приветствия, а, холодно продолжая меня оглядывать, обратился с непонятным вопросом:

– Вы кто такая будете?

Я растерялась, но ответила по форме:

– Санинструктор 125-го полка гвардейской латышской дивизии!

– В советской дивизии бойцы и командиры должны быть одеты по форме, а на вас какая-то розовая тряпка.

Вот в чем дело! Что ж, не смолчу! И я ответила:

– Разрешите обратиться! Это не розовая тряпка, а кофточка, купленная в советском военторге, и если она по форме не положена, почему же ее продают?

В это время из ближайшей избы вышла Марта, вымытая, сияющая, в такой же ядовито-розовой кофточке, с розовой лентой в волосах (и где она ее достала?).

– Вот и санинструктор Марта Л. ходит в такой же кофточке, которая не положена по форме, – указала я на нее, смотря прямо в глаза моему недоброжелателю.

Но он нашелся:

– Она находится около КП, то есть у себя дома, а вы?

– А я везде в полку у себя дома. Разрешите удалиться? – и, не дожидаясь разрешения, повернулась и пошла, стараясь идти прямо, не оглядываясь. Но все-таки оглянулась.

Комиссар глядел мне вслед, и его взгляд не обещал ничего хорошего.

Когда я все это рассказала доктору Л., его бледное худощавое лицо еще больше побледнело, и он спросил испуганно, полушепотом, хотя вокруг никого не было, слышала ли я о процессах 30-х годов. Я ответила, что слышала, но очень туманно. Он зажал мне рот и произнес умоляюще:

– Клайне, придержи язык. Я не хочу, чтобы ты вдруг пропала без вести!

Больше он на эту тему не говорил.

Однажды после одного из уроков по медицине, которые мне давал доктор Ляпунов (как я уже заметила, он не был евреем и потому говорил со мной более откровенно), он с негодованием рассказывал мне о процессе врачей*и был уве-

* Имеются в виду врачи, лечившие Горького и уничтоженные и загнанные в лагеря как его "отравители".

рен, что враги ввели товарища Сталина в заблуждение. Я была готова поверить. Ведь я находилась в Советской армии, на кровопролитных фронтах борьбы против Гитлера, и Сталин был наш вождь, но испуганное лицо доктора Л. и его умоляющий голос предостерегали от излишней доверчивости.

Доктор Ляпунов проэкзаменовал меня дома, то есть в санроте; по его мнению, я отлично усвоила весь курс фельдшерской науки.

– Мы поедем с вами (этот милый человек обращался ко всем на "вы") в медсанбат, и пусть начальник медслужбы дивизии вас проэкзаменует. Я уверен, вы получите фельдшерскую должность и звание младшего лейтенанта.

Мы отправились к начальнику медслужбы майору Памне, полнощекому, тяжеловесному и флегматичному латышу. Я ответила на все вопросы, ни разу не запнувшись. При нем была его фронтовая ППЖ, бывшая госпитальная сестра А. со строгим лицом и холодными глазами. Она ничего не спрашивала, но ее враждебный взгляд сверлил меня сквозь круглые очки. При виде ее я сразу почувствовала, что никакого повышения не получу. Потому что, хотя начальником медицинской службы был майор Памне, но над ним начальствовала эта пунктуальная госпитальная сестра, невзлюбившая меня еще в Гороховецких лагерях.

Конечно, никакого повышения я не получила, к негодованию моего преданного учителя и к моему большому огорчению.

Настоящей причины отказа я так и не узнала. Может быть, потому что я была еврейкой, и к тому же – гордящейся своим еврейством; может быть, тут сказалось влияние властной подруги майора; а может быть, был послан неблагоприятный отзыв из политчасти; скорее всего, сыграли роль все факторы, и я так и осталась старшиной медслужбы.

Доктора Ляпунова вскоре перевели в медсанбат, где он нашел подругу, милую, спокойную, красивую латышскую девушку. Я получала от него приветы и коротенькие письма, в которых он просил меня продолжать учиться и заниматься медициной после войны. После войны! Мы даже и не думали

о времени, когда кончится война. Это было в туманном и далеком будущем.

Однажды Нина вернулась в полк после отправки раненых в медсанбат со странной и печальной новостью: доктор Ляпунов пропал без вести. Непонятно и даже страшно: как молодой, здоровый человек может пропасть без вести в медсанбате, который всегда находился в дивизионном тылу, километрах в десяти, а то и пятнадцати от линии фронта? Я поделилась своим недоумением с доктором Л., ведь они прибыли вместе. Я думала, что они были товарищами.

– Знаешь, – сказал он, – мне кажется, что он принимал кокаин. И может, где-то отстал в бессознательном состоянии.

– Не может быть! – воскликнула я с негодованием.

– Ах, что ты, дурочка, понимаешь. Знаешь ли ты, что многие врачи употребляют также морфий или опий?

– Почему? – удивилась я.

– Почему, почему... – рассердился доктор Л., – стану я тебе все объяснять, если ты в нашей жизни ничего не понимаешь.

Уже не в первый раз мне говорили, что я в советской жизни ничего не понимаю. Я была уверена, что доктор Ляпунов каким-то образом попал в плен к немцам и, наверное, не остался в живых.

Тогда я не знала, что многие в Советском Союзе в самое мирное время и не у врага также исчезали без вести совершенно неожиданно.

* * *

Как я уже упоминала, мы кружили вокруг Старой Руссы, наступая и отступая с большими потерями. В одном из боев был ранен командир полка Ю. В последние месяцы наши дружеские отношения испортились из-за одного случая. Однажды после какого-то фильма, который нам показывали в деревне, где полк остановился на переформировку, полковник догнал меня и попросил разрешения меня сопровождать. Это было большой честью, и я тут же согла-

силась, представив себе, как девчонки позавидуют, когда увидят, кто провожает меня до санроты. Но вышло иначе. Мы шли по узкой тропинке, я немного впереди, а он позади. Была темная ночь. Он вдруг замолчал посреди фразы, крепкие руки обняли меня и повалили на землю. Я страшно рассердилась: такой милый, вежливый, интеллигентный человек, и вдруг хуже самого грубого солдата! Я вырывалась и кричала ему всякие обидные слова, не помню, какие. Он отпустил меня так же внезапно, как раньше обнял, и произнес с грустью:

– Что ж, прости, Манькова. Наверное, я стар для тебя. Тебе надо кого-нибудь помоложе.

Он стоял, опустив голову, и мне стало жаль его.

– Нет, дело не в возрасте. А мне нужен такой, который хоть немного меня бы любил.

– Что ж, как говорится, дай тебе Бог. Я от всей души желаю тебе счастья.

Он вежливо, но гораздо холоднее предложил проводить меня, но мне расхотелось хвастаться тем, что сам командир полка меня провожает.

– Спасибо, товарищ полковник, я сама дойду, – и я быстро пошла прочь.

Полковник не догонял меня. Когда я отошла на некоторое расстояние, месяц вышел из-за туч и осветил лес. Полковник шагал по тропинке, опустив голову. Он, действительно, шел походкой немолодого человека.

Но вот в одном из бесцельных кровопролитных боев он был тяжело ранен, и его привезли в санроту с посеревшим лицом и синими губами, сжатыми от боли в прямую линию. Врачи бросились к нему, но он слабо повел рукой и, с трудом разжав губы, прошептал:

– Позовите Манькову, пусть она перевяжет.

Я, конечно, призвала на помощь все знание и умение и под руководством Айны перевязала раны и наложила шину наилучшим образом.

– Возвращайтесь, товарищ полковник, поскорее, – сказала я, погладив его седеющие виски, – без вас полк не тот.

– Прости, Манькова, и давай поцелуемся на прощание, – произнес он слабеющим голосом.

Мы поцеловались, то есть он дотронулся бледными холодными губами до моих губ, и я сказала:

– Я не прощаюсь с вами, товарищ полковник. Вы обязательно вернетесь к нам.

Слабое пожатие руки было его ответом. Я шла за носилками. Его уложили в сани, тепло укрыли одеялами и полушубком и в сопровождении одного из врачей отправили в госпиталь.

Доктора Л. внезапно перевели старшим врачом в артиллерийский полк, присоединенный к нашей дивизии. Конечно, я знала, что на войне внезапность – одна из закономерностей жизни, но все-таки... Перед уходом он сказал:

– Клайне, я не прощаюсь с тобой. Наоборот, у меня будет больше возможностей послать за тобой лошадь.

Мне очень хотелось верить его словам. Месяца за два до его ухода прибыла новая санитарка, деревенская латышка, сильная и грубая женщина лет под сорок. Она умела ездить верхом, быстро и ловко управлялась с мойкой полов и стиркой белья. К девушкам она относилась с презрением здоровой крестьянки к горожанкам. Ну а об отношении к еврейкам и говорить нечего. С медициной она ничего общего не имела, потому что была полуграмотна и больных и раненых не терпела. Я никак не могла понять, почему она пошла на фронт, но факт – она была у нас. Я лично ее недолюбливала, но особого внимания на нее не обращала. Доктор Л. сдержал слово и прислал за мной повозочного. Иногда я шла пешком два, три, а то и все пять километров его проведать. Он принимал меня очень дружелюбно и угощал вкусными вещами: оладьями, яичницей, которые готовил его связной (тот, кто в царской армии назывался "денщиком"). Связной полагался старшему врачу по штату. Этот связной был еврейский парень из моего городка Люцина. Я знала его в лицо, у него было странное имя – Перец.

Внешне все продолжалось по-старому. Мы весело болтали. Я рассказывала санротовские новости, и (отдавая долж-

ное себе самой) с большим юмором. Он рассказывал о работе в артполку. Но я чувствовала: что-то не так. Это уже не была беседа о личных переживаниях, полная взаимопонимания и внутренней близости. Это был "салонный" разговор военного времени. И червяк сомнения закрался мне в душу.

Когда я вернулась под вечер, уже распределяли дежурство на ночь. Новой санитарки не оказалось – ее куда-то перевели. Перевели – и очень хорошо. Она совершенно не подходила к санроте, где все понимали друг друга без слов. Я не стала интересоваться, куда ее перевели. Не раз к нам прибывали фельдшера, санитары и даже врачи на короткое время, и их переводили из-за неспособности войти в наш быт. Однажды прибыла фельдшерица, по званию лейтенант, женщина лет за тридцать, по фамилии Юшкова. Она собрала девушек и преподала нам важный урок по медицине, примерно в таком стиле:

– Вы, девушки, если идете с парнем спать, первым делом должны узнать, здоровый он или болен дурной болезнью. Вот, видали, сегодня был тут прыщавый лейтенант. Это у него не простые прыщи, по молодости лет. Это прыщи – от дурной болезни.

Так как мои познания о гонорее и сифилисе были почерпнуты только из фельдшерского учебника, было интересно увидеть признаки этих болезней в жизни. В книгах не было сказано о прыщиках на лице, но военфельдшер оказалась права, прыщавого лейтенанта отправили в тыл. После этого мы прониклись к ней уважением. Свои познания она, как видно, почерпнула на практике, так как, когда надо было прочесть название лекарства по-русски, не говоря уже о рецепте, написанном на латыни, она становилась, по ее собственному выражению, "слаба глазами" и обращалась ко мне с просьбой прочесть. "Ну и дай больному все, что там написано, на то ты и санинструктор". В скором времени "слабость глаз" ее стала предметом шуток всей санроты. К тому же она рьяно пополняла свои практические познания в области, в которой у нее был большой опыт. Ее перевели, и мы не особенно интересовались, куда.

Когда, потеряв около трети состава, мы стали на очередную переформировку в одной из деревень, к нам прислали нового врача, доктора Косинского, он отрекомендовал себя украинцем. Должна признать за собой одно качество – у меня нюх на евреев. Человек мог быть златокудрым и курносым, стройным и широкоплечим, но в манере выражаться, в мимике, жестикуляции я всегда узнавала еврея. Новоприбывший был черноволос, с густыми бровями и выдающимся носом. Я сразу признала в новом "украинце" еврея. Но если человек объявляет себя украинцем и не знает ни слова по-еврейски, тут уж ничего не поделаешь. Я указала Хане взглядом на нового доктора и спросила на идише:

– Как ты думаешь, он действительно украинец?

Она тут же отбарабанила на идише:

– Чтоб он так жил, какой он украинец. И чтоб я так жила, какой он еврей.

На что я сейчас же ответила одним из моих любимых проклятий:

– Дай Бог ему расти, как луковице, – головой в землю.

А она, не задумываясь, добавила:

– Дай Бог ему проглотить зонтик, и чтоб он открылся у него в животе! – И т. д. и т. п.

Разговор этот состоялся за его спиной, когда он сидел, развалясь на широком пне, и спокойно курил папиросу. Около двадцати минут мы истязали нашу жертву. Несчастный доктор бледнел и краснел, но сидел, как парализованный, не двигаясь с места. Только папироса дымилась в застывших пальцах. Когда иссяк запас наших "дружеских пожеланий", мы отошли в сторону и наблюдали за ним. Через пару минут он встал, оглянулся на нас и тяжелой походкой отправился в избу врачей. Мы, две типичные малорослые еврейки, одна – худенькая и востроносая, другая – полная и курносая, торжествовали! Но торжество мое достигло высшей точки на следующий день.

– Манькова, тебя Косинский вызывает! – крикнули мне.

– Это, наверное, за вчерашнее, – сказала Хана.

Что ж, раз вызывает, надо идти. Я одернула гимнастерку

и собрала сзади в складки, застегнула все пуговицы, как полагалось по форме, вошла в землянку и выпалила по уставу:

– По вашему приказанию явилась!

Он сидел, опустив голову, и молчал. Я тоже молчала, стоя навытяжку. Подняв голову, он посмотрел мне прямо в глаза и спросил на разговорном идише:

– Манькова, что вы ко мне имеете?

Это буквально, а смысл сказанного им был таков: "За что вы меня преследуете?"

Я тут же сменила стойку "смирно" на более вольную позицию.

– Доктор, нас в санроте три еврейские девушки и два еврейских врача. Почему же только вы один стесняетесь своего еврейства и скрываете его?

Доктор побагровел; опять я услышала знакомый ответ:

– Что вы понимаете в нашей жизни!

Мои еврейские подружки стояли неподалеку, ожидая моего выхода. Когда я им обо всем сообщила, Хана выразилась кратко, что паскудный еврей хуже гоя, а Ева, ярая комсомолка, сказала, что если он коммунист, он позорит своим поведением партию и Советскую власть. Определение Ханы мне понравилось больше.

Доктор Косинский, хотя и признался в своем еврействе, не простил нашего издевательства над ним. И, будучи в какой-то мере нашим командиром, придирался и давал наряды на дежурства вне очереди. Вскоре я убедилась, что, хоть он и доктор, но в медицине не особенно смыслит. Уровень его врачебных знаний был схож с уровнем фельдшерских знаний военфельдшера Юшковой. На этой почве я наносила довольно чувствительные раны его самолюбию. А он донимал меня придирками и наказаниями. Я посоветовалась с Айной. В ответ она только махнула рукой:

– И охота тебе связываться с дураками. Не дразни его, и он оставит тебя в покое.

– А вот ты бы поработала под его началом и натыкалась бы на каждом шагу на вопиющую безграмотность. Хотела бы я видеть, как ты молчишь!

– Ты, наверное, думаешь, что открыла Америку и кроме тебя никто ничего не видит?

– Ну так почему вы ему ничего не говорите и не стараетесь его перевести?

Милые карие глаза Айны на минуту потеряли свою жизнерадостность и устремились в одну точку.

– Видишь ли, он прислан к нам не из дивизии, а из русской части. К тому же он еврей и член партии. Пойдут разговоры об антисемитизме...

– Но у нас в дивизии полно еврейских врачей, и никто не боится указать им на их проступки или безграмотность!

– Ну как ты не понимаешь! Это же наши, латвийские евреи. И мы понимаем друг друга с полуслова!

На минуту я как бы прозрела и увидела за ежедневной обыденностью боевой жизни какую-то другую, запутанную реальность. Но тут глаза Айны сверкнули знакомым искрящимся весельем, и она расхохоталась. Я уставилась на нее, и она, вытирая слезы, выступившие от смеха, и с трудом сдерживая новый приступ, сказала:

– Ну и поиздевались вы над этим несчастным, вредные девчонки! – И неожиданно, что для нее, между прочим, было очень характерно, заключила: – Пойдем вечером к оружейникам на ужин. Они добыли трофейные консервы и вино, настоящее вино! Мы приглашены!

В оружейной мастерской работали "пожилые", лет тридцати пяти – сорока, латыши, солидные, спокойные, интеллигентные люди. Я их знала, так как мастерская была всегда поблизости, но никогда с ними не разговаривала. Они не были ранены, не болели и к нашим девушкам не приходили, поэтому я удивилась:

– С чего это вдруг меня приглашают?

– Глупенькая, ты идешь со мной. А один раз вкусно поужинать – это тоже кое-что значит!

Это значило очень много, если на завтрак и на ужин были только хлеб, сахар и чай, на обед – пшенка, пока она не кончалась на складе, и на ее место не появлялась картошка или овсянка. Правда, все это было заправлено мясом, но только

в том случае, если кухня успевала за нами. Как правило, при наступлении она отставала, а при отступлении – мчалась, намного нас опережая.

Оружейники приняли нас радушно, беседа велась со сдержанным латышским юмором. На прощание один из них, крупный латыш с седеющими висками и добрыми серыми глазами, сказал мне:

– Приходи к нам, мазайс, чай пить, когда захочется. У нас для тебя всегда что-либо найдется. Мы же тут поблизости.

Я с удовольствием дня через два под вечер забежала к ним попробовать трофейное печенье с чаем. Мы уже вышли из деревни и жили в лесу, в маленьких наскоро срубленных блиндажах. Их домик от нашего отделяло метров двадцать. Когда я возвращалась, очень довольная чаем с трофейным печеньем и общением с милыми людьми, я наткнулась на доктора Косинского. Подозреваю, что он поджидал меня.

– Вы где были, санинструктор Манькова?

– У оружейников, чай пила, – ответила я, не понимая, с чего он вдруг мной так заинтересовался.

– Вы получили разрешение отлучиться из расположения?

– Доктор, что с вами! Вот их домик. И отсюда видно, как они сидят и чай пьют! – воскликнула я, пренебрегая официальным обращением.

– Санинструктор Манькова, во-первых, обращайтесь по уставу к вышестоящему по должности и званию! А во-вторых, идите и доложите командиру роты о вашей отлучке без разрешения.

"Паскудный еврей", – подумала я словами Ханы и, вытянувшись, отрапортовала:

– Есть доложить командиру роты.

Я знала, что ротный командир, доктор С., тихий и незлобивый, даст предупреждение, улыбнется. А когда мы будем наедине, так же как Айна, посоветует с "дураками не связываться".

У командира я нашла в сборе всех врачей. А когда за мной, предвкушая победу, вошел Косинский, ротный обратился к нему с необычным раздражением:

– Где вы пропадаете, доктор? Я посылал за вами связного, но он вас не нашел. Получен приказ выступать через два часа. Дивизия идет в наступление.

Меня душил смех, но я придала лицу самое официальное выражение, хотя это стоило больших усилий, и браво выпалила:

– Товарищ командир роты, разрешите обратиться!

Доктор С., который видел меня насквозь, тут же уловил в сверхофициальном обращении подвох и отмахнулся:

– Ладно, Манькова. Сейчас не до вас с вашими шуточками. Лучше идите помогать упаковывать все нужное для перевязочных пунктов.

Я бросила победоносный взгляд на доктора Косинского. Но, Боже! Что с ним сделалось?! Его лицо, такое напряженное несколько минут назад, осунулось, глаза широко раскрыты и застыли на какой-то точке. Это лицо так явно выражало страх, что мне стало не по себе, и я отвернулась.

Когда я поделилась с Айной впечатлениями о докторе Косинском, она среагировала совершенно неожиданно, ибо я была уверена, что она разгневается и назовет его трусом и негодяем.

– Видишь ли, может, он впервые участвует в наступлении, – ответила Айна.

– Ну так что же, ведь ты тоже шла когда-то в первый раз. И все остальные девчонки, и я ни разу не видела ни у кого на лице такого отвратительного выражения страха.

– Мы – другое дело. Известно, что наша санрота самая храбрая в дивизии и наши девчонки – самые милые и хорошенькие, – ответила Айна, улыбаясь.

Я знала, что она гордилась нами, а мы еще больше гордились ею и любили ее.

Потом глаза ее сделались глубокими и серьезными:

– Знаешь, Этька, есть разные люди, и у каждого свои слабости, а у мужчин – в особенности. Ты же относишься к людям слишком требовательно!

Был дан приказ о наступлении, и закипела работа. Запаковали все в ящики: перевязочный материал отдельно, шпри-

цы, иголки и стерилизатор в особый ящик, чтобы шприцы не разбились (они были стеклянные и в небольшом количестве). Медикаменты первой помощи – тоже в отдельный ящик.

В полночь мы выступили. Шли всю ночь. К утру полк остановился в лесу на привал. Подъехали кухни. Старшина выдавал хлеб и сахар (водку получали только вблизи от передовой). Напившись сладкого чаю и дав отдых натруженным ногам, мы повеселели и огляделись кругом. Все врачи были в сборе, пили чай, шутили. Только Косинский отсутствовал.

– Где же он? – спрашивала я у всех.

Старший врач доктор Б. ядовито улыбнулся:

– Доктор болен редкой болезнью, чесоткой на нервной почве.

Мы, Ева, Хана и я, прыснули, и я сказала вполголоса:

– Вот уж никогда не думала, что у трусости есть такое длинное медицинское название!

Врачи отвернулись, скрывая улыбку. Только Айна бросила неодобрительный взгляд. А на следующий день доктора Косинского отправили в тыл.

Так появлялись и исчезали случайные люди.

* * *

Была глубокая осень. Моросил мелкий непрекращающийся дождь. И мягкая, усыпанная пожелтевшими листьями земля превратилась в сплошную грязь, в которой застревали ноги, и каждый шаг давался с трудом. Пушки увязали по оси колес, и вся длинная, усталая, насквозь промокшая колонна останавливалась. Спавшие на ходу натыкались на остановившихся, просыпались, чтобы окинуть бессмысленным взглядом темно-серое небо, мокрые шинели солдат и лоснящиеся от дождя спины измученных лошадей, и тут же снова засыпали под град ругательств и проклятий повозочных артиллеристов, вытягивающих изо всех сил застрявшие пушки. Было очень тяжело. Холодная грязь просачивалась через обмотки в ботинки, и ноги мерзли сильнее, чем зимой. У каж-

дой из нас был вещевой мешок, а через плечо – санинструкторская сумка и противогаз.

Мы продвигались очень медленно, мокрые и голодные, потеряв чувство времени, не способные думать ни о чем, кроме отдыха. Бойцы начали отставать, иные валились с ног и падали в обочины. Комиссар и полковой парторг дважды проезжали верхом на лошадях мимо плетущихся из последних сил, навьюченных личным оружием, вещмешками, связными катушками, смертельно усталых бойцов, обдавая их брызгами грязи из-под лошадиных копыт, призывая не отставать. После их объезда по цепи последовал приказ: "Командира санроты – к командиру полка!" И наш добрый, скромный доктор С. бегом, насколько позволяла жидкая грязь, поспешил к командиру полка. Он вернулся с приказом санинструкторам и санитарам следовать за полком и подбирать отставших.

Мы шли парами. Со мной была Олечка, та самая, которая во время обстрела поила раненых сладким чаем, тогда как приехавшие корреспонденты залегли под нарами. Мы пропустили всех шагавших или, вернее, тащившихся в строю. В отдалении с трудом ковылял молоденький солдат последнего набора. Винтовка сползла с плеча, вещмешок болтался на спине на одном ремне, и все его худенькое веснушчатое лицо выражало тупую безнадежность.

– Эй, ты, миленький, чего скучный такой? – окликнула его Олечка, которая сама была ненамного старше его, и ее белые зубы сверкнули в улыбке.

– Да вот, ноги... – и он указал на свои хромающие ноги в необыкновенно больших ботинках.

Было велено подгонять отставших, не вдаваясь в причины отставания. Но мы с Олечкой переглянулись и поняли друг друга без слов.

– Садись! – приказала я ему, указывая на мокрый пенек. – И снимай ботинки.

Он не сопротивлялся, только уныло посмотрел вслед удаляющемуся строю за серой пеленой дождя. Когда он снял ботинки, мы увидели, что ноги стерты в кровь и к ранам

приклеились заскорузлые портянки. Как ни старались мы осторожно снять портянки, это не удалось, пришлось отодрать их рывком. Солдатик вскрикнул, потекла свежая кровь. Мы наложили на раны стерильную марлю, пропитанную вазелином. Эта марля употреблялась только при ожогах, потому что ее было очень мало, но мы с Олечкой об этом не думали. После перевязки перед нами встал трудный вопрос: как он навернет портянки, которые, потеряв качества, свойственные куску байки, и изменив совершенно своей сущности, приобрели цвет и свойства неизвестного металла. Солдатик вертел в руках эти затвердевшие от крови темно-бурые куски и не знал, что с ними делать. Я порылась в вещевом мешке, но, конечно, запасных портянок там не оказалось. (У меня всегда не хватало чего-нибудь, полагающегося по уставу.) Пока я искала, у Олечки в руках засияли совершенно новые, неношеные портянки из теплой пушистой байки.

– Бери и обувайся быстрее, нам догонять надо! – И Олечка протянула ему бесценный подарок. Да, бесценный! Кто был тогда в Советской армии, тот поймет, а кто не был – тому не втолковать.

– Ну, девушка!.. – только и вымолвил солдатик, и лицо его расцвело в благодарной улыбке.

– Ладно, ладно, потарапливайся! – произнесла Олечка неестественным басом, стараясь казаться суровой и "закаленной", но это так не вязалось с ее лукавым женственным личиком, что я не удержалась от смеха. На мой вопрос, что будет, если она промочит ноги, она беззаботно ответила:

– Подумаешь, Мишка мне даст свои. Ведь он – полковой комсорг, он всегда достанет!

Мишка был другом Олечки уже больше года. Это был сильный и простой парень без начальственных замашек.

Солдатик с трудом встал на забинтованные ноги. Судя по выражению лица, ему было очень больно. Мы сняли с него винтовку и вещмешок, чтобы облегчить ему ходьбу. Я хотела взять винтовку, но Олечка расхохоталась:

– Где тебе, Манькова! Она же у тебя по земле тащится! Бери лучше вещмешок.

– А ты ненамного выше меня, – обиделась я.

– Не намного, да выше! – смеялась Олечка, забирая винтовку. Даже солдатик улыбнулся. Мы отправились вслед за полком. С серого неба моросил не то дождь, не то туман. Грязь чавкала под ногами. Мы трое делились сухарями, то и дело смеялись, приближаясь к строю.

По дороге догнали Лидочку, сопровождавшую такого же незадачливого, как и наш, солдатика. Лидочка прибыла на фронт с Олечкой, такая же молоденькая, наивная и хорошенькая, со свежим розовым личиком и вздернутым носиком. Она очень скоро сделалась "сознательной комсомолкой", в отличие от нас, которые были "просто комсомолки". Она усвоила все лозунги и употребляла их при первой возможности. Вот и сейчас она шла и втолковывала до смерти уставшему мальчику (тоже из последнего набора):

– Ты же комсомолец, где твоя сознательность? Ты должен пример показывать и преодолевать все трудности, а сам плетешься в хвосте!

– Ты бы хоть взяла у него винтовку или вещмешок – он и пошел бы веселее, – заметила Олечка, проходя мимо.

– Боец не имеет права расставаться с личным оружием. А он позорит звание комсомольца, если плетется в хвосте! – как по-писаному провозгласила Лидочка. Олечка промолчала, растерявшись от сознательности своей бывшей подруги. Именно "бывшей", потому что Олечка хоть и была подругой полкового комсорга, но не изменилась. Лидочка же быстро продвигалась по комсомольской линии и даже метила в кандидаты партии. Она уже свысока смотрела на "беспартийных", и ее начинали побаиваться.

На одном из последних больших привалов я узнала из разговора врачей, что артполк находится поблизости, и это верный признак того, что мы прибываем в район наступления. Артполк рядом! Может быть, в двух-трех километрах! Мне сделалось тепло и весело, и черная грязь, чавкающая под ногами, не казалась такой тяжелой и тоскливой – она даже поблескивала на осеннем солнце! Скоро я увижу доктора Л.! Но на войне нельзя строить планы и на самое бли-

жайшее будущее. Было начало октября. Под вечер подморозило, а ночью пошел снег. В полночь нас всех подняли. Дивизия шла в наступление. Санрота расположилась приблизительно в 800 – 900 метрах от линии боя. Это было нашим обычным местом во время наступления. К утру в большой санитарной палатке все было готово для принятия раненых. Мы успели с часок подремать, когда началась артподготовка. Немцы отвечали, но до нас снаряды не долетали, и мы спокойно сидели, не реагируя на адский привычный грохот, пили чай и доедали чем-то намазанные ломти хлеба. Кухня, как я уже заметила, при наступлении всегда оказывалась позади, но старшина, или, как латышки выговаривали, ста́ршина (с ударением на первом слоге), со своими продуктами был с нами. А санитары, те, которым доктор С. как-то скомандовал: "Слепо-глухо-геморроидная команда, стройся! Шагом марш!", – хоть и ковыляли с трудом, но неизменно топили печурки, растапливали на них в ведрах снег и кипятили чай. Начали прибывать раненые. Сперва поодиночке, парами, а потом один за другим. К обеденному часу у нас было около 80 раненых. И хотя мы уже ко всему привыкли, но на этот раз было тяжело. Машины не возвращались с передовой, как видно, боеприпасы там еще не кончались. Все повозочные были давно отправлены с ранеными, а новые все прибывали и прибывали. Нары в палатке были забиты до отказа, и легкораненых мы усаживали или укладывали на носилках или на снегу, на подстилке из сосновых веток. Октябрьские дни короткие. Скоро начнет смеркаться и наступление прекратится, но у нас набралось около 200 раненых, стонущих, кричащих, хрипящих, и самое страшное – молчащих. Мы перевязывали, останавливали кровь, накладывали жгуты, шины, делали противостолбнячные и противогангренозные уколы. На раскаленной печурке стоял стерилизатор, и в нем все время кипятились шприцы. Большинство уколов приходилось на мою долю. Не потому, что я была самая ловкая. Дело в том, что у всех солдат был патологический страх перед уколами и надо было каким-то образом убедить их согласиться на укол. Некоторые старались убежать и срывали

повязки, некоторые ругались и даже пытались драться, а некоторые умоляли: "Ну что тебе стоит, сестричка, записать, что сделала!.. И все тут!" Латышкам было трудно с ними объясняться из-за плохого знания русского языка: наша "латышская дивизия" давно перестала оправдывать свое название, так как все время пополнялась русскими, украинцами, узбеками и казахами. Я уговаривала раненых как могла, но не всегда удавалось убедить их. И тогда приходилось звать на помощь санитаров, чтобы они их держали, пока мы кололи.

И вот однажды я изобрела безотказно срабатывающее средство. Один из легкораненых буянил и грозил "набить морду" каждому, кто приблизится со шприцем. (С тяжелоранеными было проще: у них не было сил протестовать.) Девушки отступили. Кто-то пошел искать санитара, который вышел. Врачи были заняты более важными делами: останавливали кровотечение, исследовали сердце и т. д. И вот меня осенило: я схватила клочок бумаги и написала: "Я, боец такой-то, не согласен на укол противогангренозной и противостолбнячной сыворотки".

– Тебя как звать? – обратилась я к буяну.

– Иван Еремеев.

– А по батюшке?

– По батюшке – Николаевич, – с готовностью ответил он.

– Вот что, Еремеев, если я тебе укола не сделаю, я под суд пойду. Так вот, подпиши, что не соглашаешься на укол, чтобы была оправдательная запись, – я повертела у него перед носом клочком бумаги. Солдат, опешив, уставился на меня. И куда делись буйство и ругань?!

– Не стану подписывать, – угрюмо произнес он, и на его лице появились недоверие и страх.

– Ну а я за тебя сидеть на собираюсь! Давай, подписывай! – грозно подступилась я. При моей внешности это, наверное, выглядело смешно, потому что девушки отвернулись, пряча улыбку.

– Ладно, давай, коли уж, – хмуро пробурчал солдат.

Страх перед подписанием документа победил страх перед

уколом. С тех пор перед наступлением я заготавливала несколько "документов", и они действовали безотказно.

Смеркалось. Наступление выдохлось. Раненые прибывали реже. Наконец, их поток иссяк. Старшина превзошел себя и неизвестно где и каким образом достал колбасу. Мы стали кормить раненых и поить их горячим сладким чаем. А потом и сами, усевшись на пнях и стульях, принялись за еду. Впервые за этот тяжелый день мы позволили себе отдохнуть. Я посмотрела на девушек: молодые, цветущие лица сейчас были бледными, усталыми, и сумерки придавали им какой-то зеленоватый оттенок. Плечи у всех были вяло опущены, на ватниках – пятна крови, волосы – спутаны. Только руки чистые, до красноты оттертые снегом. Но я думала не о том, как мы выглядели, а о том, как будем транспортировать раненых. В это время пришел парторг полка капитан Болотников. Наступление закончилось, и он мог без боязни появиться у нас. Он вообще заглядывал часто, но девушки его не жаловали за лощеный вид и вкрадчивую речь. Даже сейчас он был в чистой, ладно сидящей шинели со скрипящими новыми ремнями портупеи. Сапоги начищены до блеска (конечно, не им, а связным). Вокруг шеи сиял белоснежный подворотничок.

"Господи, – подумала я, – хоть бы для вида загрязнился немного, как будто и он участвовал в наступлении и вернулся с передовой. Ведь тут – раненые".

Мы не встали при его приходе и не отрапортовали, а устало продолжали жевать наш хлеб и прихлебывать чай. Он осмотрел всех с явной гадливостью.

– Девушки! – с укоризной воскликнул он. – Советские девушки, как вы можете есть и пить, когда вокруг стонут и мучаются раненые? – конец фразы был совсем патетическим. Латышки переговаривались между собой, искоса бросая на него неприязненные взгляды. Остальные молчали. Первой не выдержала Нинка:

– О чем вы говорите, товарищ капитан! Мы не присели ни на минуту, пока не перевязали и не накормили раненых. И сейчас мы имеем право на отдых!

Но тот продолжал свое:

– Я не о правах говорю. Каждый советский человек имеет право на отдых. Но как у вас кусок в горле не застревает, глядя на все это! Вы же женщины! У вас должно быть чуткое сердце!

Итак, этот вымытый, приглаженный тип еще обвиняет нас в бессердечии!

– Вы правы, товарищ капитан, – сказала я, – мы спокойны, работая с ранеными с первого года войны, мы привыкли к таким картинам. Если бы после каждого наступления у нас кусок в горле застревал, нас давно бы уже не было в живых, но, конечно, для тех, кто не часто бывает на передовой, это – страшное зрелище.

Были сумерки, и я не знаю, покраснел ли он, но шея в белом подворотничке дернулась, как от удара. Он подошел поближе и, осмотрев меня со всех сторон, заметил:

– Ну и вид же у тебя, Манькова! Волосы спутаны, обмундирование в крови, хоть бы почистилась немного.

Вот он и отплатил самым низким образом. Я и так была невысокого мнения о своей внешности. Мне вспомнилось, как он разглагольствовал в санроте, что "любить" он может не на лужайке, а только на шелковой простыне, и чтобы нижнее белье на "ней" было шелковое.

Я посмотрела на капитана в упор и сообщила как радостное открытие:

– А знаете, товарищ Болотников, ваша фамилия вам очень подходит!

Кто-то фыркнул. Капитан резко повернулся, и в наступающей темноте ясно выделились белизна подворотничка и блеск до глянца начищенных сапог. В это время, запыхавшись, прибежала Ольга-большая и раздраженно выкрикнула:

– И чего прохлаждаетесь? Порожние машины возвращаются с передовой! Варька там целую колонну задерживает!

Усталость как рукой сняло. Санитары, девушки, фельдшера и молодые врачи – все таскали носилки, без различия чинов и должностей.

На дороге стояла Варька и красочно переругивалась с

шоферами. Ей помогала Нинка, над которой водители добродушно подсмеивались: ”Ну и сердитая!..”, и еще одна видная, статная латышка, которая хоть и не Бог весть как владела русским языком, но ругалась здорово. Шоферов особенно забавлял ее выговор. Под взрывы ругани и смеха мы укладывали раненых. Врачи распоряжались, куда кого класть, и на каждую машину назначили ответственного санинструктора.

Была уже ночь, когда все собрались в чисто убранной санпалатке. Мы присели отдохнуть, но вдруг Айна вскочила и, обняв первую попавшуюся девушку, закружилась в вальсе, шаркая истоптанными валенками под мелодию Штрауса, которую мы тут же подхватили за нею своими простуженными голосами. Это было сигналом: мы обнимались, целовались, плясали и пели – мы были совершенно пьяны от чувства свободы. Только тогда мы поняли, каким трудным был этот ”обычный” день.

И снова переходы уже по зимней дороге, что намного облегчало путь людям, лошадям и тягачам, тащившим дальнобойные орудия. Появились ”катюши”, на которые командование возлагало большие надежды.

Однажды мы, как видно, вновь собирались в наступление, судя по тому, что расположились в лесу, а не в деревне. У читателя может создаться впечатление, что мы все время наступали и продвигались вперед. Но это не так. Чаще всего приходилось срочно сниматься с места и менять направление, то есть попросту отступать, или, как об этом объявлялось в сводках, ”выравнивать фронт”.

Итак, мы стояли в лесу. Было тихо. Наступление еще не начиналось. Немцы молчали. Где-то далеко на немецкой стороне слышались взрывы. Мы только начали приготавливать санротную палатку, когда вдруг непонятно откуда появились раненые. Оказалось, их задело выстрелами нашей ”Катюши”. Я вбежала в землянку командира роты и, задыхаясь, выпалила:

– Доктор, раненые прибывают!

– Раненые? Откуда?! – удивился он.

– Раненные нашей "Катюшей". Эти безграмотные дураки неправильно рассчитали.

Доктор С. поперхнулся чаем, который он отхлебывал из походной кружки, и посмотрел в глубь землянки. Поглядев в том же направлении, я увидела капитана и старшего лейтенанта с неизвестными знаками различия. Доктор укоризненно покачал головой, и я, краснея от неловкости, выскочила из землянки. Цель прихода командиров в санроту была ясна. И я очень была зла на них, потому что их отлучка привела к ранению и гибели подчиненных им людей.

Позже доктор С. вызвал меня.

– Что вы, Манькова, выпаливаете как из пистолета, не осмотревшись! Ну сообщили, что есть раненые. Но вас ведь никто не просил высказывать своих мнений и комментариев по этому поводу!

Я молчала, ибо знала за собой эту слабость. Вот хотя бы в прошлую ночь: мы шли по зимней дороге ускоренным маршем. Надо было пройти около 40 километров. Я, такая коротконогая, задыхалась от усталости. В это время подъехали сани, в них сидела Айна, и, увидев, как я запыхалась, она крикнула:

– Давай, садись, Этька!

Я плюхнулась в сани и тут же выпалила:

– Знаешь, Айна, мы, наверное, постоим на новом месте на обороне.

– А ты откуда знаешь? Командир дивизии с тобой советовался?

– Нет, пока еще меня на совет не пригласили, но бойцы говорят, что вперед выслали саперов – построить для комиссара Б. землянку в пять накатов.

Тут я получила чувствительный удар валенком в ногу и с удивлением огляделась: какой-то мужчина в овчинном полушубке спрыгнул с саней и смешался с колонной.

– Дура, ослиха! – в сердцах обругала меня Айна. – Это же был комиссар!

Я тряслась от беззвучного смеха. Я не хотела смеяться вслух, чтобы еще больше не рассердить Айну, но заметила,

что и у нее плечи трясутся... Таков уж мой характер, говорить что не надо и где не надо.

Мы научились от немцев строить удобные, я бы даже сказала, комфортабельные землянки, или, как у них они назывались, – блиндажи. Дело в том, что не только мы отступали, но и немцы тоже, и мы занимали их прежние позиции. Да, это была точная, хозяйственная, организованная армия. Тогда мы впервые увидели землянки в четыре-пять накатов толстых бревен со слоем утрамбованной земли в промежутках.

Насчет жестокости немцев в армии велась большая пропаганда. Говорили также об истреблении евреев. Но мне не верилось, многое казалось преувеличением. Как-то вечером я снова пила чай у оружейников. В землянке остался лишь один из них, тот самый латыш с серыми добрыми глазами.

– Знаешь, я был в деревне рядом, где раньше стояли немцы, – заговорил он тихо, вдумчиво, – страшно подумать, что те, которые доходят до таких зверств, тоже называются людьми. – И он рассказал о горé трупов местных жителей с вырезанными на спинах пятиконечными звездами, о женских телах с отрезанными грудями, трупах детей с размозженными головами.

– Я видел их своими глазами, – и он поник головой, которая серебрилась. – А знаешь, что было страшнее всего?

Я молча смотрела на него.

– Наши откопали овраг, засыпанный землей, и нашли целую семью. Смерть настигла их внезапно, и каждый остался в позе, не искаженной ни мукой, ни агонией. Там была молодая женщина, и на ее руках лежал ребенок, которого она, наверное, убаюкивала. Она сидела совершенно как живая, и я бросился к ней, но когда дотронулся до нее, окостеневший труп упал на землю, а труп ребенка откатился в сторону. Я этого, наверное, никогда не сумею забыть.

Я погладила его седеющую голову и спросила:

– Зачем же ты пошел туда?

– Правду надо видеть своими глазами, и тогда, может быть, другие поверят, – ответил он очень тихо, не поднимая головы.

Я поверила. С тех пор пошатнулся мой ни на чем не основанный оптимизм, вера в то, что рассказы о зверствах немцев преувеличены. Но я отгоняла эти мысли, вернее, загоняла их глубоко внутрь. Я боялась додумать их до конца.

* * *

Концентрические круги нашего движения вокруг Старой Руссы то расширялись, то суживались. Иногда мы издали различали макушки церквей. После наступлений, отступлений и изнурительных походов мы ухитрились попасть в "двойное окружение". То есть мы были в центре, внутри: нас окружили немцы, а их в свою очередь окружили наши войска. Пока шли бои и вокруг грохотала, как обычно, дальнобойная артиллерия, "катюши" выбрасывали длинные огненные языки прямо в гущу немецких войск – артиллерийский дивизионный полк старался вовсю, и хлопки выстрелов и гром разрывов звучали для меня музыкой: значит, мой доктор Л. поблизости. Пока наши полковые орудия, 70-миллиметровые и сорокапятка, как ласково называли мы 45-миллиметровую пушку, в упор обстреливали немецкую передовую, пока все это происходило, мы не беспокоились – война шла привычным ходом. Но вот бои стали реже и тише. Не хватало боеприпасов. Стали проникать пугающие слухи об окружении. Сначала об этом говорили шепотом, но вскоре заговорили все. Да, мы попали в окружение! Это было худшее из того, что могло произойти. В этой страшной своей жестокостью войне отсутствовали самые элементарные правила, такие, как возможность эвакуации раненых, человеческое отношение к пленным и т. д. Немцы обстреливали с бреющего полета транспорты с ранеными, вереницы беженцев и вообще любую движущуюся точку, напоминающую человека.

"Что же будет, если они пойдут в наступление?" – шептались люди, шептались, потому что нельзя было "сеять панику". Политруки бодрыми голосами объясняли "текущий момент": все было прекрасно, и мы, несмотря на потери, по-

беждали. Командир полка вызвал командиров рот на совещание. И доктор С. вернулся оттуда озабоченный и осунувшийся. Он знал, что если немцы начнут наступать, мы не сможем вывезти раненых и он получит за это штрафную роту. Все застыло в хмуром ожидании. Но немцы не наступали. Наоборот, их налеты с воздуха и обстрелы из орудий становились все реже и реже, и, наконец, воцарилась тишина. Не та, которая бывает между грохочущей артподготовкой и наступлением пехоты, когда все-таки слышны в отдалении разрывы мин и взрывы бомб. На этот раз тишина была всеобъемлющей, абсолютной. Чириканье воробьев, карканье ворон, переругивание повозочных зазвучали вдруг ясно и красочно. И порой казалось, что кончилась война. Но мы знали, что это не так. И вот начали просачиваться фантастические слухи о том, что немцы, нас окружающие, попали, в свою очередь, в окружение. Итак, на какое-то время мы оказались в полном покое. Куда как хорошо! Но этот покой обернулся страшной своей стороной — голодом. Он наступал исподволь, широким фронтом. Первым делом исчез хлеб, который должны были подвозить ежедневно. Мы питались сухарями и, главным образом, пшенной кашей, чем-нибудь заправленной. Потом кончились запасы мясных консервов, а о свежем мясе и говорить нечего. Скоро уменьшили норму сухарей, а потом их вовсе не стало.

Была снежная и, на наше счастье, не очень холодная зима. Через некоторое время исчезла и так надоевшая пшенка. И единственным нашим питанием стал "НЗ" — "неприкосновенный запас". В этих пачках было по 50 граммов крупы-концентрата, семь ржаных сухарей и маленькие мешочки с щепоткой сахара, соли и чая. Они сбрасывались с самолетов, подвергавших себя в этих операциях большой опасности.

Количество еды, полагавшееся по уставу на одного, у нас делилось на семь человек. Все сброшенное нам перемешивалось, отправлялось в большой кухонный котел, наполненный водой, откуда повар Янсен вылавливал половником побольше гущи для старшины, для дежурившего по кухне санинструктора, который снимал пробу, и, конечно, для млад-

шего и среднего комсостава. Старшие командиры и связные получали отдельные пайки.

Бойцы откапывали в снегу трупы подохших лошадей, иногда обменивали это мясо на вещи. Я помню, как одна из девушек, рижская еврейка Мэри, отдала за кусок такой падали красивый шерстяной свитер, с которым не расставалась еще с самой Риги. Она никого не угостила, но я на нее не сердилась, только предупредила, чтобы она не ела все сразу, а то заболеет. Но, видно, удержаться было выше ее сил, и, действительно, у нее начались рвота и понос.

Люди стали умирать, лошади – падать от голода. Были такие, которые превратились в настоящие скелеты с алчным взглядом. Появились больные водянкой: одутловатые лица, распухшие животы, выпирающие из-под гимнастерок, руки и ноги, походившие на толстые бревна. Взгляд у них был отрешенный и потухший. И те и другие ослабли настолько, что почти не двигались и безучастно лежали, ожидая смерти. Не раз бывало, что солдатик падал в снег и уже не вставал.

Мы, девушки, хоть и сильно похудели и потеряли свой цветущий вид, не только держались, но, изнуренные голодом, старались помогать как умели. Врачи достали откуда-то запечатанные бутылки с темно-коричневой жидкостью, называемой "гематоген", – в ней был экстракт, как мне сказали, из медвежьей крови. Мы открыли в избах стационар, куда клали самых слабых, но с надеждой на жизнь, и поили их с ложечки гематогеном и давали запивать сосновым экстрактом местного полкового производства. Иногда мы получали для них в мешочках остатки раскрошившихся сухарей. Мешочек на семерых. Семеро чуть живых существ лихорадочным взглядом сопровождали каждую крошку. И все-таки были девушки, немногие, которые ухитрялись припрятать для себя несколько крошек. Я не могла, я отдавала все до последней крошки.

Голод. Все мысли и чувства заняты едой. Мы не мечтаем о "деликатесах", о жарком, котлетах, пирожных – эти вещи превратились в отвлеченные понятия. Наша мечта – о хлебе, толстом ломте ржаного хлеба, посыпанного солью;

это даже скромнее мечтаний героя рассказа И.-Л. Переца "Бонче-молчальник" о куске свежей булки с маслом.

Мы расположились в деревне. Здешние жители тоже голодали, но у них были хоть какие-то запасы продуктов, хорошо запрятанные от нас: немного картошки и капусты в погребах и еще меньше муки. Хозяйка избы, где мы остановились, однажды расщедрилась и пригласила Еву, Нину и меня на лепешки, сделанные из сушеного мха, картофельной шелухи и щепотки муки. Лепешки были очень горькими и терпкими, и не успевали мы донести их до рта, как они распадались на составные части. Но все-таки на короткое время это угощение заставило запрятаться беспрерывно сосущий нас голод.

Однажды Хана, та, с которой мы донимали "украинского" доктора Косинского, поманила меня пальцем за собой. Когда мы уселись за большим камнем в конце деревни, она вдруг спросила:

– Чего бы тебе хотелось поесть?

Я рассердилась. Неужели для того я тащилась через всю деревню, чтобы услышать этот дурацкий вопрос!

– Ну, что ты дразнишь меня? Ведь и так нелегко! – напустилась я на нее.

– А все-таки? – не отставала она, и глаза ее сощурились в хитроватой улыбке.

– Отстань! – и я повернулась, чтобы уйти.

– А что бы ты сказала насчет хорошего ломтя хлеба с хрустящей луковицей?

– Хана! – взмолилась я. – Ну зачем тебе?..

И тут она открыла свою санитарную сумку и вынула оттуда краюху хлеба с пахучей коричневой коркой, завернутую в чистую тряпочку крупную соль, и – о, благодать! – две большие золотистые луковицы! Она поделила все пополам и протянула мне мою долю. Признаюсь, я понимала, что это приобретено отнюдь не безобидным способом, но ни о чем не спрашивала. Я вся отдалась чувству неизъяснимого блаженства, медленно обоняя, осязая и прожевывая каждый кусочек. Не знаю, какое у меня было выражение лица, на-

верное, такое, как у Ханы – отсутствующее и безумно счастливое.

Когда все было кончено и мы собрали последние крошки, я, робея, спросила Хану, откуда эта благодать. Хана спокойно ответила, что она не согласна умереть с голоду. А если уж кому-то суждено умереть, то пусть это будет тот, у кого она вытащила еду из вещевого мешка, когда он спал. Мне нечего было возразить и изображать честность. Ведь я тоже ела этот краденый хлеб и лук, не задавая никаких вопросов. И вот я, такая гордая тем, что не тронула ни крошки у истощенных, сейчас не чувствовала особых угрызений совести.

Однажды к нам в санроту пришла латышская девушка, санинструктор артполка. Вернее, она не пришла пешком, а приехала верхом. У них, видно, с продуктами было легче. Ни она, высокая и полнотелая, ни ее лошадь не выглядели такими жалкими и истощенными, как мы и наши лошади. Она привезла своим латышским подружкам две большие круглые буханки хлеба и коробку консервов. Когда я зашла в избу, они ели и весело продолжали свою беседу. Гостья рассказывала:

– Ну а эта новая санитарка, хоть и не молодая, а здоровая баба. Видали бы вы, как она объезжает лошадей! Она объезжает лошадей, а старший врач – ее! – и она расхохоталась. Девушки улыбались и опасливо поглядывали на меня.

– Иди сюда, мазайс, попробуй моего угощения. Наверное, и ты голодна, как черт, – дружелюбно обратилась ко мне веселая гостья. Я, за минуту до этого пожиравшая глазами разложенную на столе прелесть, вдруг почувствовала приступ тошноты.

– Спасибо, я спешу на дежурство! – неловко соврала я и вышла.

Я сидела в избе, предназначенной для так называемого "амбулаторного приема" больных, а вокруг лежали истощенные – кто дремал, кто был в забытье. Ничто не нарушало тишины. Я не могла сосредоточиться ни на одной мысли. Передо мной сам по себе всплывал образ сильной, ловкой латышки, не блиставшей ни молодостью, ни умом, ее жилистые ру-

ки, грубый голос, и рядом с ней – слабоватый, бледный интеллигентный еврейский юноша с насмешливым лицом. "Да быть этого не может! Все это просто сплетни!" – убеждала я саму себя. И как всегда, когда предстояло что-то неприятное, но неизбежное, я не старалась уклониться от встречи, а шла напролом. И сейчас я решила, что завтра же испрошу разрешения, пойду в артполк и все на месте выясню. Пойти! Это легко сказать! Мы, девушки, хоть и не были так истощены, как наши подопечные "доходяги", но все-таки очень ослабли и стали похожи на собственные тени. Хотя мы работали и даже стирали белье нашим больным, но все происходило в замедленном темпе из-за слабости, и каждая старалась тратить как можно меньше энергии.

Но я не могла не пойти. Я пришла к доктору С., командиру, со своей просьбой. Он, видно, знал всю правду – у врачей свои пути передачи новостей и сплетен. Он посмотрел на меня с сожалением и начал убеждать не тратить силы и не идти в такую даль (четыре километра) при изнуряющей слабости и сосущем голоде.

– Ничего, доктор, – ответила я весело (один Бог знает, чего мне стоило это веселье), – там меня, наверное, накормят.

– Что ж, идите, – произнес доктор. Не знаю, убедил ли его мой бодрый тон, или, как зрелый человек, он понимал мое состояние.

Когда я выходила из деревни, меня догнала Айна. Она ни о чем не спросила, ей, как видно, было уже все известно. Она даже не обозвала меня дурой и ослихой, а просто вытащила из кармана два целых сухаря, завернутых в старую газетную бумагу, и протянула со словами: "Возьми на дорогу". Мне хотелось броситься ей на шею и расплакаться, но это было невозможно. Неписаные правила поведения требовали высшей сдержанности.

Два целых сухаря – это было богатство. Конечно, Айна взяла их из своего командирского пайка, который тогда, во время окружения, состоял из пяти сухарей на неделю. Да и старая газета являлась немалой ценностью, так как красно-

армейцы свертывали из нее ”козью ножку” и даже предпочитали ее папиросной бумаге, которой, кстати, тоже не хватало.

Да, Айна все понимала и не пыталась меня удерживать. И я вспомнила ее большую любовь и ее отчаяние. Это случилось, когда мы прибыли в район Старой Руссы. К нам прислали двух особистов, то есть офицеров Особого отдела (сейчас – КГБ). Оба – рослые, сильные парни. Ну и, конечно, ”все дороги ведут в санроту”. Один, старший лейтенант Виктор З. (для нас – Витька), голубоглазый, чуть сутулый, с наивным, я бы сказала, туповатым лицом, быстро нашел подругу – хорошенькую бездумную Мирзду. Второй, капитан Николай К., по-нашему – Колька, был богатырь в полном смысле слова, высокий, широкоплечий, очень стройный, с необыкновенно выразительным, красивым, резко очерченным овальным лицом, чуть раскосыми монгольскими глазами цвета темной сливы и энергичным выразительным ртом. И Айна полюбила его всем своим существом. Мы гордились и любовались ими обоими. Он был похож на принца из восточной сказки, а Айна напоминала экзотический фрукт, привезенный из южных заморских стран. Нам нравилось видеть их вместе – красивых, веселых и счастливых. Ни одна из наших девушек, будь она самая хорошенькая и молоденькая, даже в мыслях не могла представить этого красавца ”своим парнем”. Он принадлежал только Айне, Айна – только ему, и – точка. Но вот появилась новый санинструктор по имени Женя, вертлявая девица с кукольным смазливым лицом без единого намека хоть на какую-нибудь мысль. К сожалению, она была еврейкой. Я ее помнила по Гороховецким лагерям, где уже тогда невзлюбила. Она пробыла не больше двух-трех недель, а когда исчезла с нашего горизонта, вместе с нею исчез и капитан особой службы Николай К., ”принц из восточной сказки”. Он был откомандирован в тыл (по приказу или благодаря своим стараниям, как потом шептались) и взял с собой Женю. Все это я узнала потом. А в тот день, сероватый и мглистый, с каплями дождя на листьях кустарников, Айна не явилась на дежурство. Ясно помню каждую мелочь того дня, даже вытоптанную тро-

пинку к санротовской палатке. Я не видела Айну ни в обед, ни позже, во время вечернего дежурства. Вместо нее пришел доктор С. Я спросила, где Айна, и он ответил, что она плохо себя чувствует.

– Можно ее проведать?

– Лучше не стоит, – сказал доктор, не объясняя причины.

Очень странно. Что значит "плохо себя чувствует"? У нас, в армии, не существовало вообще такого понятия! В расчет шли только настоящие болезни, такие как дизентерия, малярия, "рожа" и т. п. "Недомогание" – подобного с нами не случалось, тем более с Айной. Что-то было не так, но приставать с вопросами я не могла. На следующее утро Айна снова не появилась. Но вот из палатки доктора С. вышла какая-то ссутулившаяся женщина с опущенными плечами и в криво наброшенной шинели. "Это еще что за чучело?" – подумала я. В профиль я видела ее одутловатое, опухшее лицо в красных пятнах. Я, конечно, поспешила за ней, хотя мое дежурство наступало после обеда.

– Тебе что, Этька? – спросил Айнин, но какой-то мертвый голос, и женщина повернулась ко мне. Я уставилась на нее, понимая, что это Айна, но не узнавая ее. Вместо лица – безжизненная маска. Я ничего не ответила, в эту минуту у меня пропал голос. Солнце прорывалось сквозь серенький туман, и лес окрасился всеми цветами радуги, которые отражались в каждой капельке воды. Все вокруг сияло и праздновало, а здесь стояла женщина с опустошенным мертвым взглядом таких милых карих глаз на опухшем лице.

Девушки, которые всегда знали все раньше меня, уже рассказали мне всю историю. "Как же Колька мог променять Айну на эту дешевую пустую куклу?" – подумала я с ужасом. Но, как видно, мог.

Айна вернулась в палатку, я вошла вслед за ней, но не бросилась ее утешать. Переглянулась с Мартой, той честной, прямой, работящей девушкой, о которой я уже упоминала, и мы поняли друг друга без слов. Мы стали обращаться к Айне с разными, как нам казалось, очень серьезными вопросами насчет больных, которые лежали в ближайшей избе.

Мы попросили ее пойти их обследовать, хотя прекрасно знали, что основная их болезнь – страх и им ничем не помочь. Айна пошла. Она выстукивала и выслушивала их и бросала указания своим новым мертвым голосом. В палатке мы тоже не оставляли ее в покое, расспрашивали о медикаментах, давно кончившихся, о лечебных травах и тому подобном. Мы принесли в палатку наш ужин: хлеб, чай и сахар. Но Айна на это даже не взглянула. Она сидела неподвижно и смотрела в никуда. Мы оставили попытки вернуть ее к жизни и стали разговаривать между собой.

– Вот и дизентерия началась, и черт ее знает, откуда она взялась! Жрать нечего, а с...ть есть чего! И так после каждого наступления убитых полно, а тут еще это! – раздраженно заговорила Марта на своем деревенском латышском.

– Дуры! Ослихи несчастные! – услышали мы настоящий, знакомый голос Айны. – Целый день без толку болтаете, а про дизентерию ничего не сказали! Зовите остальных девчонок, и марш по ротам делить бактериофаг! (Совершенно новое лекарство, которого у нас было вдоволь.) – Мы обе заялись, будто удостоились наивысшей похвалы, и отправились лись выполнять приказ воскресшей Айны.

Все это вспомнилось мне, когда я молча взяла из рук Айны эти два сухаря. Я хотела ее поблагодарить, но она уже удалялась энергичным шагом.

И вот я иду очень медленно по лесной зимней укатанной дороге. По мере удаления от нашего расположения я начинаю себя убеждать, что все, что я слышала о докторе Л., – просто женские сплетни. Даже смешно, что я так встревожилась! Вот через час-полтора я приду в артполк, и доктор Л. встретит меня милой улыбкой, которая предназначается только мне (остальным – насмешливый прищур), и скажет: "Садись, клайне, ты, наверное, проголодалась?" – и преданный Перец поставит на стол что-нибудь съестное и горячий чай, и начнется беседа, и между нами протянутся, как всегда, незримые нити взаимопонимания. Ведь мне большего и не надо. Может быть, на прощанье я что-нибудь спою, и мы крепко поцелуемся. Нарисованная мною картина не только успо-

коила меня и убедила, но и возбудила ноющий голод, который до этого был загнан внутрь переживаниями. Я вспомнила про сухари и совсем повеселела. Я жевала их медленно, с удовольствием, и даже не заметила, как исчезли последние крошки. Ну что ж, скоро меня накормят, а на обратный путь у Переца найдется для меня ломоть хлеба или пара сухарей.

Прибыв в артполк, я угостила проходивших мимо солдат газетной бумагой, в которую были завернуты сухари, и они, очень довольные, указали на избу старшего врача полка, то есть доктора Л. Я передохнула, чтобы не выглядеть усталой и поблекшей, и вошла в сени. На стук в дверь, ведшую в комнату, никто не ответил, потом вышел Перец. Плотно закрыв за собой дверь, он всматривался в полутьму сеней, как видно, не узнавая меня.

– Перец! – воскликнула я. – Ты разве не узнаешь меня?

– Узнаю, почему не узнать, – ответил минорно Перец.

– Так что же ты стоишь? Давай зайдем, ведь холодно на улице! – и я взялась за ручку двери.

Перец не двинулся, только переступил с ноги на ногу и, заслонив спиной дверную ручку, тихо сказал:

– Тебе нельзя туда, Манькова.

– Почему?! – изумилась я. (Потом еще много лет сгорала я от стыда, вспоминая свой глупый вопрос, на который моментально ответила себе сама: "Потому что он не один. У него там эта *гоя*".)

Я сглотнула твердый комок, подступивший к горлу и грозивший задушить меня.

– Ну что ж, прощай, – с трудом выдавила я и вышла из сеней. При выходе из деревни Перец догнал меня и сунул в карман шинели пару сухарей и немного пиленого сахара.

Солнце садилось. Скоро наступит вечер. Дорога была пустынна. И никто не мог видеть моих слез, так и катившихся из глаз помимо моего желания. Они текли по щекам и капали на воротник шинели.

Я шла и не чувствовала ни холода, ни голода, ни того, как наступил вечер. Что-то жгло меня внутри, подступало все выше и выше и выливалось горячими слезами. Как он

мог?! Это было разочарование, смешанное с чувством оскорбленной гордости, а главное, горькое сожаление о сломанных нежных ростках моего к нему чувства.

Была безлунная ночь. На высоком и дальнем небе мерцали чужие, тускловатые звезды. Пустынная дорога уходила вдаль. И я подумала: где я? Что я делаю на этой чужой враждебной планете, между равнодушным далеким небом и заснеженной, израненной черными воронками землей? Что я делаю здесь, под грохотом взрывов, между трупами и истекающими кровью ранеными, я – еврейская провинциальная девушка очень маленького роста, которая в жизни своей никого даже не ударила?

В первый раз за все мое пребывание в армии меня обуял безотчетный страх: была не тишина, а безмолвие. Я была одна под белеющими на черном небе звездами, на белом снегу, где зияли черные воронки. А по сторонам – остатки проволочных заграждений и покрытые снегом темные ели. Я окончательно потеряла ощущение реальности, и казалось, что если я крепко зажмурюсь, а потом открою глаза, то опять окажусь в привычном мире семьи, товарищей из сионистского движения, в городке Люцине или в Риге, в университете. Мной владел один безграничный необъяснимый страх. Я остановилась посреди дороги и зажмурилась. Не знаю, сколько времени я простояла, мужской голос вывел меня из забытья.

– Что с вами, девушка? Вам дурно?

Передо мной на обычной унавоженной и утрамбованной зимней дороге, в привычном лесу, среди елей и сосен со снесенными осколками снарядов верхушками, стоял самый обыкновенный лейтенант.

Кошмарное ощущение почти космического отчуждения исчезло. Я вернулась на землю, такую знакомую и обыденную. Страх исчез, и мной завладели прежние чувства, но в них уже не было изливающейся слезами жгучей остроты.

Да, это был самый обыкновенный лейтенант со всеми полагающимися его сословию атрибутами. Все лейтенанты щеголяли своей выправкой, развернув плечо, чтобы видны были знаки различия, сначала – кубики, потом – погоны, и

выпячивали грудь, демонстрируя значки наград, если таковые имелись. Лейтенанты, не бывшие на передовой, отличались блеском сапог и белизной подворотничков. Кроме того, они были главными потребителями военторговского тройного одеколона (другого там не имелось). Вместе с лейтенантским званием парень получал полную уверенность в своей неотразимости. Он тут же пополнял запас своего остроумия плоскими шутками, давно всем известными. Обращение к девушкам ограничивалось двумя-тремя каноническими фразами: разрешите обратиться? Вас проводить? Разрешите угостить... и т. д. Кроме того, были приняты рассказы о своей храбрости и удальстве в боях. Мы знали все это наизусть и посмеивались, когда они являлись во всеоружии своей обольстительности. Они же, в свою очередь, удивлялись притуплению у нас чувств, которое мешало нам преклониться перед их неотразимостью. При отказе каждый искренне кровно обижался, на него было жалко смотреть.

Так вот, точно такой лейтенант предстал сейчас передо мной.

– Куда вы идете одна ночью? – удивился он.

– К себе в расположение, в 125-й полк, – и я пошла дальше.

– Значит, нам по дороге! Разрешите вас проводить?

"Начинается!" – подумала я и добавила вслух, что в провожатых не нуждаюсь.

– Маленькая, а сердитая! – и он подошел ближе. Я чувствовала страшную усталость и еле тащилась. Я не знала, как далеко еще идти. Остановиться – значило дать повод к его поползновениям. А для того, чтобы сопротивляться, надо гораздо больше сил и энергии, чем было у меня в тот момент.

– Девушка, вы же с трудом идете! Вам надо отдохнуть. Я расстелю плащ-палатку. У меня есть кое-что! – и он многозначительно щелкнул по фляжке. – Ну и закусить найдется!

– Спасибо, у меня свое есть, – и вдруг вспомнила, что Перец сунул мне что-то в карман.

Да, в промасленную бумагу от индивидуального пакета

были завернуты два сухаря и три кусочка пиленого сахара. "Вот и докторское угощение", – подумала я с горечью и стала сосать сахар, откусывая понемногу от сухаря.

Некоторое время мы шли молча. Лейтенант, как видно, не терял надежды. Вдруг он подошел очень близко:

– Девушка, а вы знаете, что такое счастье? (Вот тебе и раз! Это еще что за фокусы?)

– Вижу по вашим глазам, что вы еще счастья не видели. Останьтесь со мной хотя бы на полчасика, и я дам вам счастье.

Несмотря на все, что сегодня пришлось пережить, лейтенант начинал меня забавлять.

– Это что же за счастье на полчасика? Или, может, – на всю жизнь?

Лейтенант очень оживился.

– Девушка, – начал он торжественно, – вы испытаете со мной такое блаженство, что будете вспоминать его всю жизнь.

– Ну, неужели уж такое великое блаженство?

– Да! – восторженно воскликнул лейтенант. – Блаженство всего мира, блаженство рая!

"Ну, – подумала я, – это не обыкновенный лейтенант, у него в голове полный ералаш", – и ответила, что я очень благодарна, но в рай я не собираюсь, поэтому вынуждена отклонить его предложение. Вдали уже виднелись крыши нашей деревни, так что бояться было нечего. По всем правилам "лейтенантского поведения" он должен был кровно обидеться, повернуться и уйти или просто меня обругать. Но, судя по восторженному тону, не вполне обычный лейтенант действительно верил в свои способности, о которых говорил.

Он шел рядом и настойчиво предлагал испробовать хотя бы один поцелуй! Один поцелуй, и он уверен, что я пойду за ним на край света!

– До свидания, товарищ лейтенант. Может, еще встретимся.

Я уже пришла в свое расположение. Он приподнял меня и крепко поцеловал. Я уже собралась отвесить пощечину, бла-

го его физиономия была близко, но он быстро опустил меня на землю и разочарованно произнес:

– И вы ничего не почувствовали?

– Нет, к сожалению, ничего.

– Ну, знаете! – возмутился он, но миролюбиво продолжил: – Что ж, вызовите другую девушку, которая сумеет меня оценить. Я подожду.

Я вошла в избу очень веселая и сообщила Ольге-большой, что ее ожидает какой-то лейтенант. Когда она вышла, я рассказала девушкам о моих приключениях. И мы с нетерпением стали ждать возвращения Ольги. Минут через десять она вернулась красная, злая и накинулась на меня:

– Что ты присылаешь ко мне всяких сумасшедших? Ты не поняла, что он ненормальный?

Но так как мы хохотали, то Ольга только плюнула и сама рассмеялась.

Я смеялась, и никому и в голову не пришло расспрашивать меня о моем путешествии. Только милая Ева, которая взяла для меня ужин, то есть порцию варева, называемого супом, сказала:

– Тебя, наверное, там накормили, но все-таки я принесла тебе суп и сейчас подогрею.

Я была очень тронута и очень голодна, и... мне очень хотелось плакать. Но это – потом, ночью. А сейчас я поблагодарила и весело заявила, что, возвращаясь, опять нагуляла аппетит.

Голод. Голод привел за собой всеобъемлющую тишину. Грохот орудий, шум войны не замолкли, но совершенно пропали звуки деревенской жизни: лай собак, мяуканье кошек, не говоря уже о петушином пении; даже карканья ворон не было слышно. Отсутствие привычных звуков поражало. Все, что можно было есть, – съедено. Люди и лошади умирали в муках голода. Правда, лошадям старшины и повозочные помогали умирать, с молчаливого согласия командиров, отнюдь не из жалости и сострадания. Мясо лошадей, конечно, не попадало в общий котел.

Было начало апреля. И даже мы, девушки, все более блед-

нели и слабели. Однажды доктор С. поманил меня пальцем и пригласил пойти в санвзвод второго батальона на мясной суп. Мясной суп! Откуда взялся у них мясной суп? Услужливая память тут же вызвала в воображении всевозможные мясные супы, и даже их запах ударил в ноздри. Когда мы пришли, военфельдшер и санитары сидели вокруг стола, а на нем исходил паром домашний чугунок с супом, в котором плавали – о чудо! – кусочки мяса. Мне и доктору подали по глубокой тарелке с куском мяса и по полсухаря. Это был пир! Мы не стали спрашивать, откуда мясо, и начали есть медленно и степенно, не пролив ни капли. Когда все было кончено и доктор С. горячо поблагодарил за вкусный суп, командир санвзвода военфельдшер Спрогис, или просто Ванька, прищурив зеленые глаза на узком лице, спросил:

– А вы знаете, какое мясо вы ели?

Доктор отрицательно покачал головой и наивно спросил:

– А, действительно, какое?

– Крысиное, – ответил фельдшер, указывая на крысоловку, стоящую в углу.

Доктор побелел, глаза выкатились из орбит, и он выскочил за дверь. Все присутствовавшие "надрывали животики". Я вспомнила, как однажды сидела во втором батальоне и ела то ли лепешки, то ли оладьи из ржаной муки, поджаренные на подсолнечном масле, найденном в ближайшей деревне. Нас прислали сюда в очередной раз на помощь; раненые были эвакуированы, и мы отдыхали, пили вкусный чай...

Было тепло, уютно. Ванька, который считался "своим парнем", рассказывал разные истории.

– Знаешь, Манькова, что мне один друг рассказывал? Не поверишь!

В одном из походов подразделение его друга остановилось в деревне на ночлег, но где именно – друг, поотстав, не углядел. Был мороз. Друг зашел в какую-то избу, выпил пару стаканов водки и залез на печь. Только собрался заснуть, как обнаружил, что рядом лежит женщина. Женщина! Он уже больше двух лет видел только девушек из санроты, да и

то издали. А тут на теплой печке так близко от него желанное женское тело. Он обнял ее, она не противилась. Все произошло очень быстро, женщина не произнесла ни слова, только как-то дернулась и глубоко вздохнула.

Что ж, подумал друг, и она получила удовольствие. Он тоже не произнес ни слова, сунул ей в руку пять рублей и заснул. На рассвете соскочил с печи и пошел искать подразделение, которое обнаружил в соседней избе. А утром к хозяйке избы прибежала соседка, очень взволнованная, и рассказала, что ночью скончалась на печи старая бабка Васильевна.

– Святая была. Она смерть свою чуяла и деньги на свечку приготовила. Так и нашли ее мертвой, а в кулаке пять рублей зажаты!

Услышав это, друг выскочил из хаты и больше в деревне не показывался.

И вот сейчас, при взгляде на ухмыляющегося довольного Ваньку, меня осенило: уж очень хорошо он описал тогда подробности этой дикой истории.

Я прервала нашу уютную трапезу:

– Сволочь ты, Ванька, вот ты кто! – и вышла, хлопнув дверью.

Доктор С. стоял очень бледный, опершись руками о ствол дерева, и глубоко дышал. Неподалеку чернели на снегу остатки нашего роскошного пира. Отдышавшись, он взглянул удивленно:

– А вы как, Манькова? Вам не дурно?

Я проверила себя, но не почувствовала даже намека на тошноту, а наоборот – блаженное состояние сытости. Во мне шевельнулось презрительное удивление к себе. "Неужели это ты, Этинька, которую мама кормила только самой свежей, самой лучшей едой?! Даже колбасы не покупала, потому что "Бог знает, что они туда кладут!" И вот сейчас ты с удовольствием ела крысиное мясо!" Да, это была я, Этинька.

Доктор только покачал головой, и мы вернулись в санроту.

Люди продолжали тихо, покорно умирать, лошади – падать. Но вот наступил апрель. Нежные запахи ранней-ранней

весны в прозрачном воздухе будили неясные надежды на жизнь, полную напряжения всех чувств и всех ощущений, когда каждый ручеек журчит о счастье и яркая синева просвечивает между облаками и свидетельствует, что счастье – весьма возможная вещь. Снег таял на глазах. Показались темные прогалины и стали покрываться нежной зеленью. И тут вышел приказ: лошадям воспрещается падать. Да, именно так! А повозочный или его командир, у которых это случится, будут привлечены к военно-полевому суду, то есть их ждет расстрел или штрафной батальон. Теперь никто не отваживался прикончить полудохлую скотину, чтобы немного поесть. Лошади паслись на свежей зеленой травке. А люди? Для них приказа не существовало, и было позволено умирать вволю.

Батя Танаев, тот, который объяснил мне про белену, научил нас собирать молодую крапиву и лебеду.

Каша из молодой крапивы была безвкусной (ведь соли тоже не было), но она на короткое время наполняла желудок, и появлялось ощущение сытости. И еще – щавель! В вашем воображении, конечно, возникает тарелка щей, заправленных крутым яйцом и сметаной. От одного взгляда начинают течь слюнки. Каша из щавеля, которую мы ели, была такой кислой, что одной ее капли хватало, чтобы нейтрализовать самую ядовитую щелочь. Батя Танаев предостерегал, чтобы не очень "налегали", если не хотим страдать от сильной изжоги. Он был прав, но мы "налегали", так как голод нас доконал.

Итак, мы бродили по полям в поисках щавеля и трав по совету бати Танаева. Мы не замечали, как выходили на передовую. Все перемешалось: пехотинцы, артиллеристы, саперы, девушки из санрот – все были заняты лишь одним: поисками мало-мальски съедобной травки. Когда мы поднимали головы, то видели, как прямо в соответствии с пророчеством "и будут жить волк с овечкой..." между нами бродили немцы, такие же бледные, истощенные, голодные, оборванные, как и мы. Ведь они тоже в окружении! Сталкиваясь, мы отворачивались друг от друга, как бы не узнавая. Ведь

нам, как врагам, положено воевать. Но какая тут война! Обе стороны покорены одним общим беспощадным врагом – голодом.

Раннее утро, заря только занимается. Кто-то настойчиво меня будит, и я с досадой пробуждаюсь от прекрасного сна. Во сне передо мной – тарелка с котлетами и жареной картошкой. А возле тарелки – большой ломоть свежего черного хлеба. Эти сны были участью всех голодающих. И никогда в этих снах не удавалось поесть – в последнюю минуту обязательно что-то помешает, и ты просыпаешься раздраженной и злой. На этот раз меня разбудил батя Танаев.

– Вставай, Манькова. Пойдем, я кашу сварил.

Кашу? Сон в руку! По дороге он обстоятельно рассказывал, как встал затемно и наловил в ближайшей речке съедобных червей. Их можно поймать только рано утром – при свете дня они прячутся.

– Хорошая каша получилась! – закончил батя Танаев свое повествование.

Когда мы дошли до его избы, он вынес две ложки и котелок, наполненный черным студнем, и мне показалось, что там еще что-то движется, что, конечно, было ерундой: кто может двигаться после того, как его сварили!

– Спасибо, батя Танаев. Вы столько трудились! Мне совестно есть вашу пищу.

Но его трудно было обмануть. Он все понял и с сожалением произнес:

– Эх, вы, городские! А ведь хорошая еда. Тут тебе и белки, и витамины. Попробовала бы?!

Но я не могла.

* * *

И вот мы прорвали окружение. Образовался узкий коридор, по которому начала продвигаться наша дивизия. Надо было спешить, так как коридор мог сомкнуться каждую минуту. Мы проходили через разрушенные деревни, от которых, как правило, оставались торчащие среди развалин стол-

бики печных труб и два-три обугленных дерева. Изредка попадалась блуждающая курица или коза – единственные оставшиеся в живых существа. Поля стояли голые, незасеянные, поросшие бурьяном. И вдруг случилось непредвиденное: бойцы нашли на полях прошлогоднюю картошку. Весь полк растекся по полям, и не было никакой возможности заставить бойцов двигаться вперед, пока они не откопали и не сварили самое малое по шесть-семь котелков картошки. Были и такие, что набрали по двенадцать котелков. Над полями дымилось множество костров, около каждого сидели на корточках два-три солдата и варили свою картошку. Если же какой-то счастливчик находил курицу или петуха, он не варил их, а жарил на вертеле, а потом долго со смаком обсасывал каждую косточку.

Наша Мэри ухитрилась поймать двух козлят. Она связала их веревочкой и привязала к длинному посоху. Я сказала ей, что она напоминает праотца Яакова, только у того были целые стада, а не два худых козленка. Она еще и прихрамывала, но не в результате борьбы с ангелом Господним, а просто натерла ноги.

Нам, медработникам, последствия этого увлечения картошкой были ясны. Но мы были не в силах остановить стихию. После суток объедания начались повальные поносы со спазмами и судорогами. Дивизия с трудом продвигалась вперед, а придорожные канавы были переполнены сидевшими на корточках солдатами, корчившимися в болезненных судорогах. Младшие командиры, кто поздоровее, вытаскивали бойцов из канав и гнали вперед криками, угрозами, а иногда и прикладом в спину. За нами по пятам гнались немцы, и тот, кого не удалось бы заставить идти, оставался на верную смерть. Но несчастные солдатики, едва дышавшие, измученные рвотой и поносом, ничего не соображали и только умоляли оставить их в покое. Когда солнце склонилось к западу, полк остановился. Устроили перекличку. Оказалось, что все-таки многих не хватало. Надо было вернуться к месту предыдущего привала и искать оставшихся в канавах и обочинах. Наш полк был последним из прорвавшихся. За нами

шла рота автоматчиков, а за ними по пятам немцы. Наш командир доктор С. молча осмотрел свое "войско" и обратился с просьбой, что у него заменяло приказ:

– Вот что, нужны добровольцы собрать оставшихся бойцов. Если мы не поможем, их ждет верная смерть.

Все прекрасно понимали, что смерть грозит и тем, кто будет их сопровождать. Доктор С. переводил взгляд с одного на другого, но каждый угрюмо молчал, опустив глаза. Не помню, каким образом очутился среди нас Перец, связной доктора Л. Я осмотрелась, никто не вызывался, тогда я не очень уверенно сказала, что я пойду. Но лицо доктора С. не выразило никакой радости по поводу моего заявления. Наоборот, его печальный, почти сердитый взгляд говорил:

"Куда ты лезешь со своими короткими ногами и не Бог весть какими сильными руками?!"

Но сказано – сделано.

– Я дам тебе санитаров в помощь, – сказал доктор, и тут вышел вперед худенький малорослый чернявый Перец.

– Доктор С., разрешите мне присоединиться.

– Ну что ж, хоть я и не твой непосредственный командир, но иди, если хочешь.

Полк поднялся и тронулся в путь. А мы, невзрачная группка добровольцев, санитары из "слепо-глухо-геморроидной команды", Перец и я, повернули назад.

С каждым санитаром мы отправляли вдогонку полку трех-четырех несчастных, совершенно ослабевших бойцов. Они шли и падали и часто застревали в канавах. Санитары, страшно ругаясь, поднимали их, заставляя идти вперед. Перец и я шли, внимательно оглядываясь по сторонам, в обратную сторону. Там багровел зловещий закат, изборожденный обрывками темно-синей тучи, оттуда дул холодный пронизывающий ветер и доносилась перестрелка наших автоматчиков с немцами. Мы послали последнего санитара с оставшимися солдатами, и дальше идти искать уже было некуда. Мы почти наткнулись на автоматчиков. Последняя полоска заката осветила апокалиптическим светом сомкнувшуюся тяжелую тучу и погасла. Наступили сумерки.

– Дальше идти некуда, Манькова, вернемся.

Мы повернули и пошли вдогонку за полком. Темнота сгущалась, и, может быть, поэтому автоматные очереди слышались совсем близко. Еще немного, и станет совсем темно. Я заметила возле дороги что-то темное, не то камень, не то пень.

– Перец, что это там?

– Что бы ни было, прибавляй шагу, если не хочешь очутиться у немцев, – ответил Перец и, действительно, прибавил шагу.

Но я все-таки решила проверить непонятный предмет. Подойдя, я услышала, как он тихо, протяжно стонал.

– Перец! Иди сюда скорей, тут солдат лежит.

Перец вернулся. Мы попробовали поднять это совершенно ослабевшее существо. Солдат был весь в грязи, и лица нельзя было разглядеть. О запахе, который шел от него, и говорить нечего. С губ срывался стон. Солдат обвис у нас на руках и не делал ни шагу. Мы уговаривали его, ругали, грозились, но он ни на что не реагировал. Треск автоматных очередей приближался. И тут Перец выхватил пистолет, который вовсе не полагался ему по рангу, и заорал страшным голосом, который невозможно было предположить в таком тщедушном теле:

– Застрелю как собаку, если не пойдешь! Из-за возни с тобой мы все к немцам попадем! Ну!

И, к великому моему изумлению, согнутая в три погибели фигура начала переставлять ноги, опираясь на нас, и мы двинулись в путь. Мы шли очень долго, но по мере продвижения солдатик все тверже держался на ногах, и нам стало немного легче. Поздно вечером мы догнали наших. Полк давно уже расположился на отдых. Мы сдали солдатика на руки дежурным, а сами уселись у печурки, наслаждаясь сладким горячим чаем и ломтем настоящего ржаного хлеба, давая отдых ногам.

Через полчаса я пошла посмотреть, что с нашим полуживым солдатиком. Он лежал на нарах, чистый, напоенный чаем, и спокойно дышал. Когда я нагнулась над ним, он открыл

глаза и слабо произнес на идише: "Эстер, это ты?" Он неожиданности я плюхнулась на нары.

– Зиська! Это ты?! – завопила я. Это был боец из нашей роты связи. А главное, с тринадцати лет мы с ним встречались на собраниях нашего движения!

Этот случай начисто выпал из моей памяти: если бы мы вытащили раненого с поля боя, – это да! А то подбирали ослабевших, покрытых испражнениями солдатиков, – нет, это не те воспоминания! И вот через много лет я встретила Зиську и его жену, мою подругу детства, в Израиле. В одну из наших частых, почти семейных встреч, за праздничным столом Зиська спросил:

– А помнишь, как ты меня спасла?

– Когда это я тебя спасала?

И он напомнил мне эту историю.

Странно, но я совсем не помню фронтового лета. Все вспоминаются зимние холода, осенняя грязь, весенние воды.

Был май. Не тот прекрасный месяц, воспеваемый поэтами, с черемухой и сиренью, а холодный "осенний" май, дождливый, серый. Земля уже не принимала воды. Все блиндажи были затоплены. Ботинок еще не выдали, и мы ходили в валенках, пропитанных водой, отяжелевших, никогда не просыхающих. Не было возможности развести костер в этой сплошной водной стихии. Только печурки топились круглые сутки, но одежда почти не просыхала. Что касается черемухи и сирени, то не только в искалеченных лесах, но и в деревнях я не видела ни одного куста. Единственным украшением еще несожженных, чудом сохранившихся деревень были верба и рябина.

Что должно было утешать нас в те дни – сравнительная тишина: невозможно было передвигать артиллерию по раскисшим разбитым дорогам. Но мы такой тишины не любили. Может быть, читающий мое повествование недоверчиво улыбнется, но это было так. Помню, каждый раз, когда переформировка затягивалась больше недели, нам, умытым и отдохнувшим, отъевшимся и вдоволь натанцевавшимся под хрип пластинок, успевшим повидаться с "милыми дружка-

ми" и иногда найти других, – нам сразу же делалось не по себе.

Конечно, день был достаточно загружен: политзанятия, подготовка перевязочных материалов, то есть попросту нарезание марли, и т. п.

После боев, когда дни были насыщены высшим напряжением, эти спокойные сытые дни с возникающим бытом, в котором появлялись кровати, иногда даже простыни, полный бочонок воды для ежедневного умывания и даже баня, – эти дни наводили на нас уныние. Мы начинали придираться друг к другу и даже ссориться.

Вот и сейчас девушки слонялись в бездействии по глубоким лужам и злились неизвестно на кого, хотя успели обсушиться и почиститься по мере возможности. Нинка, Айна и я сидели на высоком пороге нашей избы. В небе плыл месяц, обтекаемый прозрачными тучками, а у наших ног расстилалась фантастически очерченная лужа, наполненная талой весенней водой, и в ней тоже плыли яркая луна и серебряные точки. Изрезанные края лужи являли собой необычную раму к картине, и отражение было намного прекраснее настоящего месяца в настоящем небе. (Что наводит на философские размышления о наших способностях к восприятию отражений). Майский воздух вызывал неясные, но такие желанные образы счастья. Я запела: "Споемте, друзья, ведь завтра в поход...", а Нина и Айна подпевали: "Прощай, любимый город...". Торжественность мелодии, безграничное небо с неподвижным месяцем наверху, волнующаяся от ветерка, такая досягаемая луна у наших ног – все вместе вызывало чувства, выразить которые у меня не хватает способностей. Может быть, это и зовется счастьем?

Вдруг Айна сказала:

– Девчата! А что же мы будем делать, когда кончится война?

Считается, что на войне люди только и мечтают о ее окончании. Но мы прекрасно поняли Айну – у нас был тот же настрой. В вопросе была не мечта о будущем, а недоумение и даже опасение перед жизнью, ожидающей нас на гражданке.

И я вспомнила, как год или полтора назад мы прибыли в лес, где еще не было готовых блиндажей, и вся санрота сгрудилась в приемной палатке. Было тесно и грязно. Айна оглянулась и раздраженно сказала:

– А ну их к черту, Этька, пошли строить шалаш!

Мы наломали еловых веток, крепко связали вместе и поставили на землю основанием вверх. Получился неплохой конус. На этот конус из крепких ветвей мы настлали ветви помоложе иглами вниз – на случай, если пойдет дождь. Это была моя идея. Ставить шалаши я научилась в скаутском сионистском движении. Айна даже бросила взгляд, полный уважения к моей находчивости. Мы настелили нары, набросали охапки свежей травы и всю эту благодать покрыли двумя плащ-палатками. Усталые и довольные, растянулись в самодельном шалаше. Айна была в высшей степени горда нашим произведением, и я не преминула заметить, что Жисталь Эйфель не так гордился своим произведением, как мы своим. На что она добродушно огрызнулась, назвав меня опять-таки дурой и ослихой. После некоторого раздумья Айна сказала:

– Знаешь, Этька, нам теперь ничего не страшно. Мы все умеем делать, если надо, даже дом построим.

Я сомневалась в своей способности построить дом, но тоже радовалась ощущению силы и бодрости.

Айна продолжала:

– Знаешь, чего я боюсь?

– Ранения или плена?

– Н-е-е-т, – протянула Айна. – Даже не смерти. А вот вернемся на гражданку, будем жить в городе, в домах, не видя неба, не дыша свежим воздухом. Будем вставать каждый день в один и тот же час, выходить на ту же работу и видеть одних и тех же людей. И так изо дня в день. Боюсь, вот этого я не выдержу.

Я заметила, что до гражданки далеко, и кто знает, доживем ли мы вообще до этого. Последнее было сказано для того, чтобы не искушать судьбу. В глубине души мы были уверены, что с нами ничего не случится, несмотря на то, что ви-

дели смерть почти ежедневно и она грохотала над нами неоднократно. И, действительно, до конца войны никто из девушек даже не был ранен, кроме Нинки, которая в конце войны заполучила легкое ранение в ягодицу и очень этим гордилась. Одна Варька, которая своей руганью останавливала целые колонны грузовиков, погибла от пули наших. Это произошло в то время, когда она давно оставила ночные посещения землянок командиров и перешла жить в землянку командира комендантского взвода, красивого высокого латыша. Она как истинная хозяйка приглашала нас в гости и угощала жареной картошкой с тушеным мясом из консервов и чаем или водкой – по выбору. И вот, когда мы стояли на переформировке в глубоком тылу, Варька отправилась за чем-то в соседнюю деревню и решила сократить себе путь. На повороте стоял солдатик и преградил дорогу винтовкой, потому что там проходили маневры. Варька надвинулась на него всей своей могучей статью, и солдатик растерялся.

– Куда прешь? – кричал он вслед. – Там стреляют!

Но Варька, скаля свои крепкие белые зубы, ответила:

– Я, милый мой, стреляна-перестреляна! Меня весь полк знает!

Она была убита осколком наповал. Рассказывали, что комендант, этот большой, сильный мужчина, всю ночь плакал, как дитя.

Но это случилось позже, а сейчас мы трое сидели на высоком пороге и молчали, отдаваясь счастливому напряжению и полноте жизни.

Май выдался дождливым, и ноги почти не просыхали, а ботинок и сапог (уже начали выдавать кирзовые сапоги) мы еще не получили. У многих появились фурункулы, все чихали, сморкались и даже температурили, но это считалось не болезнью, а просто неудобством.

И вот в один из этих совершенно не героических изнурительных дней меня позвали к Айне в блиндаж. Там сидел тот самый милый спокойный латыш из оружейной мастерской. Увидев меня, он смутился и произнес как бы извиняясь:

– Знаешь, мазайс, я тебе кое-что принес, может быть, пригодится! – и протянул что-то завернутое в старый мешок. Я поспешила развязать упрямившиеся веревки, и сердце билось от любопытства и гордости – ведь на фронте никто не получал посылок или подарков и даже редко – треугольник-письмецо, а я – так вообще никогда. И вот я вижу перед собой пару сапог!!! Помню их как сейчас: тридцать седьмой размер, с невысоким голенищем и широким раструбом. Сапоги не кирзовые, а самые настоящие, кожаные, не нашего армейского покроя.

– Ты не обижайся, что они немного поношенные, – произнес этот скромный сердечный человек. Мне надо было бы броситься ему на шею и расцеловать его спокойные серые глаза, но я, конечно, этого не сделала. Как я уже говорила, выражать чувства у нас не было принято. Это считалось дурным тоном и могло быть неправильно истолковано.

Когда я надела сапоги (у Айны нашлась пара сухих портянок) и насладилась сухостью ног, я спохватилась спросить:

– А где же ты их достал?

– Снял с убитого немца. Когда я их увидел, я тут же подумал, что они тебе подойдут.

Признаюсь, меня это нисколько не покоробило. Как много значило теплое, участливое отношение! Конечно, ловкачи умели достать новое обмундирование или продукты, не полагающиеся по штату, но это было "по блату", за личные услуги. Чтобы вполне объяснить, какую радость я испытала от подарка, нужно рассказать, как я получала медаль "За боевые заслуги". Первыми чувствами, когда передали приказ о награждении, были робость и гордость. (Это была первая награда в санроте.) Но по мере приближения церемонии меня обуял страх быть посмешищем всего полка: ведь мне предстояло в закругленных, как лыжи, валенках, в галифе, спускавшихся ниже колен, прошагать строевым шагом к трибуне мимо всех трех батальонов и стать по стойке "смирно" перед столиком, за которым начальство выдавало знаки отличия. Перевязывать раненых во время бомбежки было гораздо легче и проще. Не знаю, смеялся ли кто, когда я про-

ходила мимо, потому что я шла быстро, опустив глаза, устремив взгляд на утоптанный снег. Таким же манером я вернулась и вздохнула облегченно только тогда, когда встала в строю между Ханой и Евой.

Через пару дней после награждения я услышала разговор санитаров из нашей "слепо-глухо-геморроидной команды":

– Ну не говори, не все такие. Вот Манькова, она уж точно получила за боевые заслуги, а не за боевые услуги. Эта не разбирает, что командир, что боец. У ней, у Маньковой, при работе все равны.

Да, это было настоящим признанием.

Вот еще один отголосок его, который не забылся. Однажды я убирала в санпалатке. Помню, что была одна. В палатке было тихо и чисто. На ящиках, которые служили столами, а во время походов туда укладывался перевязочный материал, я раскладывала марлю, бинты и шприцы. За палаткой стоял начальник штаба, простой русский парень, с которым мне не приходилось иметь ничего общего. По ходу беседы я поняла, что там были также командиры из других полков. Разговор шел о девушках. Одни хвалили их за красоту (я знала тех, о ком шла речь, они, действительно, были красивы), другие пренебрежительно высказывались об их поведении, не стесняясь в выражениях. И тут раздался веселый тенорок нашего начштаба:

– Подумаешь, красавицы, невидаль какая! Все б...и, да и только. Я одну Манькову на десять таких не променяю. Вот уж она, действительно, медаль свою получила за боевые заслуги.

Я боялась, что командиры зайдут в палатку, но голоса стали удаляться, а меня распирала гордость.

Вскоре после этого я шла по лесу мимо обувно-вещевого склада, где восседал старшина Билушкин, милый круглолицый парень. Он окликнул меня:

– Говорят, ты медаль получила первая из всех девчонок?

Я гордо кивнула. Критически оглядев меня, он заметил:

– Медаль-то, конечно, у тебя боевая, но вид не того, не совсем боевой, шинель длинная, под ногами путается.

– Так у тебя же нет поменьше. Что же мне делать? – обиделась я.

– А ты не кипятись, я тебе кое-что припас. Есть у меня для тебя шубенка, почти что генеральская.

– Да ты что, Билушкин, очумел? Чтобы я одела генеральский полушубок?

– Не совсем генеральский. У них – из бараньего меха, а твоя шубейка – беленькая, из козьего!

И, действительно, он вынес со склада Бог весть как попавший туда белый полушубок, красиво прошитый коричневой ниткой, не подходящий ни под какой устав. Я с радостью надела полушубок, который был на мне как пальто, и очень сама себе понравилась.

– А я про тебя даже песню сложил! – и он запел на мотив знаменитой "Мурки". К сожалению, я запомнила только первую строчку: "Здравствуй, ты, Манькова, в беленькой шубейке, здравствуй, ты, Манькова, и прощай..." и т. д.

Был зимний солнечный день. На темно-зеленых ветвях елей и сосен нетронутый снег отливал синевой, а кое-где и цветами радуги. Я в белой шубейке возвращалась к себе в санроту, улыбалась темно-синему чистому зимнему небу и щурилась на яркое праздничное солнце. Но вдруг всю радость как рукой сняло. Передо мной стоял комиссар Б. и мерил меня взглядом холодных глаз. Я вытянулась и отдала честь, как полагается по уставу, но выражением лица мне хотелось показать всю ненависть, которую я к нему питала. Он не ответил на приветствие и прошел мимо. Поздно вечером меня нашла Айна.

– Этька, снимай полушубок! – коротко бросила она.

– Почему? – возмутилась я.

– Сказано тебе, снимай, значит – снимай! – и ее милое лицо замкнулось, как захлопнувшаяся шкатулка.

Трудно передать молодежи наших дней те простые и вместе с тем сложные отношения, которые существовали между нами. Айну любили в полку все, кроме тех командиров, которые напрасно домогались ее взаимности. Особенно любили ее еврейские солдаты, о латышах и говорить нечего. Они пред-

почитали обращаться к Айне, а не к еврейским врачам, потому что те, будучи евреями, боялись дать им поблажку. Айна не боялась помогать всем по уставу и сверх него. Многие раненые евреи были уверены, что она тоже еврейка, и их невозможно было переубедить. Как доказательство они приводили то, что она имеет "еврейское сердце" – народное выражение, означающее жалость и доброту. Но со всем этим она совмещала в себе настоящую, наивную преданность партии и ее представителям. Это была область чувств и мышления, которую я боялась затронуть даже в шутку. Она прерывала меня на полуслове. Я только диву давалась, как рядом с партийностью в ней уживались такая человечность и терпимость к людским слабостям.

К нам прибыл новый врач, совершенно облатышившийся еврей, не в том смысле, что он был пропитан латышской культурой, литературой, песнями, – это было вне его интересов, – но он знал все скабрезные выражения на латышском, все похабные солдатские песни и все похабные анекдоты. Вскоре он сделался очень популярен среди офицеров, в особенности у комиссара Б. Я почему-то совершенно не помню его на работе и поэтому не могу сказать, был ли он хорошим врачом. Я невзлюбила его с первой минуты и удивлялась, что Айна смеялась его скабрезностям. Когда я ей об этом сказала, она ответила: "Видишь ли, у тебя все или белое или черное, поэтому ты многого не понимаешь. У каждого человека свои слабости, а у каждой слабости есть своя причина, которая не видна со стороны. Может быть, он сильно пострадал от женщины, а может, он имел многих, доступных, но той, которая стала бы подругой на всю жизнь, еще не нашел, и свое разочарование скрывает под цинизмом". Наверное, она была права, потому что в конце концов он нашел себе девушку из другого полка, женился на ней, и, надеюсь, они продолжают любить друг друга до сегодняшнего дня.

После вышесказанного понятно, почему меня так поразило отчужденное лицо Айны без всякого выражения. На следующий день Олечка рассказала со слов своего Мишки, ко-

торый присутствовал на партийном собрании, что комиссар Б. пробирал Айну за слишком вольное отношение к девушкам, особенно к Маньковой, которая "являет собой пример расшатывания воинской дисциплины", и, как иллюстрацию, привел мою злополучную шубейку. Когда я спросила об этом у Айны, она призналась, что действительно получила выговор из-за меня, и добавила:

– А знаешь, что он сказал мне в личной беседе? Что ты ходишь по полку в этой открытой шубейке и смотришь вокруг зазывающими глазами, как настоящая б...ь, вот и на него ты так же посмотрела.

Я была настолько изумлена таким неожиданным истолкованием моего взгляда, что просто-напросто позабыла рассердиться.

– Ну, знаешь, – только и выдавила я из себя, – это уж совсем... – у меня не хватало слов выразить, что такое это "совсем". Наверное, при этом у меня было совершенно глупое лицо, потому что Айна, посмотрев, прыснула со смеха без всякого предупреждения. И тут, когда ко мне вернулась прежняя Айна, во мне вспыхнул гнев.

– Грязная сволочь он, твой комиссар! – вскрикнула я и почти задохнулась от обиды и едва не расплакалась. – Пусть он упивается своими анекдотами и спит со своей Мартой, а девушек оставит в покое!

Айна молчала, и ее молчание показалось мне очень долгим. Потом я услышала мягкий голос:

– Ладно, Этька, что ты так близко к сердцу принимаешь. Ведь ты не первый день в полку, и твое поведение всем известно. К тому же выговор получила не ты, а я, а ты ведь знаешь, что значит партийный выговор.

Да, я знала, что значит "партийный выговор", хоть и никогда не была членом партии (чего мне, впрочем, никто и не предлагал, видно, из-за недостатка "сознательности"). Глаза Айны приняли лукавое выражение:

– Видишь, что может сделать одна белая шубейка, даже комиссара Б. она навела на грешные мысли, – и она рассмеялась.

Я поняла: это был не приказ, а просьба, хорошо сдобренная ее милым юмором.

– Ладно, Айна! Я буду носить шубейку только в расположении санроты.

Айна тут же с этим согласилась.

* * *

То, о чем я хочу сейчас рассказать, произошло поздним летом. Вообще, как я уже заметила, я не помню настоящего лета, оно вспоминается только урывками. Например, летний облачный сероватый день. Мы – в походе, идем по берегу озера Селигер, которое всех поразило красотой. Оно катило мощные зеленоватые волны со свинцовым отливом, а берега были покрыты высокими соснами, не тронутыми войной. Вокруг царила тишина, нарушаемая лишь щебетаньем птиц. Было ясно, что война тут не проходила.

– Благодать! – заметил батя Танаев, счастливо улыбаясь. – Как в храме Божьем!

И, действительно, спокойная торжественность, царившая вокруг, наводила на мысль о величественном Храме. Все старались говорить тише. Даже повозочные, у которых крик и ругань сделались второй натурой, обращались сейчас к лошадям как-то утихомиренно. Цокота копыт и скрипа колес почти не было слышно, потому что эта лесная неистоптанная дорога была устлана опавшими листьями, и мы шли по ним, как по ковру. После короткой передышки мы снова тронулись в путь, но уже не по берегу волшебного прекрасного озера, и вышли в заселенные места.

Была моя очередь организовать пункты первой помощи по маршруту частей. Моей напарницей была Мэри (та, которая с посохом и двумя козочками напоминала праотца Якова). Все девушки любили выполнять такие поручения. Во-первых, потому, что позволялось найти попутку, то есть полуторку, так как мы должны были быть всегда впереди; во-вторых, мы на некоторое время выходили из военных будней; в-третьих, над нами не было никакого начальства, мы

были свободны, как птички. Перевязав стертые ноги, нейтрализовав остальные болячки таблеткой аспирина, мы бросались искать очередную возможность подъехать, желательно на машине, а не на лошадях. И вот на последнем пункте, куда мы прибыли довольно рано и наслаждались солнцем, травой, мимо нас протащился какой-то боец. Его обмундирование совершенно утратило надлежащий вид, в волосах застряло сено, солома, а взгляд был тупо устремлен в одну точку. Он прошел и скрылся в ближайшем огороде за избой. Полк начал прибывать, и мы занялись своим делом. Закончив, мы принялись упаковывать перевязочный материал, как вдруг услышали очень близко выстрел. Мы не обратили на это внимания и продолжали работу. Дверь в избу медленно открылась, и в комнату вошел боец, который недавно проходил мимо. Он остановился на пороге с протянутой ладонью, из которой капали капли крови. Я бросилась к нему и, усадив его на стул, осмотрела рану. Вокруг раны чернел круг жирной копоти. "Самострел!" За это полагались военно-полевой суд и расстрел. Мой друг Зиська (которого мы вытащили из придорожной канавы) рассказал недавно, уже в Израиле, как он был ранен в руку, черную от поврежденных проводов (он был послан на передовую наладить телефонную связь с полком). Фельдшер, увидев черноту вокруг раны, тут же крупно написал: "самострел", и Зиська попал в госпиталь. На все его уверения, что это не ожог и не копоть, а грязь от проводов, никто не обращал внимания. Ему грозила верная смерть. Когда вошел дежурный врач, фельдшер бросил ему сопроводительную записку со словами: "Вот сволочь: самострел, и еще плетет какую-то ерунду!" Доктор выслушал сбивчивый рассказ насмерть перепуганного Зиськи и приказал фельдшеру принести горячую воду и мыло. На его удивленный взгляд доктор пояснил: "Не понимаешь? Если грязь отмоется, значит, он прав. Если же нет – ты прав. А так без разбора людей на расстрел посылать – это никуда не годится". Фельдшер поплелся выполнять приказ. На добела отмытой руке зияла красная рана. Теперь даже безграмотному фельдшеру было ясно, что тут не самострел.

Но история с нашим самострелом закончилась совсем иначе. Ведь это был настоящий самострел! Что же с ним делать? Мы были одни в оставленной жителями придорожной избе. Он мог спокойно встать и уйти. Мы не могли бы его задержать.

– Вот что, милый. Тебе надо идти в госпиталь и там продолжить лечение. Тут мы тебе больше ничем не поможем.

Но тут энергично вмешалась Мэри, рьяная комсомолка.

– Ни в коем случае! Мы должны привести его в полк и сдать в Особый отдел!

Я посмотрела на бойца. Он сидел на стуле в той же позе, как и при перевязке, лицо по-прежнему было безучастным, а глаза, лишенные выражения, устремлены в одну точку. Он абсолютно не реагировал на нас.

– Мэри, хоть он и самострел, но ведь он психически болен! Разве ты не видишь? Ведь он в состоянии ступора! Ему нужна психиатрическая больница!

– Вот что, Манькова, никто в твоем диагнозе не нуждается. Наш долг отвести его в полк – а там разберутся. А кроме того, где ты тут собираешься найти психиатрическую больницу?

Она была по-своему права, но я отказалась его вести.

– Веди сама, а я не могу.

Боец продолжал неподвижно сидеть, и было не по себе от его пустого и вместе с тем напряженного взгляда.

– Пошли! – сказала Мэри, взяв его за руку. Он поднялся и машинально задвигал ногами. Мэри пошла вперед, таща его за собой, на ее плече висела его винтовка. Я шла за ними с двумя санитарными сумками и смотрела на бойца, этого живого мертвеца. Было бабье лето. Солнце светило неярко, очень ласково. Легкие белые пушистые ниточки носились в воздухе – первые признаки наступающей осени. Чуть усталая зелень деревьев чередовалась с золотою зрелостью ржи и овса. И если прибавить чувство свободы, переполнявшее нас, как птичек, вырвавшихся из клетки, то можно себе представить, как хорошо нам было. И вот передо мной шел человек, передвигая ноги, как оловянный солдатик, и мы вели

его на верную смерть. После долгой ходьбы мы прибыли в наше расположение. Мэри пошла сдавать свою "находку", а я – доложить командиру роты доктору С. обо всем, что случилось, и добавила:

– Доктор, он – больной. Он в такой глубокой депрессии, что едва сознает, что с ним происходит.

– Может быть, это его счастье, – тихо произнес доктор и добавил: – Мы уже ничем не можем ему помочь.

– Ну, а если бы мы его не привели? – спросила я осторожно.

Доктор поднял на меня большие черные, такие грустные еврейские глаза и сказал:

– Наивный вы человек, Манькова, ведь если бы не вы, кто-то другой нашел бы его. Он же – самострел. Этим все сказано. Приготовьтесь, скоро зачитают приказ о расстреле.

Действительно, военно-полевой суд вынес решение быстро – уже через час весь полк был выстроен, чтобы выслушать приговор и присутствовать при его исполнении. Я решила ослушаться приказа и не пойти, но Нинка схватила меня за руку и закричала полушепотом, слышным на всю палатку:

– Дура! Ему все равно не поможешь, а тебя начнут таскать по собраниям!

И я пошла. Полк был выстроен буквой "П". В центре стоял столик, покрытый красной материей, около него сидели трое незнакомых полковников и секретарь – военно-полевой трибунал. Приговоренный, со связанными руками, стоял около дерева, спиной к закату. И на небольшом расстоянии напротив – взвод солдат с винтовками у ног. При зачитывании приговора полк стоял по стойке "смирно". Когда раздалась команда и щелкнули затворы, я закрыла глаза. Послышался треск выстрелов, а за ним – приказ: "вольно". Я открыла глаза. Все тихо расходились по местам. Закат догорал, что-то тяжкое, угнетающее росло во мне. Расстрелянный стоял перед глазами, освещенный багряным закатом, как в ореоле. Его лицо было в тени и походило на маску. И лишь напряженный, устремленный внутрь взгляд свидетель-

ствовал о том, что он еще жив. Я видела много мертвых, своих и немцев, но это было совсем другое. Это было убийство беззащитного человека. Хотя по закону военного времени он и был виновен.

Вечером мы сидели молча около палатки. Первой взорвалась хорошенькая Мирдза, подруга Витьки из Особого отдела:

– Ну, что вы сидите, как в воду опущенные! Он же был самострелом. И ему полагается расстрел! – посыпала она латышской скороговоркой, но в голосе не было уверенности.

– Не говори, самострел самострелу рознь, – сказала Марта. – Есть которые стреляют в себя сознательно, чтобы удрать с фронта. А этот, видела, как стоял? Точно каменный, безучастный. Наверное, когда выстрелил в себя, – ничего не соображал.

Милая Марта, такая простая и такая мудрая! Как я ей была благодарна за эти слова!

Быстрым энергичным шагом приблизилась Айна:

– Чего вы тут расселись на ночь глядя? На рассвете идем в наступление. Будет много работы. Марш спать!

Девушки нехотя поднялись. Я подошла к Айне. Было очень важно знать, что она думает о происшедшем.

– Айна! Как ты думаешь...

– Ничего я не думаю, – с раздражением прервала она, – не всегда у меня есть ответы на твои вопросы, не надоедай! – и лицо ее приняло сердитое и растерянное выражение. Она повернулась и быстро удалилась.

Когда я лежала на нарах рядом с Ханой, она сказала:

– Ну чего ты так близко к сердцу принимаешь? Слава Богу, он не еврей, а гой. Пусть между собой разбираются.

Мне не хотелось возражать и вообще говорить. Усталость этого дня дала себя знать, и я заснула тяжелым сном.

* * *

Наша боевая "гвардейская латышская дивизия" потеряла большую часть первоначального состава. Пополнить ее ла-

тышами было невозможно, и к нам стали прибывать представители всех среднеазиатских республик. Узбеки и казахи очень плохо знали русский, а в обстановке фронта они совсем растерялись. Их выбросили из широких, привольных степей и пустыни в леса, часто заболоченные, в весеннюю р. тицу или в осенние нудные моросящие дожди, когда люди, земля и небо насыщены сероватой влагой. Но самое пугающее – выстрелы, обстрелы, свистящие вокруг пули, разрывающиеся с грохотом снаряды. Как выразился сердечный, добрый дядя Ваня: "Стреляют, и не картошками, и бомбы летают, и даже убить могут". При наступлении передовую поливали все виды огня. Начинали басовитые дальнобойные орудия, их снаряды выкидывали, взрываясь, тучи земли. К ним присоединялись пикирующие бомбардировщики, которые с отвратительным тонким писком сбрасывали свою смертоносную ношу. И, наконец, минометы, их мины взрывались с садистским повизгиванием. Да, тут было от чего растеряться. И когда уже начиналось само наступление, новобранцы, казахи и узбеки, совсем уже очумелые от грохота и страха, совершенно не понимающие, что с ними происходит, сбивались в кучи, воздевая руки к небу, взывали к Аллаху. И только когда снаряд или мина влетали в гущу столпившихся – выполнялась команда офицеров "разойдись!". Толпа распадалась, и горка трупов оставалась на месте, и разбросанные окровавленные конечности. Нет ничего удивительного в том, что часть из новобранцев бежала с фронта в ужасе. К тому времени уже были созданы заградительные отряды, состоящие из здоровых сытых парней, в большинстве – русских и латышей (в нашей дивизии). Их задачей было задерживать убегающих и возвращать их на передовую любым способом – угрозами, прикладами, выстрелами. Некоторые из перепуганных делались самострелами. Были и такие, которые просто накручивали бинты, чтобы пройти заградотряд и попасть в санроту. Эти побеги не рассчитывались заранее, людьми двигал животный инстинкт самосохранения.

Однажды, после очередного боя, когда начали поступать раненые, в палатку с криком "Сестра! Сестра!" вбежал низ-

корослый худощавый узбек. Он протягивал забинтованную руку. Раненый, видно, сильно страдал, потому что все время протяжно стонал. Я посмотрела: кровь не просачивалась сквозь бинт; наверное, перелом. Я осторожно разбинтовала руку, чтобы не причинять боли. Солдат продолжал стонать громко, а его лицо выражало не то боль, не то отчаяние. Я сняла повязку, но под ней оказалась другая, весьма увесистая. Когда, наконец, со всеми предосторожностями я сняла четыре марлевые повязки и три индивидуальных пакета при все возрастающих стонах раненого, то увидела загорелую, мускулистую, совершенно здоровую руку. Я уставилась на незадачливого симулянта:

– А где же рана?

Он продолжал стонать и кричать:

– Ай! Ай! Сестра, болит! Болит!

Что делать? Я знала, что дезертирство – самое худшее, что может быть на войне. Но, посмотрев на искаженное страхом лицо (то, что я вначале приняла за выражение страдания от боли), я отвернулась и принялась перевязывать раненых. Тут засуетилась Мирдза, которая считала себя представителем Особого отдела в роте. Она закричала на своем латышско-русском наречии, что она сама поведет его в Особый отдел, если он немедленно не вернется в часть.

– Мирдза, он же не понимает! – пробовала я унять ее рвение.

– Не понимает? А вот увидим!

И, действительно, солдатик уже напяливал шинель, которую я так бережно помогала ему снимать, "чтобы не причинить боль", взял "раненой" рукой винтовку и поплелся к выходу.

* * *

Прошло короткое лето, и снова осень с бесконечными дождями, непролазной грязью, застревающими пушками. Опять негде обсушиться, особенно в походах. Обозы отставали, хотя мы не очень голодали, но все время хотели есть,

особенно чего-нибудь вкусненького. Бойцы шли вяло и понуро, командиры злились и ругались, лошади выбивались из сил, а тягачи безнадежно тонули в грязи. И вот когда мы шли, с трудом вытаскивая ноги и спотыкаясь, по цепи передали команду: "Манькова! Запевай!" Правда, у меня был неплохой, довольно звонкий голос, но при такой ходьбе было не до песен. Но приказ есть приказ! И я запела. Не знаю, от кого пришел приказ, но отдавший его не был лишен здравого смысла и послал мне бойца с лошадью. Я не только не умела ездить верхом, но боялась приблизиться к такому крупному животному. Солдат помог мне взобраться на лошадь, а сам пошел рядом, ведя ее под уздцы.

– Ты, смотри, береги нашу Манькову! – кричали бойцы ему вслед.

– Ладно, мы свое дело знаем! – отмахнулся солдат.

Теперь можно запеть в полный голос. Был ветреный вечер. Облака неслись вдогонку друг другу, между ними проглядывал на мгновение месяц, обливая все сказочным светом, и тогда косой скучный дождь отливал серебром. Но даже когда месяц скрывался, тучи продолжали излучать его свет. Я проезжала на лошади шагом мимо уныло шлепающей по жидкой грязи колонны и пела. Я чувствовала, что надо петь, и начала "Землянку": "Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза". Люди устало поднимали головы, в глазах появлялось что-то – может, отзвук грусти о доме или об оставленной где-то любви.

Когда иссякли любимые мною фронтовые песни, я вспомнила старую песню о ямщике и запела: "Однозвучно звенит колокольчик, и дорога пылится слегка, и уныло по ровному полю разливается песнь ямщика". Торжественная красота мелодии и простых слов захватили всех. Изменчивым светом месяца из-за туч то тут, то там выхватывало пару блестящих влажных глаз. Я была на вершине счастья. Это, наверное, то, что называется "эйфорией". Но мне было тогда наплевать на психологические определения. Я чувствовала, что даю измученным, промокшим до нитки людям хоть некоторое облег-

чение; и вот они приподняли головы, выпрямили спины – и от этого чувства я ощущала себя так, будто парила в воздухе. Я и стрелять-то толком не умела, но в тот момент меня захлестнул восторг победы. Когда я на "своем" коне поравнялась с девушками из санроты, то без всякого предупреждения залихватски выкрикнула:

– Сидели мы на крыше, а, может быть, и выше! Сидели мы на самой на трубе! Да-да!..

И девушки дружно откликнулись:

– А ты мне изменила, другого полюбила! Зачем же ты мне шарики крутила? Да-да!..

Шедшие рядом бойцы грохнули смехом, а мы наяривали остальные куплеты.

На следующем привале был получен приказ:

– Санрота, вперед! Запевай!

Я запевала, девушки подхватывали. То ли наше пение ободрило колонну, или дорога стала лучше, но бойцы шли легко и подпевали громкими, хотя и простуженными голосами. Все это я наблюдала сверху, с седла своей смирной лошадки. Удовольствие, которое я испытывала от шествия впереди колонны, да еще – на лошади, не поддается литературному описанию.

Когда мы прибыли на место назначения, выяснилось, что это полковой комсорг, Олечкин Мишка, устроил "выступление", зная мой звонкий голос и готовность петь всегда и везде. Я не была певицей даже в полковом масштабе и не знаю, были ли у меня музыкальные способности, но иногда меня просто распирало от желания петь, и я не могла удержаться. Одна девушка-латышка, прямодушная комсомолка (потом она стала снайпером), пренебрежительно заметила, что "Манькова все поет, чтобы перед командирами красоваться". Я была обижена до глубины души именно потому, что она нравилась мне прямотой. Когда я рассказала об этом Айне, надеясь на сочувствие, она рассмеялась:

– А что плохого, если девушка поет перед командирами? Ведь мы в армии. Вокруг полно командиров и бойцов, так что же нам – совсем перестать петь? Хоть она и очень хо-

рошая девушка, но мне кажется, что она просто немного завидует. А ты, Этька, пой всегда, когда захочешь.

И я ее, конечно, послушалась.

* * *

Мы засели в обороне на подступах к Старой Руссе. Эта Старая Русса была для нас вроде Моисеевой Земли Обетованной: иногда мы приближались к ней так, что видели верхушки церквей и крыши высоких зданий. Но зайти туда нам было не дано. Итак, мы кружились и возвращались по своим следам, даже порою попадали в те самые блиндажи, которые недавно оставили. Когда в сорок первом году мы с боями проходили под Старой Руссой, меня поразило, как отличались одна от другой деревни. Были довольно благоустроенные: избы крепкие, покрыты тесом, просторные. Внутри они делились на "чистую половину" и на кухню, где надо всем царила чисто побеленная русская печь. Большой кухонный стол, лавки по стенам и пол были оттерты до желтизны. В чистой половине – горнице – по стенам были развешаны полотенца, вышитые красными петушками. Но высшим достижением красоты и благополучия, гордостью хозяйки была кровать, застланная белым полотняным покрывалом, украшенным домотканным кружевом, чистым, без малейшего пятнышка, без морщинки или складочки. Вершиной же всего была пирамида подушек, взбитых пышнее всякого крема или сливок, в белоснежных наволочках, обвязанных кружевами. Чем выше была пирамида, тем роскошнее выглядела горница. Когда я удивилась, как можно спать на такой горе подушек, хозяйка в свою очередь удивилась не меньше:

– Да разве на такой кровати спят? Это для красоты! А спать мы стелим на полу.

В этих деревнях женщины и дети выглядели прилично. Но порой мы заходили в деревни, с первого взгляда поражавшие захудалостью: большинство изб крыты соломой и как бы кланялись одна другой покосившимися стенами. Внутри тоже царила бедность, и между половинами избы, если

они вообще имелись, не было разницы. Правда, там тоже стояла кровать, но вместо перины – затасканный сенник, покрытый рядном или старым одеялом, и на него наброшены овчинные полушубки. О пирамиде подушек и речи не было. Но на этой кровати спали. Женщины, старые и молодые, были бледные и изможденные.

Моя полная фигура и щеки цвета спелого помидора вызывали у них зависть и враждебность:

– Ишь ты, сытая какая, щеки от сытости лопаются!

– Не говори! – вмешивалась другая. – Мужикам на ней мягче, чем на перине, не то, что мы, от работы высохли.

Этими своими замечаниями они попадали в самую чувствительную точку, так как моим идеалом женской красоты была высокая, худощавая, обязательно бледнолицая девушка с мечтательными глазами. Ну, а я... Но не об этом речь. Речь идет о детях. Те, которые попадались навстречу, были все с каким-то изъяном: часто – рахитичные, с тонкими ножками и вздутыми животиками, глухонемые, полуслепые... Не могу сказать, какова была причина этого страшного явления.

В избах мы видели несчастных, которые даже не показывались на свет Божий. В таких избах мы не останавливались ни на минуту. Но вот в одной такой деревне мы нашли избу почище и повеселее. Хозяйка, моложавая женщина с еще красивым лицом, не казалась озлобленной, и мы остановились у нее. Смеркалось. Хозяйка зажгла керосиновую лампу с отбитым закопченным стеклом, и мы пригласили ее с нами поужинать. В углу на разостланном на полу полушубке спали трое детей. Один мальчик лет пяти поразил нас своей красотой. Именно поразил! Его прекрасное ангельское личико улыбалось во сне, щечки разрумянились, а светлые кудряшки с приставшей соломой в беспорядке рассыпались по овчине.

– Какой прелестный ребенок!.. Прямо – красавчик!.. Ведь вы – красивая женщина!.. – рассыпались мы в похвалах.

Ребенок на минуту открыл небесно-голубые глазки, по-

дернутые сонной пеленой, и тут же снова погрузился в счастливый сон. Женщина выслушивала наши искренние восторги и не отвечала. На следующий день, когда мы проснулись, в избе давно все встали, хозяйка ставила в печку чугунок, двое детей сидели на лавке у стола, ели хлеб и ждали, когда сварится похлебка. Нашего, так полюбившегося с первого взгляда мальчика мы не видели. Мы стали его искать. Вот он! Ребенок сидел на полу, опершись о стенку, и держал в руке ломоть хлеба. Кажется, Олечка-маленькая нашла у себя пару кусочков пиленого сахара и поманила ребенка. Его глазки заискрились синим огнем, а губы, настоящие лепестки розы (сравнение хоть и затасканное, но точное), обнажили в улыбке сочные белые зубки, и он начал приближаться. Нет слов передать, что мы почувствовали в этот момент. Он подтягивался на руках, и нижняя часть тела тащилась за ним, как тряпка, по полу. И я вспомнила ужас, который я испытала однажды при виде кошки, которой мальчишки перебили хребет. Но то была кошка. А здесь ребенок, прелестный, как херувим. Старшие дети продолжали уплетать хлеб, с жадностью поглядывая на сахар в руке Олечки. Мать отвернулась к печке и быстро провела рукой по лицу, как бы вытирая пот, хотя стояла зима и в избе было нежарко.

Не говоря ни слова, мы выложили на стол все скудные запасы питания и военторговское розовое душистое мыло. У меня, конечно, никаких запасов не оказалось, и я протянула мою ядовито-розовую кофточку, вызвавшую в свое время гнев комиссара Б. Больше в этой деревне мы ни в какие избы не заходили.

Когда через несколько месяцев мы прошли по тем же местам, деревни потеряли последние признаки благополучия. Вышитые полотенца, покрывала, обшитые кружевом, перины, горы подушек – все исчезло. Все избы были одинаково выстужены, серы и грязны от бесконечного количества стоявших в них бойцов. Да и немцы побывали здесь. Обычно, если население им чем-то не угождало, они угоняли людей в рабство, в рабочие лагеря, а деревню сжигали. Часть жителей сопротивлялась, другие научились угождать, третьи сносили

все терпеливо. Кроме того, немцы назначали местную власть, которая зверствовала хуже них самих. Ситуация была сложная. Но все это я поняла гораздо позже. Тогда же я, как и другие, была уверена, что население видит в немцах заклятых врагов и ненавидит их всей душой. Поэтому было дико слышать, как одна хозяйка рассказывала, какой хороший был немец, стоявший в ее избе, как он приносил ей шоколад, консервы и другие продукты. В наших глазах она была бы предательницей, если бы не откровенное простодушие, с которым она все это выкладывала.

А кто действительно поплатился за "дружбу с идеологически нестойким местным населением", так это начальник штаба. Он связался с миловидной и веселой бабенкой, которая во время оккупации жила с немцем. Ее и начальника штаба обвинили в измене Родине и арестовали.

А вообще, в этих бедных разоренных деревнях жизнь шла своим чередом и даже играли свадьбы. На одной из таких свадеб мы были. На траве возле дома невесты стоял длинный стол, вокруг – скамейки. Стол был накрыт скатертью, и на нем выщербленные тарелки с угощением: картошка в "мундирах", селедка, свежие огурцы и соленые, квашеная капуста. Над всем этим великолепием возвышались бутылки с мутной жидкостью – самогоном. В центре восседала невеста – здоровая, ширококостная девушка лет двадцати, в цветастом платье, видно, только вынутом из сундука. Справа пустовало место, предназначенное для жениха. Гости уже сидели вокруг стола, а жениха нигде не было видно. Среди гостей нарастало недовольство: зеленоватые бутылки поблескивают и подмигивают – возьми, мол! А виновника торжества все нет.

Наконец, одна из мамаш (то ли жениха, то ли невесты) не выдержала:

– И куда он запропастился, черт вихрастый?! Чтоб его поразило! Витька! Сбегай, поищи!

– Да чего искать-то, – солидным басом отвечал Витька, мальчишка лет десяти, которому тоже очень подходило быть "чертом вихрастым". – Они же все на лугу в лапту играют!

Мы переглянулись: наверное, жених – недоумок!

– Тащи его мигом сюда! – приказала мать, и Витька со всех ног бросился за пропавшим женихом.

Нам уже было очень любопытно увидеть пресловутого жениха. И вот приходят двое мальчишек: Витька и с ним жених, постарше года на два, оба запыхавшиеся, вихрастые. Жених – курносый, веснушчатый, самый что ни на есть нормальный мальчик.

– Так он же совсем еще маленький! Ему же не больше двенадцати! – заволновались мы.

– Да чего двенадцать! Ему уже полных четырнадцать! Он и лошадь запрягает, и в поле все работы знает, ну и выпить не дурак! Мужик что надо! – возразила одна из женщин.

– Ну, а чего не знает, так она его научит, на то она и жена! – крикнула веселая молодая солдатка, подмигнув приглашенным на свадьбу военным (местных мужиков давно "угнали" на фронт).

Хохот. Сам жених с солидностью поместил свое детское тело около крупной, мускулистой невесты, налил стакан самогона и, крякнув, одним духом, не поморщившись, выпил. Это было веское доказательство того, что он мужчина. Кроме нас, "выкувырованных", никто не удивлялся. Видно, такого рода свадьбы были обычным явлением.

Однажды мы прибыли на очередное пополнение в деревню, где разместилась какая-то русская часть. В избе напротив остановился лейтенант из "типичных". Он, видно, служил в снабжении, так как хозяйка не могла им нахвалиться: какой спокойный, самостоятельный, непьющий, приносит сухари и консервы. На подковыристый вопрос нашей хозяйки, чем же это он так хорош, соседка отвечала:

– Уж очень он мою Нюрку любит. Так любит, спать без нее не ложится. Так и сказал: "Мамаша, разрешите вашей Нюрке в моей комнате спать. Я без нее заснуть не могу".

– Ну, и разрешила? – полюбопытствовала наша хозяйка.

– А чего ей сделается? Пусть спит, раз он так ее любит.

Нам стало любопытно, что это за Нюрка такая. Но мы не видели в доме ни одной девушки. И вот рано утром на двор

вышла худенькая белобрысая девочка лет десяти от силы, с двумя торчащими косичками, с полотенцем на плече, с ковшом и ведром воды. Следом вышел полуголый лейтенант, сладко потягиваясь со сна. Ущипнув по дороге Нюрку, он бросил ей, как настоящей жене: "Ладно, давай, поливай!" И эта тщедушная невзрачная девочка поливала ему на руки, как заправская жена своему мужику.

Мы, еврейки, молчали, городские латышки презрительно отвернулись, а деревенская Марта только сплюнула в сторону.

* * *

Нашим пополнением была новая фельдшерица Тая, русская девушка, живая, очень подвижная, хорошенькая, сероглазая. Тая была грамотной фельдшерицей и хотя относилась к комсоставу (младший лейтенант), вела себя просто и подружески.

И еще прибыл новый врач, судя по фамилии – Кох, – из обрусевших немцев.

Мы все, естественно, были в курсе интимной жизни друг друга, но не из-за взаимных излияний, которые не имели места в нашей жизни. Мы были молоды, но одиноки в этой тесноте. "А ведь годы проходят!" Почти у каждой был "друг", которого все знали и принимали как своего. И все-таки Тая поразила нас своей жаждой мужчин. Она "любила", не разбираясь ни в месте, ни во времени, ни в объекте любви. Когда на нее находило, она набрасывалась на первого попавшегося, кто в этот момент был под рукой. Вместе с тем она была отзывчивой, жизнерадостной и знала толк в работе. Я любила с ней работать. Однажды во время ее очередной отлучки из палатки доктор Кох с улыбкой заметил:

– Ну что, Тае снова приспичило?

Я молчала, а он продолжал:

– Знаете, она не виновата, она не по своей воле отлучается.

Я очень удивилась:

– А кто же ее заставляет?

– Манькова! – удивился в свою очередь доктор Кох. – Я слышал от врачей, что вы хоть и не фельдшер, но в медицине разбираетесь почти как врач.

Я переполнилась гордостью и хотела скромно ответить: "Что вы, доктор..."

Но он продолжал:

– Как же вы не понимаете, что у нее болезнь щитовидной железы? Разве вы не видите, как она жадно ест, как она неспокойна? У нее все процессы в организме усилены и ускорены. Она не может бороться с собой – ей надо лечиться.

– А мужчины, конечно, пользуются.

– Что вы, Манькова, разве это значит "пользоваться"? Это значит – помочь в беде!

– Ну а вы тоже... между "помощниками"? –покосилась я.

– По мере сил и возможностей... – улыбнулся доктор и уже серьезно добавил:

– Вы, Манькова, уже взрослая девушка, а может быть, и женщина, а понятие о жизни у вас литературное. Жизнь человеческая – многоликая. Да, я ей помогаю, а она помогает мне избавиться от нестерпимого желания женщины. В этом нет ничего худого. Мы оба не обманываемся и знаем, на что идем. А у вас, может, желания не проснулись, поэтому вам трудно понять и легко судить.

Я, наверное, сильно покраснела.

– Ладно, чего краснеть! Давайте работать! – улыбнулся он.

Скоро вернулась Тая, оживленная и веселая. Мы ожидали раненых. И они прибыли – пешком, поддерживая друг друга, на носилках и даже на самодельных санях, в которые были впряжены собаки. Последнее было большой редкостью и продолжалось недолго: собак было трудно дрессировать для этой работы, а эскимосов среди нас не имелось.

К тому времени появились первые санитарные машины, но их было слишком мало, транспорта не хватало, и Варька продолжала стоять на своем посту.

Поток раненых не прекращался. Мы шли в наступление,

и к нам был прикомандирован полк тяжелой артиллерии – кроме артполка нашей дивизии, где служил доктор Л., которого я старалась забыть, но не очень успешно. Помню, вечером мы сидели в санротной палатке и шили какие-то мешки. Наверное, для сенников. Было тепло, уютно, празднично блестела медь самодельных ламп, сделанных из снарядных гильз. Мы шили и напевали, и латышки попросили спеть старую революционную песню о латышских стрелках. Я пела и была очень сосредоточена на шитье, так как в нем я не особенно сильна. И вдруг почувствовала, что все смотрят на меня. Я оглянулась. У входа в палатку стоял доктор Л. Сердце стало проваливаться в какую-то пропасть. Я опустила глаза и продолжала петь, всеми силами стараясь, чтобы голос не дрожал. Иголка втыкалась в мешковину вкривь и вкось, убегая от места шва...

Итак, к нам был прикомандирован артполк. Командиром был полковник огромного роста, богатырского сложения, с татарским лицом и такой же фамилией. Артиллеристы расположились рядом с нами. Когда вражеская артиллерия их засекла, снаряды падали и на нас. Полковник, конечно, навестил нас ("все дороги ведут в санроту"), но девушки отнеслись к нему с опаской. А Тая сразу влюбилась – по-настоящему, телом и душой. Она перестала отлучаться в неподходящие часы, а получала разрешение на отлучки в артполк. Наступление выдохлось, и мы стояли в обороне. Тая возвращалась умиротворенная, со счастливым блеском в глазах. Но вот она начала бледнеть и хиреть. И не так уже порывалась в артполк, а в свободное время много лежала. На наши вопросы отмахивалась или слабо улыбалась: все в порядке. Однажды она уединилась с Айной, и они долго говорили. Затем Айна распорядилась срочно отправить ее в госпиталь. На вопрос, что случилось, Айна ответила: серьезно заболела.

– Но чем она заболела? – допытывалась я.

Айна, собиравшаяся уже уходить, повернулась резко и, усадив меня напротив, сказала тихо и очень строго:

– Этька, то, что мы годы дружим и вместе переживаем опасности войны, не означает, что у нас не может быть что-то

скрыто друг от друга. Каждый человек имеет такой уголок в душе, до которого никому не должно быть дела. И это надо уважать, поняла?

Я поняла и, пристыженная, пошла к себе. Некоторые латышки, недолюбливавшие Таю за непоседливость, перешептывались на ее счет. Но при появлении Айны умолкали. Айна была настолько равнодушна к сплетням, намекам, перешептываниям, что при ее появлении они теряли всю прелесть. А если кто-то не мог удержаться, Айна прерывала на полуслове: хватит болтать, или: тебе что, делать нечего?

Прошло около месяца, и Тая снова появилась в роте, но это была не она, а ее тень. На побледневшем лице, прежде таком задорном, выделялись выпуклые серые глаза, потерявшие свою беззаботность. Мы собрались вокруг и оживленно расспрашивали о планах на будущее: остается она у нас или переводится в артполк. Тая сидела, болтая ногой, выглядела обиженной, оставленной девочкой.

– Нигде я не остаюсь, девчата, я демобилизуюсь.

Мы уставились на нее: до сих пор не было случая, чтобы кто-то демобилизовался.

– Ну, а как же твой полковник? – спросили мы.

– Полковник? – усмехнулась Тая, и две морщинки обозначились в уголках ее рта. – Я его даже не видела.

– Как, не пошла проведать?

– Пошла, – безжизненно отвечала Тая. – Пришла я к дому, постучала в дверь. Выходит высокая красивая женщина, с длинной косой, и спрашивает: "Вам кого?" Я назвала какую-то фамилию. А она отвечает, что такой не проживает, а живет тут полковник З. Я извинилась и ушла.

Мы проводили Таю до проезжей дороги и подождали, пока она села в попутную машину. Нам было грустно.

Прошло больше месяца с тех пор, как мы распрощались с Таей. Иногда мы вспоминали, жалея, но, в общем, она ушла из нашей жизни. Мы были погружены в постоянно изменчивые и так устоявшиеся будни. Зима начала сдавать. Снег сделался рыхлым, ноздреватым. К нам по-прежнему заходили командиры из других подразделений и знакомые из

чужих частей. Поэтому, когда в пределах санроты появился рыжий старший лейтенант с пухлыми красными щеками и острыми серыми глазками под низким лбом, мы отнеслись к нему более чем равнодушно.

Было тихое время: мы стояли в обороне. Раненые прибывали редко, и мы дежурили не более чем по двое. Но вот в палатку вошла Айна своим энергичным шагом.

– Этька, зови девушек! –и, оттолкнув мой вопросительный взгляд, сердито прикрикнула: – Ну иди, чего стоишь!

Девушки, удивленные не менее меня, собрались, и Айна высказалась с необычной резкостью:

– Вот что, девушки. Прибыл военный прокурор по гражданским делам и, наверное, станет вас расспрашивать. Ваше дело – не умничать и отвечать всю правду, то есть что вам ничего неизвестно, и не пускаться во всякие сплетни, которые девчонки любят!

Латышки переглянулись, но смолчали. Я совершенно не понимала, что значит военный прокурор по гражданским делам и какие у него могут быть дела в санроте; но, изучив до малейших деталей Айнин характер, решила отложить вопросы, чтобы опять не казаться "дурой" и "ослихой". Когда мы остались вдвоем, я все выложила:

– Какие могут быть у нас гражданские преступления?

Айна неуверенно отвечала:

– Ну, кража, например.

– Какая может быть кража, если все наше имущество – военное обмундирование и "предметы роскоши" из военторга?

Айна была неспособна хоть немного приврать, и, если по каким-то причинам не могла сказать правду, начинала сердиться. Так и сейчас, цыкнув, чтобы я не приставала с вопросами и наградив меня уже известными титулами "мулихи" и "ослихи", она махнула, как крылом, пологом санпалатки и оставила меня одну.

Вскоре ворвалась взбудораженная Хана:

– Знаешь, о чем он разнюхивает? – и скороговоркой оповестила, как она "случайно" зашла в землянку незаме-

ченной и подслушала беседу Мирдзы с другой девушкой. Оказывается, на том месте, где два месяца назад стояла санрота, в порыхлевшем снегу нашли тельце новорожденного.

Это было так дико, что я в первую минуту не поверила.

– Врет она! Откуда ей это известно? – закричала я.

Хана сощурила длинные карие глаза:

– Это нам с тобой неизвестно, а ей, может, ее Витька сообщил, ведь это преступление, и Особый отдел должен о нем знать, а может, ей известно от комиссаровой Марты, ведь они подружки.

Я вспомнила холодный ветреный день, когда Айна с жестким замкнутым лицом укладывала съежившуюся Таю в санитарную машину (что было тогда большой редкостью). Глаза Таи были подернуты пеленой, а под ними синели темные круги. Она выглядела вдруг похудевшей и бесцветной, а главное, очень несчастной. Айна укрывала ее одеялами и даже подложила под голову откуда-то взявшуюся подушечку, но было странное несоответствие между заботливыми руками и отсутствующим лицом Айны. Мне хотелось сердечно попрощаться с Таей, расцеловаться и пожелать ей быстрого выздоровления, но Айна отрицательно покачала головой...

Я содрогнулась. Значит, в ту студеную ночь, когда ветер упорствовал в желании сорвать брезентовый полог нашей палатки, а между небом и землей кружился в свистопляске снег, эта маленькая женщина извивалась на снегу в родовых схватках. Что руководило ею? Отчаяние? Мужество? Жестокость? А мы спокойно спали вокруг накалившейся печки и, может быть, видели счастливые сны.

Примерно так я высказала все Айне, конечно, не называя имени. Айна глядела в огонь на раскаленные угли (да, печурки существовали не только в песне).

– Видишь ли, Этька, надо доверять людям. А она, несмотря на кажущуюся веселость, была очень одинокой и никому не доверяла.

Айна тоже не назвала имени, но мы понимали друг друга.

– Люди бывают разные, – возразила я и ясно представила злые глаза комиссаровой Марты и ее тонкие губы, вытя-

нувшиеся в язвительной усмешке. Айна бы, конечно, не приняла этого примера, потому что для нее Марта была все-таки своя, а я, хотя и ее друг, была все-таки... ну, не совсем своя. Может, Айна вовсе так и не думала, но я так чувствовала всегда.

Но сейчас меня мучило совсем другое. Ведь она убила своего ребенка! Это было... какая-то тьма и жуть, выплывшая из пропастей звериных инстинктов, понятие о которых не вмещалось в моей голове, а сразу вызывало всеподавляющий неведомый ужас. Хотя мы были поглощены войной, то есть встречались со смертью каждый день и приходили в восторг, когда сбитый немецкий самолет метеором падал на землю вместе с горящим летчиком, но чтобы мать могла убить своего только что рожденного ребенка?! Это даже не звериный инстинкт: самка облизывает и бережет детеныша, а тут женщина, человек, лишила жизни свое дитя. Значит, она хуже зверя? Но ведь мы ее знали, и многие питали к ней искреннюю симпатию!

Айна выслушала мою тираду, не поднимая головы, с напряженным лицом. Она заговорила тихо, как бы думая вслух:

– Странно, мы живем вместе долгое время. Спим, работаем, едим и веселимся вместе, а что мы знаем друг о друге? Что нам известно о чувстве безысходности одинокой беременной женщины во время войны, когда она несет в себе семя отвергнутой любви? А может быть, именно эта беременность и есть причина охлаждения того, кого она полюбила по-настоящему первый раз в жизни? Вот она освободится от этого ненавистного разлучника любви, который завладел ее телом изнутри, и все пойдет по-старому. Она станет опять легкой и веселой, и ее любовь вернется к ней.

Глаза Айны похожи на два темных тихих озера.

– Ты что?.. Ты ее оправдываешь?!!

– Нет, – проговорила Айна, – я стараюсь понять.

– А разве это обязательно – все понимать?

– Да, – ответила Айна, – я не думаю, что понять – это простить, как нас учили с детства, но понимание отличает человека от просто человеческой особи.

Я молчала, подавленная богатством ее внутреннего мира. Но лицо ее приняло – как всегда, без переходов – обыкновенное, то есть энергично-оживленное выражение.

– Вот что, Этька, если ты будешь нуждаться в помощи, ты обратишься прямо ко мне. Решено?

Она прочла ответ в моих глазах и, совсем повеселев, добавила:

– А теперь давай, заваривай чай! Я получила баночку настоящего клубничного варенья.

На следующий день нас поодиночке вызывал к себе рыжий военпрокурор по гражданским делам.

При вопросе о болезнях, которыми болели девушки, я рассказала, как я сама была больна и лежала в госпитале. Бледно-голубые глаза военпрокурора заблестели под белесыми ресницами. Но в продолжение многословного рассказа он узнал, что это было год тому назад из-за инфекции в натертой ноге, поскучнел и потерял ко мне всякий интерес.

* * *

Осень 43-го года. Морось, слякоть, лужи. Мы давно перестали беспорядочно отступать. Теперь мы и отступали, и наступали, стояли в обороне и двигались вперед, хотя и безрезультатно, но достаточно организованно. В один из серых дней, когда мы стояли в обороне в лиственном лесу, который и летом не просыхал, а сейчас был сплошным болотом, меня вызвал мой друг из оружейной мастерской и предложил погулять. Я любила бывать в обществе этого милого образованного человека. С ним было интересно и всегда ясно на душе.

– Знаешь, мазайс, я принес тебе подарок.

Я посмотрела на свои сапоги, которые мне так честно служили, и ждала, чем он порадует меня на этот раз. Мы углубились в чащу леса и присели на поваленное дерево. Он вынул из кармана гимнастерки пакетик, обернутый в газетную бумагу и перевязанный тоненькой бечевкой. Не похоже ни на сверток с одеждой, ни на банку консервов. Он бережно

разворачивал, а я с любопытством следила за его рукой. На его ладони лежал квадратик светлого дерева с вырезанными лицами Богоматери и младенца. Резьба была покрыта темной ореховой краской и совсем не походила на иконы, виденные мною во множестве в Латвии. Лицо Богоматери было узкое, строгое, взгляд устремлен на ребенка, уголки губ чуть приподняты в материнской улыбке. Сам же Иисус сладко спал и, казалось, вот-вот чмокнет губками во сне. Только через пару дней, когда дежурила в палатке и была одна, я рассмотрела эту замечательную миниатюру. Прелесть ее мне помогла понять та же Айна. Но в первую минуту, увидев подарок в свете серого дня, в тени густой листвы, я только всеми силами постаралась, чтобы мое лицо, ясно выдававшее мои переживания, не отразило сильнейшего разочарования. Добрые глаза друга выражали гордость и что-то еще, чего я не понимала.

– Красиво? – спросил он, глядя с любовью на миниатюру.

– Прекрасно! – воскликнула я и продолжала врать без зазрения совести: – Особенно выражение лица (тогда, в полутьме, я его не разглядела). – Он поднялся и, сказав, что сейчас вернется, скрылся в лесу. Я старалась внимательней осмотреть вещицу, но сумерки сгущались, и я бережно завернула ее в газету и спрятала в карман гимнастерки.

Вскоре он вернулся, в руках был букетик фиалок, настоящих блоковских фиалок. Невдалеке не переставала бухать тяжелая артиллерия. Рядом с истерическим визгом взрывались мины, а тут мне приносят фиалки, просто так, ничего не спрашивая и ни на что не намекая.

Итак, романтика, на которой я была воспитана, все-таки существует! И где? Там, где все человеческие отношения, казалось, упростились до минимума, в особенности – между мужчиной и женщиной: у большинства командиров имеются свои ППЖ, а бойцы подходят к этому вопросу еще проще: если какой-нибудь солдатик еще до смерти не устал и на глаза попадалась девушка, он деловито спрашивал: "Даешь или не даешь?" Если отказывали, миролюбиво посылал к "такой-

то матери" и, не теряя драгоценного времени, тут же засыпал, похрапывая.

Но букет фиалок – это из другого мира. Даже не мира моего прошлого, а мира моей мечты. И маленькая дощечка с резьбой, и фиалки, которые мне даже некуда было поставить, и все это – "зазря", как выражалась тетя Оля, сторожиха в расторгуевском санатории матери и ребенка, речь о котором пойдет дальше. Подарки, такие прекрасные и бесполезные, прекрасные своей бесполезностью.

Я вставила несколько цветков в петлю шинели, а остальные решила занести Айне. Мы вернулись в санроту. У Айны горел свет, раздавались ее смех и серьезный мужской голос. Я постучалась, Айна чуть приоткрыла дверь; поблагодарила за фиалки как-то рассеянно и плотно закрыла дверь перед нашим носом, даже не пригласив войти, что было на нее непохоже. Я очень обиделась, потому что всю дорогу представляла себе, как она обрадуется цветам. Мой взрослый всепонимающий друг, приподняв за подбородок мою голову, улыбнулся и сказал, как взрослый, обращаясь к ребенку:

– Дурочка, ведь у Айны гость.

– У нее всегда гости! Но она никогда не захлопывала передо мной дверь!

– То – гости, а это – гость! – отвечал он серьезно, а морщинки вокруг глаз улыбались.

– Да что это за гость такой важный? – не успокаивалась я.

– Это подполковник Р-рг.

Я удивилась, так как была уверена, что знаю имена всех друзей наших девушек, в том числе и друзей Айны, но это имя я слышала впервые.

* * *

Во время длительных стоянок комсорги старались наладить "общественную жизнь": привозили дивизионный ансамбль, какую-нибудь самодеятельность и т. д. Особенно старался комсорг одного батальона, красивый статный парень,

еврей. По виду, разговору, воспитанию он был совершенно русским. Ему, конечно, было не миновать санроты. Но как комсорг он не приходил просто в гости, а всегда с каким-нибудь делом. Однажды он пришел с предложением организовать самодеятельность, что мы и сделали немедленно. Олечка и Лидочка сплясали "русского" и были очень милы. А я представила парикмахера, который пытается побрить разговорчивого и жестикулирующего командира. Солдаты хохотали, а когда сценка закончилась, разразились рукоплесканиями. Наше выступление давало им редкую возможность отвлечься от военных будней.

Как-то после одного скучного концерта, на котором городская певица пела старинные романсы, знакомые командиры пошли нас провожать. Среди них был и батальонный комсорг, как обычно, ответственный за этот концерт. Я раскритиковала в пух и прах "культоргов" (организаторов культработы), привезших эту "подержанную" певицу с ее классическими романсами, и думала, что комсорг начнет меня распекать и доказывать, что "массам на фронте нужна культура". Но он рассмеялся и хлопнул меня по плечу. Когда мы пришли в расположение роты, компания распалась: у кого была подруга, остался с нами, с остальными мы распрощались. Новый комсорг хоть и хлопнул меня по плечу, но провожать пошел Лидочку. Я посмотрела им вслед: оба стройные, красивые и очень подходят друг другу. С тех пор комсорг часто посещал нас.

Однажды вечером он зашел в санитарную палатку, когда я дежурила.

– Позвать тебе Лидочку?

– Нет, я подожду здесь.

Я объяснила, что Лидочка свое дежурство кончила и сюда не придет, но он не спешил уйти. Мы заговорили о самодеятельности в полку. Я вспомнила, что в артиллерийском взводе "сорокапятки" (сорокапятимиллиметровой пушки, о которой солдаты нежно говорили: "Ну, вот, наша "сорокапятка" закашляла") есть некий Сегаль, который играет на гитаре. Комсорг обрадовался, и мы стали строить планы.

– Я слышал, Манькова, что ты хорошо поешь?

Я была польщена, но, призвав всю свою скромность, ответила, что не знаю, хорошо ли, но петь люблю.

– Вот и споешь под гитару!

Было около десяти вечера, мое дежурство заканчивалось. Он попрощался и вышел из палатки. У входа я проводила взглядом его подтянутую фигуру. К Лидочке он не пошел.

* * *

Мы все еще стояли в обороне. Раненых и больных почти не было. Но вдруг началась эпидемия странной болезни – "куриной слепоты": в сумерках и в темноте больные ничего не видят. Днем – боец как боец, а стемнеет – и он инвалид. Эта болезнь развивалась из-за нехватки витамина "А". Мы и командиры заставляли солдат каждое утро выпивать кружку горчайшего хвойного настоя. Они увиливали. Я сама однажды выпила целую кружку этой гадости (нужно было подать пример), а потом в рот ее не брала. Никаких фруктов, овощей и молочных продуктов все эти годы мы и в глаза не видели. Так что витамину "А" взяться было неоткуда.

Симулировать эту болезнь было очень легко. К нам потянулись жалующиеся на слепоту. Приходилось полагаться на находчивость фельдшеров, так как никакой аппаратуры для проверки зрения не было. Фельдшеры направляли настоящих и мнимых больных – "шагом марш!" – в канавы, полные воды, или на какой-нибудь пень, острый камень или торчащий острый сук лишь для того, чтобы они на это напоролись и поранились. Фельдшер неслышно шел за проверяемым. Если боец симулировал, он инстинктивно приостанавливался перед препятствием и на этом немедленно "выздоравливал".

Были попытки симулировать контузии. Тяжелые контузии изображать трудно: у контуженных мутный взгляд, устремленный в "никуда", они не реагировали на пищу и даже на водку; сидели неподвижно, иногда вскакивали, дико

вскрикнув, и тут же бессильно опускались на место. Это были тяжелобольные люди, и обычно после нескольких часов проверки их отсылали в тыл. Я спрашивала у врачей, что происходит с организмом при контузии, но они признавались, что не могут этого объяснить. Были и легкие контузии, когда нарушался слух.

И тут перед симулянтами открывалось широкое поле деятельности. Приходит солдатик с передовой и жалуется, что, мол, ничего не слышит. Конечно, мы не стреляли у него над ухом, как бабелевский возница-революционер, который каждое утро стрелял над ухом дьякона, подозревая его в симуляции, пока тот, действительно, не оглох. Мы пробовали устраивать неожиданные шумы за спиной оглохших, но симулянты были начеку и научились владеть своими рефлексами. Когда находчивость фельдшеров иссякла, вызвался помочь начальник аптеки. Это был пожилой еврей, ветеран первой мировой войны. Нам он внушал, что военное начальство всегда и везде одно и то же. Начальство надо "поедать глазами" и на все отвечать: "Есть, товарищ командир!", и все будет в порядке. Исполнять приказы необязательно. Во-первых, может последовать приказ: "Отставить!", во-вторых, вдруг снимут тебя с места, в-третьих, по каким-то причинам могут сменить командира. Выполнять следует разве в том случае, когда нет выхода. При всей своей "теории" он был хорошим начальником аптеки, и у нас не было недостатка в медикаментах, полагающихся по штату. И вот он изобрел метод разоблачения симулянтов. Фельдшера изощрялись за спиной испытуемого, начаптеки стоял в стороне и наблюдал за его выражением лица. Если по лицу проверяемого нельзя было ничего понять, он подзывал фельдшера и свистящим, далеко слышным шепотом говорил:

– Видишь, он – закоренелый симулянт, веди его в Особый отдел.

Если слова попадали в точку, то при обращении "пошли!" солдатик угрюмо отмахивался:

– Ладно уж, давай винтовку. Я в часть вернусь.

И "мучители" отпускали его с миром. Но если боец с за-

мкнутым, отсутствующим лицом шел, куда вели, то его отправляли в тыл лечиться – не было сомнения, что он действительно контужен.

* * *

Мы готовились к полковому празднику. Деятельный комсорг привел гитариста, о котором я ему рассказала. Это был полный рыжий еврей, очень хороший музыкант, в свое время он играл в рижском струнном оркестре. Мой аккомпаниатор был в отчаянии от моей музыкальной безграмотности и все порывался сыграть вступление, я же неизменно запевала слишком рано. Наконец он рассердился:

– Ладно, начинай когда хочешь, а я тебе подтренькаю на гитаре.

И я залилась, абсолютно не обращая внимания на отчаянные знаки аккомпаниатора: "Вдоль по улице метелица метет". Слушатели, бойцы и командиры были довольны: "Хорошо, девушка, поешь. Только рыжий не давал тебе разойтись". Я, конечно, хорошо понимала, что перед более взыскательной публикой это был бы полный провал.

После концерта были танцы, и я, как всегда, ушла, потому что в сапогах 38-го размера вместо 34-го я не могла войти в ритм и легко двигаться. Я быстро шла по направлению к санроте, отдаляясь от хриплого патефонного вальса.

– Ты почему ушла, Манькова? – услышала я знакомый голос.

– Я не танцую, – буркнула я, продолжая идти.

– Почему? – удивился батальонный комсорг.

Что я скажу? Что я неуклюжая? Что двигаюсь невпопад? Разве может девушка в этом признаться? Но делать нечего:

– Я не умею танцевать.

– Не умеешь? Ну, это дело мы исправим!

И я впервые почувствовала, что интересую его не только как участница самодеятельности. Но от этого не легче. Стоит начать танцевать, как обнаружится моя неуклюжесть. И нечего исправлять! Я иду в санроту!

– Нет, так не пойдет! Давай сперва попробуем, а если не получится, я тебя провожу.

Музыка доносилась сюда. Издали звуки вальса были нежнее и чище.

– Не робей, Манькова! – и он медленно повел меня по полянке.

И тут все преобразилось. Куда девалась неуклюжесть?! Мои сапоги и я сама потеряли вес, и я кружилась в вальсе, ведомая уверенной рукой. Мы были одни. Мы, и деревья, и светлый месяц. Он не прижимал меня и не пробовал целоваться, а только глядел сверху вниз и чуть-чуть улыбался.

– И что ты наврала, что не умеешь танцевать? Смотри, как славно покружились. Давай вернемся на праздник и потанцуем.

Я почувствовала беспредельное доверие к этому малознакомому парню, и мне стало весело.

– Пошли! – и, взявшись за руки, мы пошли на звуки музыки.

Когда мы танцевали, я смотрела только на него. И уж не знаю, каким образом у меня получались все танцы. Я чувствовала, что девушки перешептываются на мой счет – в этой роли я была им совсем незнакома. Но и я, видно, тоже себя еще толком не знала. Его отозвали. Я осталась стоять в сторонке. Прежнее чувство неловкости и отверженности совершенно прошло. Наоборот, меня переполняла гордость за того, с кем я танцевала: никто из парней не был так хорош. С другими танцевать не хотелось. Но подошел знакомый добродушный силач из орудийного расчета, который не раз своими руками вытаскивал пушку из грязи.

– А я и не знал, что ты так здорово отплясываешь! Пошли танцевать!

Он был хороший парень, не хотелось его обидеть, и мы вошли в круг. После двух-трех кругов он поднял меня и закружил в воздухе. Сверху я увидела комсорга: он смотрел с изумлением, и было в его взгляде еще что-то, чего я не поняла. Рядом, положив руку ему на плечо, стояла Лидочка и улыбалась: видно, они остановились посреди танца. Желание

танцевать сразу улетучилось. Пластинка кончилась, и могучие руки моего партнера опустили меня на землю.

"Значит, весь его интерес ко мне – воспитательный прием! Хороший комсорг должен поднимать дух своих солдат! А я-то, дура, подумала, что это начинается что-то прекрасное. Ладно, черт с тобой. Не нужны мне твои улыбки и твои танцы".

Я повернулась и ушла с танцев теперь уже насовсем. Я шла, казнясь уязвленной гордостью, и сердилась не на него, а на себя: скоро, слава Богу, двадцать третий год, а ударяешься в мечты, как шестнадцатилетняя девчонка!

И тут меня настиг артиллерист-богатырь.

– Куда ты заспешила, Манькова? Ведь танцы не кончились. А я тебя искал.

– Я не хочу больше танцевать. Кроме того, мне нужно сменить дежурную по роте.

– Может, я тебя чем-нибудь обидел? Прости! Это потому, что руки у меня больно сильные.

Я ответила, что я совсем не сержусь, и, вообще, всем известно, какой он хороший парень.

– Ну, докажи, что не сердишься. Давай посидим на пригорке и поговорим.

Не могла я отказать в его просьбе.

– Ладно, посидим немного, – согласилась я и села поодаль – на всякий случай. Мы поговорили о полковых новостях, подсмеиваясь над командирами. Вдруг он замолчал на полуслове, рывком придвинулся и жарко зашептал на ухо:

– Знаешь, я уже давно до твоего здоровья добиваюсь.

Я отодвинулась. Бежать не имело смысла, потому что он догнал бы меня в два прыжка, и тогда не было бы никакой физической возможности ему противиться.

– Слушай, – сказала я очень спокойно, – ведь мы знаем друг друга не один год. Я знаю, какой ты смелый боец и сильный, и что ты хороший человек и никогда не совершишь насилия над девушкой.

– А ты разве не хочешь?

– Не хочу, – ответила я тихо.

– Ну, хоть раз уважь меня! – взмолился он.

– Не могу через силу, – совершенно искренне сказала я.

И он понял. Опустив голову на свою широченную грудь, он произнес глухо:

– Что ж, иди. Я не насильник какой.

Я встала и пошла, не оглядываясь, боясь, что его буйное тело заставит его изменить решение. На полдороге он окликнул меня и попросил вызвать девушку, с которой он, кажется, дружил. Она как раз дежурила в санротовской палатке. Я сказала, кто ее дожидается и что я готова ее сменить. Она радостно поблагодарила и вышла, а я осталась одна. Танцы еще не кончились, и никого из девушек не было. И сейчас, когда я сидела в полной безопасности в своей палатке, меня охватила нервная дрожь. А затем пришла глубокая грусть. Я поняла, что воображение сыграло со мной нехорошую шутку: там, на поляне, мне показалось, что этот милый зеленоглазый парень хочет танцевать только со мной и именно мне доставить удовольствие. Но вид свежего личика Лидочки, опершейся на него, меня отрезвил. Подумаешь, какой психолог нашелся на мою голову! Наверное, считает за великое достижение, что поднял мой воинский дух. А я уж подумала Бог весть что! Я дала волю своему раздражению.

Но эти мысли пробегали по поверхности, злость и досада на себя были тоже поверхностны, а в глубине камнем давила потеря чего-то прекрасного, что могло бы произойти – и не произошло.

"Ладно, – говорила я себе, – настоящую жизнь устроим после войны, а сейчас нужно наилучшим образом воевать, то есть выполнять свою работу".

* * *

Я вошла в обычный строй жизни.

Его я видела мельком. Он приходил советоваться с комсоргом санроты, той честной работящей Мартой, о которой я уже вспоминала.

Одно время я сама была комсоргом, но меня быстро сняли, так как речей произносить я не любила, как и вообще

громких слов. Читать мораль о том, как надо работать, было совестно, потому что большинство девушек работали не хуже, а многие даже лучше меня. А главное, я разрешала им отлучаться в свободное время куда хотели. Меня обвинили в расшатывании дисциплины и к великому моему облегчению "сняли с должности". Правда, еще до того, как это произошло, полковой комсорг, Олечкин Мишка, старался помочь:

– Ты бы хоть немножко своих девчат приструнила, чтоб не отлучались вечером из подразделения. Комиссар уж и так на меня косо смотрит.

– Комиссар! Ему, конечно, нечего отлучаться! У него его Марта под боком. Ну а ты тоже хорош. Конечно, Олечке не надо отлучаться, если ты почти каждый вечер тут. Но ведь строевые командиры не могут приходить, когда им заблагорассудится. Что же девушкам делать?

Я была уверена, что правда на моей стороне, и ждала с интересом Мишкиных возражений, но его ответ меня огорошил.

– Ты, Манькова, пропадешь на этой должности, тебя надо скорей снимать.

– А что, разве я не права? – вскинулась я.

– Может, ты и права, а хоть ты в армии не первый день, понятия у тебя не прибавилось.

Я рассказала Айне об этом разговоре. Она задумалась и через пару минут ответила, что Мишка прав и мне лучше сдать комсомольские дела кому-то другому.

Я не хотела быть комсоргом по моим внутренним убеждениям (ведь я всю жизнь стремилась в Палестину, какой же из меня комсорг?), но все-таки была задета, и я спросила Айну, неужели я глупее других.

– В известном смысле – да. Ты много знаешь, многим интересуешься, а вокруг себя не видишь. Сдавай лучше сейчас, пока не нарвалась на неприятности.

При сдаче записей Марте присутствовал наш ротный парторг Д. Он, глянув впалыми добрыми глазами, попробовал заговорить официально.

– Ты не обижайся, Манькова, партия лучше знает, что кому доверить.

Но когда мы случайно остались вдвоем, сказал:

– Ничего, не огорчайтесь. Вот вернемся в Латвию, там во всем разберемся.

Но, кажется, после войны ни в чем не разобрались, а еще больше запутались.

С этой самой Мартой разговаривал сейчас комсорг второго батальона. Он был красив статной фигурой и открытым лицом, но было ясно, что его внутренний мир ничего общего с моим не имеет и, наверное, кроме комсомольской активности в нем ничего нет. Уверив себя таким образом в его ничтожестве, я прошла мимо в перевязочную, слегка кивнув головой.

Вечером меня вызвали к комсоргу Марте. Я пошла, ожидая какого-нибудь выговора, хотя не знала за собой вины, но разве трудно в чем-то провиниться? Правда, Марта, хоть и строгий человек, зря никому не портила жизни. Она ожидала у входа.

– В чем дело?

– Ни в чем, просто кто-то хочет тебя видеть.

Когда я вошла, он сидел, задумавшись, опустив голову, и, кажется, не расслышал моих шагов. Не поднимая головы, спросил:

– Почему ты ушла с танцев? Я тебя везде искал.

На языке вертелось с десяток ехидных словечек, но опущенная голова и тихий голос меня обезоружили, и я молчала.

– Ты... одна ушла? – спросил он еще тише.

– Одна.

– А я думал, что Д. пошел тебя провожать, ну и...

– Ну и что? – взорвалась я и выпалила все, что накипело. То есть у меня вырывались бессвязные предложения, но они вполне выражали обиду, разочарование и, надо признать, даже ревность, а в голосе ясно звенели слезы.

Сначала он казался огорошенным этим напором, но вдруг встал, и две сильные руки усадили меня на нары.

– Слушай, Этя, можно мне тебя так называть?

Я кивнула.

– А мое имя Борис, и, пожалуйста, не обращайся ко мне официально: "товарищ комсорг!" – И он продолжал говорить, как присматривался ко мне и как я его поразила тем, что я не такая, как другие девушки, и как он не смел ко мне подойти.

"Ну, это ты заврался", – подумала я, хотя один Бог ведал, как мне хотелось верить.

– Я знаю, о чем ты думаешь, – вдруг прервал он сам себя, – да, я провожал других девушек и... Ну, мы оставались наедине, но это не то.

– То есть, как это – не то?! – снова взорвалась я.

– Ну, видишь ли, – запнулся он, – я знал многих девушек, но это не любовь.

Я затаила дыхание. Неужели именно мне он скажет про любовь?

– А наша дружба с тобой, может, и станет любовью, может быть... – повторил он.

Мы вышли из землянки. Был тихий летний вечер. Мы шли по вытоптанной лесной тропе, держась за руки, и говорили полуфразами, имеющими значение только для нас одних. Если бы мое сердце было поляной или садом, я бы сказала, что в нем распускается прекрасный цветок. Но так как сердце является органом человеческого тела, то оно действовало по своим законам, то есть билось медленно, гулко и даже торжественно. Мне казалось, что я расту ввысь, и голова немного кружилась. При расставании он спросил:

– Можно тебя поцеловать?

Я улыбнулась в темноте и, чувствуя так, будто мы уже близкие друзья, поддела:

– А ты всегда спрашиваешь?

– Н-нет, большей частью и спрашивать не надо.

И мы поцеловались.

Я не могла заснуть. Передо мной вставал вечер концерта, танцы и провожание Д., как он "добирался до моего здоровья" и просил "уважить", его огромные мускулы, широченная грудь и медвежьи глаза... и сегодняшний вечер, от-

крытое лицо и юношеская стройность этого парня, наш отрывочный разговор, полный внутреннего понимания и, наконец, просьба поцеловаться. Просьба! Это тут, на фронте, где каждый час сулит разлуку на век. Какие-то медленные мощные волны плавно поднимали меня ввысь и так же медленно и плавно опускали. Наверное, это и были волны счастья, но разве счастье имеет точное определение?

Через несколько встреч он спросил:

– Скажи, Этя, ты много любила?

Я затруднилась с ответом. Я поняла, что у нас разные понятия о любви.

– Ты такая умная и зрелая, ты, наверное, знаешь, что такое любовь?

Я совсем растерялась. Если скажу всю правду, то, безусловно, потеряю ореол ума и зрелости, которые он мне приписал, и стану в его глазах обыкновенной девчонкой, и притом не самой красивой. Но играть роль опытной в любовных делах женщины я была неспособна за полным невежеством в этой области. Поэтому я предпочла молчать и загадочно улыбаться.

– А ты? – спросила я после минутного молчания.

– Я? Я уже говорил тебе, что у меня были разные девушки, – сказал он небрежно, и небрежность его показалась мне подозрительной.

На следующий день у меня было ночное дежурство с 11 часов вечера до следующего утра. Он не приходил, наверное, был занят, а мне уже было трудно не видеть его даже один день.

Было душно. Небо обложили грозовые тучи. Я открыла настежь двери палатки, не зажигая света. Может, скоро придет освежающий дождь и станет легче дышать. Сверкнула молния и осветила бархатную темную ночь так, что я ясно увидела прожилки каждого листочка на ближайших кустах, а у входа в палатку стоял сказочный принц в горделиво накинутом серебристом плаще (то, что это была самая обыкновенная брезентовая плащ-палатка, не имело никакого значения).

– Этя, я пришел на всю ночь, примешь меня?

Я бросилась к нему без всяких слов. Всю ночь гремели громы и сверкали молнии, освещая его молодое прекрасное (по крайней мере, для меня) лицо. Его темно-русые волосы поднимались ежиком. "Как корона", – пронеслось в мыслях. Но разве настоящему принцу нужна корона? Да, я вижу в нем сказочного принца, а вот видит ли он во мне принцессу, я сомневалась. Но я отогнала кольнувшую меня постороннюю мысль.

Пошел теплый ливень, его первый грохот перешел в благодатный, немного монотонный шум. Не знаю, сколько времени прошло, но дождь перестал, и между тяжелых туч, обливая края их серебряным светом, выглянул месяц. Он заглядывал через квадратное окошко палатки прямо на нас, и я увидела рядом с собой лицо, светившееся радостным, детским изумлением.

– Этя, Этинька, да ты же, кажется, мужчин еще совсем не знала?! – воскликнул он. Уж не помню, кто кого обнял первый, помню только, что я спрятала лицо на его груди, слыша редкие и сильные удары сердца, а он гладил мои волосы, приговаривая разные слова, которые на бумаге высказывать не полагается, потому что это были только наши слова, для нас самих и ни для кого другого.

И вдруг он сказал:

– А хочешь, я тебе в чем-то признаюсь?.. Я все наврал...

Сердце на секунду остановилось. Как хорошо, что сейчас ночь, и тучи опять заволокли все небо, и он не видит моего лица, которое наверняка побледнело, потому что я почувствовала, как кровь отливает от головы, а пальцы рук холодеют.

– То есть, как это – все наврал? – только и выдавила я с трудом.

– Наврал, что у меня было много девушек. Это я напустил на себя важность, потому что думал, что ты в этих делах опытная, ну а мне не хотелось в дураках остаться.

В эту минуту мне показалось, что я знаю, как чувствует тонувший, когда его вытащили из воды, хотя я никогда не

тонула и даже не захлебывалась ни разу. Чувство великого освобождения и неудержимой веселости охватило меня, и я во весь голос засмеялась. Не знаю, чувствовал ли он то же самое, но, как мальчишка, он прыгнул и тоже рассмеялся громко и раскатисто. Наш смех среди ночи спугнул какую-то птичку, которая, пискнув вполголоса, сонно перелетела на соседний сучок.

* * *

Нам пришлось долго стоять в обороне, и вот вышел приказ: девушкам идти на помощь соседнему колхозу копать картошку. А потом опять были бои, множество раненых (об убитых не упоминаю, потому что их к нам не приносили). Было много работы, так что иногда мы просто па́дали с ног. Затем нас отвели в тыл на пополнение и переформировку.

Несмотря ни на что, мы оба выкраивали время, иногда пару часов, иногда несколько минут для встреч, которые наполняли меня такой радостью, что я не переставала если не петь во весь голос, то хотя бы напевать себе под нос. Однажды я шла по глубокой добротной траншее (немецкое изделие), и так как меня распирало желание петь, то песня и выпевалась сама собой, на лице же прочно закрепилась глупая улыбка, которую нельзя было удержать (то есть я понимала, что посторонним улыбка просто так должна казаться глупой). Траншея проходила мимо КП полка. Из землянки КП вышел незнакомый полковник – малорослый, конопатый, с худыми ногами, напоминающими букву "О". Но самое выдающееся – это большие оттопыренные уши. Он очень походил на бессмертного Швейка.

– Это что за пташка тут распелась? – спросил он стоявшего поблизости лейтенанта, наверное, адъютанта. Тот что-то пояснил вполголоса.

"Это что за замухрышка?" – подумала я и, вернувшись в санроту, расспросила Нину. Она сообщила, что это командир полка М., присланный два месяца назад.

– Неужели ты не знаешь?

Я сама удивилась: неужели уже два месяца я ничего не вижу и не слышу кроме своих переживаний?

– Не беспокойся, – ядовито заметила Нинка, – он скоро объявится в санроте, как и все другие.

Врачи при упоминании М. только ухмылялись. Доктор Кох, чаще других встречавшийся с командирами, сказал, что М., перед тем как сводить данные разведки, артиллерийские расчеты и выводить из них соответствующее движение пехоты, должен был пройти начальный курс арифметики, чтения и правописания. Даже Айна, не любившая дурно отзываться о ком бы то ни было и всех понимавшая, кратко сформулировала: "Мул и осел".

И вот он объявился в санроте. Девчонки с трудом сдерживались, чтоб не прыснуть в кулак, но вытянулись и отдали честь, как полагается по уставу. Он вполголоса разговаривал с врачами. Тихий и милый доктор С. кусал губы, наверное, чтобы сдержать смех. А глаза старшего врача, сопровождавшего М. и, как видно, привыкшего к этой комической фигуре, утратили свое романтически-мечтательное выражение и смотрели насмешливо. Айна отворачивалась под предлогом, что она плохо говорит по-русски. Полковник обмерил оценивающим взглядом ее женственную фигуру, на его губах появилась плотоядная улыбка, но карие глаза Айны метнули такие молнии, что ухмылка сползла с его лица и он обиженно отвернулся, пробурчав: "Подумаешь, нужно больно". Мы, конечно, не слышали, но доктор Кох, стоявший ближе, уловил эти слова. Взгляд полковника остановился на высокой Мелите с характерным строптивым лицом. Полковник подошел и заговорил с ней. Он едва доходил ей до плеча и смотрел на нее снизу вверх. Мелита насмешливо глядела сверху вниз, отвечая по-латышски (мол, русского языка не знаю).

– Ему бы чурку какую подставить или хотя бы патронный ящик, – вполголоса заметил доктор Кох. Мы тихонько прыснули, наслаждаясь унизительным во всех отношениях положением полковника.

Пробормотав насчет того, что надо бы и по-русски коечего понимать, и этим спасая свое достоинство, полковник

отошел от Мелиты и обратился с вопросами к старшему врачу доктору Б. Вопросы были таковы, что выразительное нервное лицо доктора Б. стало морщиться помимо его воли. Разговаривая, полковник не переставал ощупывать девушек подслеповатыми глазами. И вот взгляд упал на меня, и лицо его прояснилось – я была безусловно ниже его ростом. Остановив старшего врача на полуслове, он устремился прямо ко мне:

– А, пташка певчая! Как тебя звать?

– Эстер, товарищ полковник!

– Ну, это имя больно мудреное, мне его и не выговорить, а фамилия как?

– Манькова.

– Ну, это по-нашему, – обрадовался он. – Ты мне как раз под стать.

Вокруг рассмеялись, Айна отвернулась.

Когда он удалился со своими сопровождающими, все дали волю смеху, который нас душил, и шутки и остроты посыпались со всех сторон при моем активном участии. Айна резко повернулась к нам и сухо приказала:

– Попридержите языки, девушки. Как бы ни было, он командир полка. Понятно?

Все замолчали, но мне все-таки многое было непонятным.

* * *

Начали поговаривать, что нас переведут на другой фронт, а пока отзывают с передовой на пополнение. Начальник снабжения, чуваш по фамилии Ильин, которого все ненавидели во время окружения и голода, сговорился с каким-то колхозом, что полк пошлет девушек на сбор картошки. Латышки поговаривали, что это выгодно не так полку, как самому Ильину, но приказ есть приказ, и мы собрались ехать.

В тот памятный для меня вечер перед отъездом Борис пришел в санротовскую палатку. Девушки уступили мне ночное дежурство.

Прощаясь, он обхватил мое лицо своими большими теплыми ладонями и, смотря мне прямо в глаза, сказал:

– Этя, помни, я не хочу, чтобы ты была моей ППЖ, я хочу, чтобы ты была матерью моих детей.

В то страшное, бурное и неопределенное время, когда нельзя было загадывать на завтрашний день, эти слова были вершиной всего ожидаемого. Но само материнство казалось мне здесь, на фронте, очень отвлеченным и далеким. И потом, материнство – это гражданка со всеми тяжкими условиями того времени. Я не хотела об этом думать.

– Ну, что ты, Боря, об этом мы подумаем после войны, а на фронте мы будем вместе.

– Конечно, вместе, но ты ничего не бойся. Если у нас будет ребенок, ты поедешь к моей маме в ... Она тебя полюбит. И знаешь, что? Мы распишемся в первом же городе, где есть ЗАГС, и в случае чего ты будешь получать мой продаттестат.

– Что ты, Боря, что с тобой?! – закричала я и закрыла ладонью его рот. При свете тусклой коптилки его лицо казалось постаревшим и помудревшим.

– Ведь мы на фронте, и все может случиться. Но помни, где бы ты ни была, если останусь в живых, я тебя всегда найду.

На этом мы расстались. На следующее утро нас отправили в колхоз. Целый день мы копали картошку, складывали ее в мешки, а колхозник наваливал их на воз и увозил. Для жилья нам отдали пустую избу, в которой были только старые тюфяки и сетки на окнах от комаров и от всякого гнуса, водящегося там почему-то в огромном количестве. Эти две недели для всех, а для меня особенно, тянулись до бесконечности. Но и они закончились в конце концов, и мы вернулись в полк. При возвращении настроение у всех повысилось, и, сидя в кузове, мы запели, дружно выкрикивая:

Сидели мы на крыше,
А может быть, и выше...

Бойцы ухмылялись: ну, наша боевая санрота возвращается.

Да, мы возвращались домой, и у каждой из нас было чему радоваться.

Мы вернулись в повседневный строй жизни: дежурства, больные, раненые. Все больше стали поговаривать, что нас переведут из окрестностей Старой Руссы. Дни проходили за днями. Все девушки, у которых были определенные друзья, уже встретились с ними по два, по три раза, а о н не приходил. Я не могла идти в его батальон искать его. Это было против правил и считалось постыдным, так что я не могла на это решиться. Ведь он мне еще не муж. А вдруг все, что было между нами, несерьезно, и он передумал? Вечером полковой комсорг Мишка пришел прямо ко мне.

– Манькова, – начал он сочувственным голосом, – ты не расстраивайся. Твоего Бориса затребовали в русскую часть, ведь он не из латвийской дивизии, а приданный нам.

Я хотела ответить, что и он, Мишка, не из латвийской дивизии, а все-таки тут, но сдержалась – ведь он абсолютно не виноват.

– У тебя есть адрес? – спросила я, цепляясь хоть за какую-то надежду на связь. Мишка терпеливо пояснил, что Борис узнает точный адрес лишь когда его определят в часть, что и я сама, между прочим, прекрасно понимала.

– Борис просил передать, что, как только у него будет точный адрес, он напишет.

Я вернулась к себе не только удрученная, но мне сделалось дурно. Никогда не думала, что душевные переживания могут так влиять на физическое самочувствие.

Прошел месяц, а я не могла прийти в себя. Где он? На каком фронте? Каждый день я ходила встречать бойца, приносившего письма, то есть маленькие треугольнички, заклеенные хлебом или тестом, но мне ничего не приходило. Я выполняла всю работу как и прежде, но совершенно перестала петь. Два чувства боролись во мне: страх, что он меня забыл, и беспокойство о его судьбе.

Однажды я встретила комиссара его батальона. Это был красивый, благообразный, внушающий доверие человек средних лет. Он сообщил, что имеет известия от Бориса, что тот

здоров, назначен комсоргом полка и находится в одной из частей на подступах к Ленинграду.

– Передайте ему привет и мои поздравления по поводу повышения, – произнесла я чужим голосом, потому что комок слез уже подступил к горлу.

– Что ж, передам, – ответил комиссар, улыбаясь.

"И чему этот человек улыбается?" – промелькнула у меня посторонняя мыслишка, но было не до него и не до его улыбок. Едва я отошла так, что он не мог меня слышать, как вся моя сдержанность разбилась на мелкие осколки. Я уперлась в дерево, из меня вырвался не то стон, не то плач, и меня стошнило. После этого физически стало немного легче.

Значит, он жив и здоров, и пишет, кому хочет, а мне не пишет. Ну, что ж, говорила я себе, очень логично – вот и пришел конец счастливым иллюзиям. От этого не умирают. Надо держаться, и работать, и надеяться, что и для тебя наступят (в будущем!) хорошие дни.

В общем, я говорила много умных и правильных слов, но их единственный недостаток в том, что они совершенно не помогают. Вестей от Бориса не приходило, а его комиссара я избегала. Зачем? Чтобы он, улыбаясь, сообщал о полученных письмах? Нет, большое спасибо.

Мне опостылело все. Был конец сентября, и стояла прекрасная теплая многоцветная осень с глубоким синим небом, в котором, как обрывки вуали, плыли белые прозрачные облака. Я видела эту красоту, видела, как латышские девушки украшали землянки разноцветными осенними листьями, но мной овладело отупение – декоративность природы вызывала тошноту.

Кончив работу, я сидела на пне или на поваленном дереве и с отвращением смотрела на эту красу. Ночью я часто лежала без сна и вспоминала. Хотя я запретила себе вспоминать, но чем сильнее запрещала, тем назойливее и беспорядочней воспоминания теснились в памяти. Вспомнила, как месяц назад я встретила подругу детства. Кто-то из медсанбата (медико-санитарного батальона) после сдачи раненых передал, что меня разыскивает девушка по имени Мира из городка

Люцина. С Мирой мы были подруги с семилетнего возраста, и встреча с ней была встречей с моим прошлым, начиная с детских лет. Мы искали друг друга, и, наконец, в одном из длинных переходов оказалось, что медсанбат заночевал в той же деревне, где ночевал наш полк, и мы встретились. Мы лежали на чердаке на тюфяках, покрытых армейскими одеялами, и говорили, говорили, и не могли наговориться. Наше детство, наши семьи, школа и городок – все то, что было глубоко запрятано и закрыто на ключик до лучших времен, когда кончится война, – все вдруг прорвалось наружу. Мы спрашивали и отвечали в один голос: а помнишь? А помнишь? Мы говорили и говорили и все обходили стороной вопрос, что будет, когда кончится война. Неясные и страшные слухи просочились и к нам, но невозможно было им поверить. Для этого мы были слишком в расцвете сил, молодости и любви, и все внутри нас противилось этим слухам. Не может быть, чтобы немцы истребили евреев как народ, говорила Мира. Конечно, евреям трудно живется, и моя бабушка уже старенькая, ей еще тяжелее, но чтобы поголовно всех убить? Не может быть!

– Знаешь, Мирочка, я думаю, что тут очень много пропаганды.

Пронеслось воспоминание о вырезанных звездах на лбах, о семьях, засыпанных живьем, о повешенных, однако я все это отогнала прочь. Нет, не с моими родителями, не в нашем городке. И вообще, разве такое возможно?

Кажется, и с Мирой происходило то же самое, потому что мы обе некоторое время молчали, а потом Мира заговорила совсем о другом. Она рассказала, как она и ее подружки рвались в армию из далекого Казахстана, сколько натерпелись в пути, пока не прибыли в латвийскую дивизию. Я рассказывала о себе. Потом она призналась, что у нее есть друг. Я познакомилась с ним несколько позже. Это был высокий блондин с правильными, несколько мелкими чертами и холодными светло-голубыми глазами. Он был безусловно красив, но что-то в его выражении лица мне не понравилось. Моей подруге я, конечно, об этом не обмолвилась.

– Ну а у тебя, неужели у тебя никого нет? Я знаю, что ты не любишь говорить о себе, но ведь мы на фронте, и Бог весть когда еще встретимся и поговорим по душам.

Она была права, и кроме того, чувства до того переполняли меня, что необходимо было излить их перед кем-либо. В санроте мы были очень дружны, но никогда не говорили о чувствах. Это не подходило к обстановке и вообще считалось дурным тоном. Болтливость на личные темы была неприятна и неуместна. Но Мира – это совсем друѓое, это было детство и часть моего юношества со всеми идеологическими, литературными и, главное, интимными излияниями. И я ей обо всем рассказала.

– Ты нас познакомишь?

Сердце мое упало. Внимательный читатель, наверное, спросит: и чего оно у нее все время падает? Но что поделать, если это самое подходящее выражение для того страха, который меня обуял? Дело в том, что Мира с юношеских лет отличалась необыкновенной притягательностью. Достаточно было появиться ее женственной фигурке, белому личику, обрамленному темными волосами, и метнуть васильковый взгляд, как парни оставляли общепризнанных красавиц и устремлялись к ней. Что уж говорить рядом с ней обо мне!

Мое сердце не "падало" при самых отчаянных обстрелах и бомбежках, в которых не было недостатка, и моя боевая подружка Хана даже как-то обозвала меня в сердцах бесчувственной коровой, а Айна бешено обругала меня, сверкая карими глазами, когда я осталась одна в палатке при сильном минометном обстреле.

А вот моей милой сердечной подружки детских лет я испугалась.

– Так познакомишь?

– Конечно! – воскликнула я преувеличенно бодро, надеясь, что утром мы его не встретим, а Мире надо вернуться в медсанбат. Первым, кого мы встретили, слезая с чердака, был Борис.

– Этя, куда ты запропастилась? Я искал тебя вчера вечером.

– Ко мне приехала подруга детских лет, она теперь в медсанбате, познакомьтесь. – Они познакомились, но он спешил и быстро попрощался. Мира бросила на меня взгляд, преисполненный уважения.

– Ну, знаешь, парень что надо.

Это была высокая оценка.

Проводив Миру, я с нетерпением и страхом ожидала следующей встречи с Борисом, я была уверена в неотразимости Миры. Но когда мы встретились через пару дней, все было как раньше, и он не упоминал о новом знакомстве. Можно было успокоиться, но вредные чертики не давали мне покоя и все подстрекали: ну-ка, спроси его. Увидишь его лицо и услышишь его ответ.

Дура, ругала я себя, зачем тебе спрашивать. Может, он вообще не помнит, а ты вызовешь воспоминание. Но чем больше я убеждала себя, тем мучительнее тянуло спросить, и наконец я выпалила:

– Моя подруга очень красивая, правда?

Он недоуменно посмотрел. Но тут же вспомнил:

– А, с которой ты меня познакомила? По правде сказать, я спешил и даже не рассмотрел ее толком.

Я впилась в него глазами, боясь прочесть малейшую неискренность.

– Этя, что ты так уставилась?

Но тут лицо его сделалось серьезным, он взял меня за руку и усадил рядом.

– Знаешь, ты просто себя не ценишь. Ведь у тебя самое красивое лицо из всех девушек в санроте, а глаза!.. И мне никаких других красавиц не надо, только тебя одну.

И я ощутила, как волна счастливого румянца мощно заливает мне щеки и шею (никогда не отличавшиеся, между прочим, бледностью).

* * *

И вот прошло уже около трех месяцев, как его откомандировали. Он жив и здоров, о чем не преминул мне со-

общить с тонкой улыбкой его бывший батальонный, а я не получила даже малюсенького треугольничка. Если бы он послал хоть одно письмо, в котором бы дал знать, что все кончено, что наши отношения были ошибкой и т. д. Ну, что ж, бывает. Я не из тех, кто кончает самоубийством из-за любви. Но ни одного слова? За что?

После таких ночных раздумий я вставала разбитая, мучила тошнота. На работе удавалось немного прийти в себя. Однажды доктор Кох взял меня с собой проверять поносников и определять, у кого дизентерия (признаком была свежая кровь в испражнениях), а у кого просто понос. Мы, то есть девушки санроты, понимали важность диагноза и приучились смотреть на все без отвращения и лишнего кривляния. Но в этот раз при виде кровяных испражнений у меня началась такая рвота, что я еле отдышалась. Доктор Кох приказал:

– Возвращайтесь в санроту и пришлите санинструктора Еву Ватер.

Я была обескуражена. За все время в армии еще не случалось, чтобы я не выполнила задания, а к виду крови и испражнений мы давно притерпелись.

– Доктор, – взмолилась я, – это сейчас пройдет! Меня тошнит каждый день. Наверное, у меня просто завелись глисты.

Губы доктора дрогнули насмешливо.

– Не глисты, а, кажется, один-единственный глист.

Я почувствовала, что бледнею от догадки, а он с участием добавил:

– Что с вами делать, Манькова? Такая умная девушка, а никакого опыта жизни нет. Возвращайтесь в санроту и посоветуйтесь с доктором Айной.

Айна была в перевязочной палатке. На самодельном столике лежали формуляры, которые ей, как видно, надо было подписать, но она на них не смотрела. Она смотрела на подполковника Р-рга, который, склонившись к ней широкими, немного сутулыми плечами, что-то говорил, и вдруг его замкнутое, угрюмое лицо озарилось искрящейся улыбкой, сверк-

нули белые зубы, и лицо офицера сделалось юношески прекрасным.

Вот что делает любовь. Никогда бы не подумала, что это суровое лицо может так измениться. Лицо Айны, всегда выражавшее малейшие оттенки чувств и настроений, излучало в эту минуту такое откровенное счастье, что трудно было смотреть.

Я опустила полог палатки и отошла в сторону. Айне сейчас не до меня...

Может быть, другой женщине в таком положении было бы и не до меня, но то была Айна.

– Что с тобой, Этька? – Она стояла у меня за спиной.

– Мне надо с тобой поговорить наедине.

Она пригласила меня вечером пить чай с бисквитами (верх роскоши) и вернулась в палатку, а я села в отдалении додумывать свои невеселые думы.

Вечером я сидела у Айны и без всякой охоты с трудом грызла один-единственный бисквитик. Повторив несколько вопросов о моем самочувствии, она без обиняков и без всяких изъявлений сочувствия сказала:

– Вот что, Этька, ты беременна, но трудно установить, на каком месяце, потому что все женские сроки у девушек изменились или совсем исчезли в фронтовых условиях.

– Я думаю, что приблизительно пять месяцев.

– Писем нет?

– Нет.

– А ты не знаешь, он жив?

– Жив и здоров и писал командиру батальона.

Мы обе молчали. В кружке остывал чай. Несколько раз кто-то настойчиво стучался в дверь, но Айна каждый раз отвечала, что она занята.

– Вот что я скажу тебе, Этька, – сказала она сурово, даже несколько сухо, – мы с тобой воюем не первый год. Я не стану пересчитывать трудности, которые мы прошли вместе и все сумели преодолеть, и ты никогда не теряла присутствия духа и оптимизма.

Я хотела возразить, что это совсем не то, что я боюсь

одиночества на гражданке, а главное, я не хочу материнства. Но Айна предупредила мои слова:

– Не возражай, молчи и слушай. Я все понимаю, но помни: в каких бы условиях ты ни была, я всегда помогу тебе по мере сил. После родов, когда ребенок окрепнет, ты поедешь в Латвию, и я тебя не оставлю.

– Но я вовсе не хочу ребенка! – вырвалось у меня.

– Видишь ли, – деловито сказала Айна, – теперь уже поздно избавляться от беременности, если ты кончаешь пятый месяц, а кроме того... может быть, именно ребенок принесет тебе утешение.

– Утешение? – вознегодовала я, но я не могла негодовать на Айну.

– Да, утешение. – Голос ее звучал тихо и болезненно, а лицо было не то злым, не то печальным. – Кто знает, что тебя ожидает в Латвии.

Я сидела пришибленная. Что-то страшное и бесформенное надвигалось на меня, с чем я вообще не умела бороться. Айна, взглянув на меня, вскрикнула:

– Перестань сейчас же! Сейчас не время падать в обмороки! А кроме того, еще в точности ничего не известно, – прибавила она мягче. Лицо ее потеряло суровость, и голос обрел прежнюю красочность. – Этька! Заходи ко мне, когда захочется. У меня всегда есть для тебя что-то вкусненькое.

* * *

Что ж, я должна исподволь приучать себя к тому, что надо будет оставить армию и уйти в жизнь на гражданке в одиночестве, в неизвестных условиях – в чужую жизнь, к которой я не была подготовлена и которой очень боялась. А больше всего я боялась материнства, которого не ждала, не хотела и не понимала. Перед уходом я попросила Айну рассказать о моем положении оружейнику Н.

– Он хороший и бескорыстный друг, но я не могу сама рассказать ему о себе.

Айна обещала.

Мне не пришлось тогда проведать ее еще раз. Был дан приказ сниматься с места и идти к железной дороге. Мы оставляли Старую Руссу, так и не завоевав ее после двух с половиной лет кровопролитных боев. Мы сели в теплушки и поехали в направлении Вышнего Волочка. Если не ошибаюсь, был январь 44-го года.

Мы ехали несколько дней, и наш товарный поезд долго стоял на заброшенных полустанках. Мы проезжали мимо разрушенных, сгоревших деревень, заснеженных полей, оживленных только карканьем черных ворон, перелетавших между обгорелыми деревьями. Мирдза достала Бог знает где кочан капусты и пару морковок и варила из них на вагонной печурке какое-то варево. И вдруг мне мучительно захотелось попробовать хоть одну ложку этого блюда из свежих овощей. Я стиснула зубы и отвернулась. У нас не было принято просить "внештатную" еду, тем более такой деликатес, как свежие овощи, а Мирдза сама не предложила.

Перед вагоном прохаживался, покачиваясь, комиссар второго батальона. Тот самый, лет сорока, благородной наружности. Он был, как видно, навеселе, потому что приятным баритоном напевал украинскую песенку о "дывчиноньке", которая вышла воду брать, "а за нею козаченько выйде коней напувать". Ева выглянула из теплушки и, смеясь, спросила, какая такая "дывчинонька" вышла воду брать.

– Черноглазая, вызови Манькову!

Я вышла.

– Вам чего, товарищ капитан?

– Вот что, эшелон двинется только через два часа. Пойдем погуляем.

Видя, что я не выказываю никакого желания гулять, он самым трезвым голосом добавил:

– У меня к тебе разговор есть.

Что делать с человеком, который страдает болезнью оптимизма? Этот человек – я. Опять внутри затеплилась очень маленькая и очень тоненькая свечечка надежды. Может, Борис прислал что-то для меня? Но прямо спросить я не посмела. Мы вышли через низкий деревянный вокзал и очутились

в небольшом скверике, где стоял какой-то памятник, а около него скамеечка. Я молчала всю дорогу, но когда мы сели и он продолжал молчать, я не выдержала:

– О чем разговор, товарищ капитан?

– Манькова, – повернул он ко мне свое красивое внушительное лицо, – я все время слежу за тобой и вижу, как ты изводишься, вижу также, что ты в положении. Скажи, можешь ли ты выслушать всю правду?

Господи, только бы мой несчастный голос меня не выдал! Я вздохнула и довольно спокойно и уверенно сказала:

– Могу.

И тогда он участливым голосом сообщил, что у Бориса теперь другая жизнь и другая девушка, и он просит комиссара сообщить мне об этом. Он, мол, меня очень уважает, но что поделаешь, такова жизнь.

– Спасибо, товарищ капитан, – сказала я, поднявшись, – разрешите идти?

– Ну нет, садись, Манькова, разговор еще не кончен, – и он схватил меня за руку и усадил возле себя. Он говорил, что понимает, как мне трудно и как я нуждаюсь в помощи. Я немного оттаяла, слушая, и даже позволила предаться жалости к самой себе. Он начал доказывать, что Борис мне не пара, а просто ветреный мальчишка, и для меня, может, даже к лучшему, что так сложилось.

Мимо проходили бойцы и с удивлением смотрели. Один дядька даже довольно громко заметил: "Ишь, как капитан наловчился, даже на могилах с девкой гуляет". И действительно, скверик оказался огороженной могилой, а памятник – надгробием.

– Нечего сказать, веселое место вы выбрали для разговора, товарищ капитан.

– Что ж, зато никто не мешает! – весело ответил мой собеседник. И далее объяснил, что мне нужен зрелый, взрослый человек, который бы меня понимал и обо мне заботился.

– Разрешите идти, товарищ капитан? – сказала я очень решительно.

– Что ж, иди, – благодушно разрешил он, внезапно под-

нялся и влепил мне поцелуй в самые губы, жарко при этом прибавив:

– Вечером я тебя вызову.

Я настолько опешила, что только воскликнула:

– Вы с ума сошли? Это же могила!

– Вечером будет другое место! – засмеялся он.

Я вернулась в теплушку и легла на нары спиной ко всем. Мне не хотелось разговаривать. Я не спала почти полночи, но и шевелиться не хотелось. Передо мной стояла непосильная задача: надо было методично вырывать то, что называется любовью, а это было очень больно. Каждое воспоминание надо было в корне вырвать. Его больше нет и не будет. У него другой мир, и он к тебе не вернется никогда. Измена? Предательство? Брось высокие слова. Может, ты сама наделила его качествами, которые хотела в нем видеть, а их вообще не было. Просто тебе очень хотелось быть счастливой, вот и все.

Но это было не все. Каждая мелочь наших встреч вновь являлась мысленному взору, и я должна была с ней бороться и вырывать и вырывать, но какой-то маленький корешок все же оставался и внедрялся внутрь, и его опять-таки приходилось доставать и выдирать с болью. Это был долгий и болезненный процесс самовоспитания, но хватит о переживаниях. В ту ночь я заснула поздно. За ночь печурка погасла, и утром я не могла пошевелить головой, потому что волосы примерзли к нарам. Остальные девушки, не так занятые своими чувствами, предусмотрели ночной холод и спали в шапках-ушанках. Меня это отрезвило – передо мной действительная жизнь с ее обыденными требованиями, которые необходимо выполнять.

Под вечер мы опять стояли на запасных путях какой-то станции. Раздавали горячий ужин и корм лошадям. Вышеупомянутый комиссар опять прогуливался у теплушки и напевал свою "чи не выйде дывчинонька утром рано по воду", но никто к нему не вышел. Потеряв надежду, он собрался уходить, но как раз Нинка выглянула из полузакрытых дверей.

– Эй, ты, чернобровая, вызови мне Манькову.

– Она спит. – Нинка заметила мой отрицательный жест.

– Ну тогда вызови мне черноглазую цыганочку, которую Евой зовут.

Но тут Нинка взбеленилась. Надо сказать, что она была преданной подругой и грамотной, работящей и очень культурной девушкой. Но у нее были свои странности – она пребывала всегда в каком-то брожении. Разница была только в силе накала этого брожения. Кроме того, она была ярая феминистка не только по убеждению, но и по характеру, и мужчин, как правило, не жаловала. Я знала и любила Нинку со всеми ее выходками еще с начала эвакуации, когда мы были в колхозе в сельсовете "Пьянский перевоз" на реке Пьянка и она так здорово отшила Костю-просто-Кузнецова, мужа беременной жены, пообещавшей облить Нинку серной кислотой.

Так же и теперь глаза Нины сверкнули знакомым бешенством, и она громко заявила хриплым от курения голосом:

– Разрешите заметить, товарищ капитан, что вы не наш прямой начальник, тут не ваш батальон, и вы не имеете права никого вызывать.

Батальонный комиссар быстро пошел прочь, а Нинка бросила вдогонку:

– Шляются тут разные...

Девчонки давились от смеха. Я вспомнила, как Нинка выгнала из санпалатки настоящего генерала, и напомнила ей этот случай. Девушки заинтересовались и просили меня рассказать, что я и сделала.

Стоял зимний вечер. Раненых не было. В палатке тихо, тепло и уютно. Нина и я сидели у самодельной походной печурки, освежали засохший хлеб (то есть обрызгивали водой, клали на раскаленную печурку), посыпали его сахаром и попивали чай в свое удовольствие. Полог поднялся, и вошел коренастый мужичок в овчинном полушубке без знаков различия, за ним старший лейтенант и капитан.

– Можно у вас погреться, девушки? – развязно обратился к нам капитан.

Я только встала, чтобы вежливо спросить, кто они такие,

кого ищут и можно ли им помочь, но не успела произнести ни слова, как Нинка налетела на них, как вихрь:

– Вам что нужно в чужом расположении? А ну-ка, давайте пароль! – И она стала теснить капитана к выходу, угрожающе сдвинув густые черные брови. Командиры смешались и начали увещевать:

– Что с вами, девушка? Мы же свои!

– Свои или не свои, до этого мне дела нет, а без пароля марш отсюда! – бушевала Нинка. Мужичок в полушубке стоял в стороне и посмеивался, а командиры растерянно поглядывали на него. Тут меня озарило: да это же генерал! Только генералы ходили вблизи передовой в таких полушубках. Я дернула Нинку за рукав и шепнула ей о моей догадке, на что Нинка ответила громко, не стесняясь:

– А если генерал, так тем более должен знать устав, что без пароля в чужое расположение входить строго воспрещается!

Тут мужичок в полушубке, который действительно был генералом, расхохотался и сказал сопровождающим:

– Что ж, ничего не поделаешь, придется пойти и узнать пароль. Пошли.

И они вышли. Я набросилась на Нинку со смехом и упреками.

– Ты же тоже догадалась по полушубку, что он генерал?

– Конечно! Устав пишется не только для бойцов, но и для генералов!

Она была права, но все-таки выгнать генерала, хотя и по уставу, – на это была способна только Нинка. Однако на этом дело не кончилось. Они вернулись в сопровождении капитана нашего полка (с паролем, конечно), и генерал шутливо попросил:

– Ну, чернобровая, может ты сейчас, когда мы тут на законном положении, нас чаем угостишь?

Но этот чужой генерал не знал нашей Нины. Гнев, едва улегшийся, заклокотал с новой силой в Нинкином сердце. Вытянувшись по стойке "смирно", она самым официальным тоном попросила разрешения обратиться, а получив его, за-

явила, что она, санинструктор санроты 125-го полка Латышской гвардейской дивизии, обязана поить чаем только больных и раненых.

– Если вы больны, товарищ генерал, то разденьтесь, ложитесь на застланные носилки, я вас тут же обследую, мы окажем вам первую помощь и напоим вас чаем.

Тут уж я не удержалась и прыснула. Командиры, которым субординация не позволяла смеяться, ухмылялись. Сам генерал, понимая комизм положения, улыбнулся миролюбиво и отступил с честью:

– Ну, что ж, товарищи командиры, пошли. Может, в другом месте мы найдем более гостеприимных хозяев.

Они вышли, а Нинка пробурчала им вслед:

– Шляются тут разные... в полушубках.

Все это я представила девушкам в лицах, и все хохотали и только успевали утирать катившиеся от смеха слезы. Сама Нинка имела полное удовольствие, вновь переживая свою победу над генералом.

Айна смотрела на мое представление, свесившись с верхней полки, и хохотала со всеми, сияя глазами и белыми зубами. Когда все утихли, Айна подсела ко мне и сказала с облегчением:

– Слава Богу, Этька, что ты немного отошла! – В эту минуту она даже забыла, что как сознательному члену партии славить Господа Бога ей вовсе не подобает.

А я-то думала, что никто не замечает моих переживаний.

* * *

Мы выгрузились поблизости от того места, что до войны называлось Вышний Волочок. Теперь город состоял из остовов бывших домов. Кое-где уцелели стены с проломами, коегде чудом на каких-то обломках держалась крыша. То, что было раньше улицами, являло полную картину разрушения, между рухнувшими домами валялись кучи щебня и битых кирпичей, покрытые снежным настом. Днем это была угнетающая картина, но ночью, при бледном месяце, когда через

все проломы проглядывал его мертвенный фантастический силуэт, казалось, что в мире все вымерло и наступил конец света, конец всего живого, когда не слышно ни человеческого голоса, ни лая собак, ни даже карканья ворон, не говоря уже о пении петуха, этого символа упорядоченной жизни.

Через некоторое время мы узнали, что кое-кто все-таки остался и проживает в землянках, но таких очень мало. Дивизия находилась на отдыхе и получила пополнение, в том числе и наша санрота. К нам прибыли две русские девушки, Женька и Шурка. Это было новое поколение советского производства. Они были очень разные, но я не могла найти общего языка ни с одной, ни с другой. Женька была высокая дородная девушка с густой русой косой, медленной поступью и правильным лицом. Ее можно было бы назвать настоящей русской красавицей, если бы не глаза – маленькие, затянутые сонливой пеленой. Они отличались совершенным отсутствием какого-либо выражения. Она была незлобива, добродушна и работала неплохо. Раненым она нравилась за спокойный голос и медленные движения. Она обладала необыкновенной способностью засыпать везде и всегда при малейшей возможности. Она сама мне призналась, что вкусно поесть и, главное, сладко поспать – это и есть для нее самое большое удовольствие в жизни.

Шурка являла собой полную противоположность Женьке, хотя тоже была очень хорошенькой. Зеленовато-серые неспокойные глаза, светлые, чуть волнистые волосы с шаловливой челкой на лбу и вздернутый носик, но главное – чудная фигурка, оснащенная всеми женскими прелестями, которые находились в постоянном движении. Две стройные ножки дополняли картину.

Если Женька обстоятельно и со вкусом рассказывала, какие блюда она "уважает" больше всего и как их готовить, то Шурка говорила мало. Так как мы почти всегда находились в обществе мужчин, она выбирала взглядом кого-нибудь посолиднее и говорила:

– Хотите видеть, девчата? Сейчас он ко мне подойдет.

И стоило ей метнуть исподлобья взгляд зеленоватых

глаз и, приведя в движение разные части своего тела, пройтись мимо своей жертвы, как тот шел за ней как загипнотизированный, и Шурка, победоносно взглянув на нас, удалялась с ним в уединенное место.

На эту Шурку "положил глаз", как говаривал когда-то Беня Крик, доктор К., тот самый, что приобрел популярность скабрезными анекдотами. Так как крепость сдалась безо всякого сопротивления, доктор К. был немного разочарован и в кругу своих слушателей выразился по этому поводу не особенно лестно.

О работе Шурки я вообще не могу ничего сказать, потому что не помню ее работающей.

* * *

Переформировка, то есть пополнение, кончилась, и дивизия выступила на передовую. До нас доходило стороной, что комбаты и начальник штаба обеспокоены командиром полка полковником М-вым, тем самым, что так походил внешне на Швейка и так отличался от него сообразительностью. В санроте уже все упаковывали, и мы собирались выступать. Вдруг подошла Айна, расстроенная и даже растерянная.

– Этька, тебе приказ лично явиться к командиру полка.

– Мне? Это еще что такое?

– И еще. Связной, принесший приказ, передал на словах, чтобы на тебе было поменьше одежды.

– Айна! Он же ненормальный, этот конопатый дурак!

– Очень может быть, – согласилась Айна, – но приказ его в силе.

– Не пойду.

– Этька, что значит – не пойдешь? На тебя и так политработники косятся, а за невыполнение приказа знаешь что может быть?

Я знала, но, как я поняла гораздо позже, Айна понимала больше и лучше меня.

– Надо что-то придумать.

Она сидела, и глаза ее сосредоточились на одной какой-

то точке. Вдруг она вскочила, хлопнула себя по лбу и, обругав собственную персону дурой и ослихой, закричала:

– Что это я, совсем из ума выжила? Ведь еще вчера ты и Марта были отправлены в полковую прачечную на одной из окраин города. Сейчас позову Марту и передам ей, а ты – раз-два – собирайся, и тут же выходите. Я позабочусь о сообщении, что приказ не выполнен по причине отсутствия санинструктора Маньковой, командированной в полковую прачечную со вчерашнего числа. – И прибавила: – Не крутись особенно по санроте и лучше скорей уходи.

Я давно знала, что кто-то из девушек передает кому следует обо всем, что у нас происходит, о разговорах, замечаниях и даже выражениях, которые могут казаться "политически незрелыми" или еще хуже. Но никого не могла подозревать, а комиссарова Марта к нам давно уже не ходила. Но Айну я поняла и, не мешкая, взяла свой тощий вещмешок и вышла на дорогу, ведущую в Вышний Волочок.

Марта (конечно, не комиссарова, а мой комсорг) быстро догнала меня. Ее здоровое, румяное лицо и живые карие глаза сияли весельем и лукавством. Мне тоже сделалось весело.

– Не бойся, Манькова, я тебя научу стирать белье так, что ты станешь заправской прачкой. И не такое мы видели. А что не пошла к командиру – молодец.

Мы незаметно прошли шесть-семь километров, разговаривая и смеясь, и достигли конечной цели путешествия. Это была полуразвалившаяся изба, в которой на козлах стояли корыта. На дворе, на больших топчанах, стояли два огромных котла, их наполняли водой, и под ними разводили огонь, чтобы кипятить белье. Это и было все оборудование. Нам отвели для жилья уголок в избе тетки Марьи. Изба находилась на подступах к городу и не очень пострадала от обстрелов. Окна кое-где были забиты досками, так как все стекла вылетели при налетах. Остатки окон, полуслепых от мороза, с трудом пропускали свет, и днем в избе царили сумерки. Вечером зажигалась керосиновая лампочка с заклеенным и покрытым сажей стеклом. Тетке Марье было около сорока,

но нам она казалась очень старой. Почти все зубы у нее выпали от недостатка питания. Однажды, перед тем, как лечь спать, Марья стояла в одной рубашке, и мы заметили, что тело у нее молодое и сильное, но под обилием всевозможных одежд, хоть немного охранявших от зимней стужи, трудно было распознать, что находится под этим бесформенным прикрытием. И не было ничего удивительного в том, что к ней ходил дядя Коля, высокий плечистый мужчина с буденновскими усами. Он приносил съестные припасы – подсолнечное масло, картошку, а иногда и мясные консервы. Марья иногда угощала нас кулинарными изделиями, особенно припоминаются мне очень вкусные картофельные котлеты с грибной подливой.

Мы с Мартой работали очень тяжело с раннего утра до наступления вечера. Мыло для стирки отсутствовало. Вместо мыла, чтобы в воде была хоть какая-то щелочь, мы собирали золу из печи тети Марьи, зашивали в небольшие матерчатые мешочки и бросали в кипящую воду. Солдатское белье было грязным и вшивым. Перед кипячением требовалось мало-мальски оттереть грязь, но без мыла это было почти невозможной задачей. Я старалась и терла изо всех сил, но результаты были плачевными. Пока у меня набиралось пять кое-как отстиранных рубашек, у Марты их уже было десять. Поглядев на мои большие, но бесполезные старания, она взялась за мое обучение.

– Этька, какие самые грязные части белья? Ворот и рукава. Вот их и оттирай, а остальное выварится в котле.

Я последовала совету, и дело пошло веселее. Когда первая груда белья была выстирана, мы бросили весь груз в кипящие котлы и помешивали шестами. Около котлов поставили большие лохани, и когда белье, по мнению Марты, достаточно прокипятилось, мы вылавливали его шестами и поднимали из котла. Не раз кипящая вода стекала на нас, но, к счастью, дело было зимой и вне котла белье тут же остывало. Потом надо было выкручивать на морозе отяжелевшие гимнастерки и штаны. Практичная, понимающая толк в работе Марта вдруг остановилась и перестала выкручивать боль-

шие солдатские штаны (гимнастерки, как более легкие, она давала мне).

– И чего мы так надрываемся, на морозе само собой все вымерзнет! Выжми немного, и хватит.

Она была права, и мне сделалось легче.

Начальником прачечной был плюгавенький старший сержант тридцати – сорока лет. Он попробовал "подъехать" к Марте с угощением, но она только скосила на него свои узкие глаза и, выпрямившись во весь рост здоровой, ширококостной деревенской девушки, отбрила:

– А ну-ка, забирай свое угощение и убирайся вон.

Несчастный сержант, чувствовавший себя большим начальником над нами, был уязвлен до глубины души и озлобился. Он начал придираться и мстить по мелочам, ругая всех женщин самыми гнусными ругательствами. Особенно он изощрялся над девушками из армии. Иногда присылал к нам каких-то военных, с которыми он вместе выпивал, представляя нас своими девчонками, якобы по его рекомендации согласными на все. Однако, когда мы со скандалом и при активном содействии Марьи несколько раз турнули из дома его подвыпивших посланников, он прекратил "рекомендовать", но придирки и циничные насмешки продолжались, особенно на мой счет, потому что Марты он побаивался. Марта облегчала мне работу как могла, не давала поднимать тяжелые ведра, чтобы наполнить чаны, или таскать жестяные ванны с мокрым бельем для развешивания, но я, конечно, не соглашалась. Однажды, рассердившись на мое упрямство, она даже прикрикнула:

– И что и кому ты хочешь доказать? Что берешься за самые тяжелые работы? Разве я не видела, как ты таскала и поднимала носилки с ранеными выше своей головы? Но теперь ты не только себя должна беречь, и нечего лезть вперед.

Такова была Марта, и так выражались ее ласка и забота.

Наш плюгавенький начальник продолжал нас мелочно изводить. Мне было особенно трудно выносить его циничные намеки. Марта советовала плюнуть и не обращать внимания, но я только тогда осознала, как страшно находиться под про-

изволом ничтожества, вдруг получившего власть. Я поняла, что, несмотря на ежедневное общение с бойцами и младшим комсоставом, я их не знала. Я, то есть мы все, санротовские девушки, были по своему положению выше бойцов, младшего и даже среднего комсостава. Они зависели от нашей помощи, так как каждый мог быть ранен или болен. То, что мы были женщины, также давало преимущество и право на некоторое уважение.

Но тут, в прачечной, мы не были "сестрицами" или девушками, расположения которых надо было снискать. Мы были прачками, подчиненными этому примитивному, мелкому, подлому человеку, и он имел возможность излить на нас все свои жизненные неудачи.

– Подожди, – обещала ему Марта, – вернусь в санроту, я расплачу́сь.

– Это еще когда вернешься, а пока – знай сверчок свой шесток!

– И чего ты над ними измываешься! – кричала тетя Марья. – Ишь, сморчок паршивый, тоже воображает из себя мужика!

Марья попала не в бровь, а в глаз. Наш щуплый сержантик съежился. Немного придя в себя, он выпятил впалую грудь и заявил:

– Я в армии служу и на фронте, а ты кто такая будешь, гражданская б...ь?

Тетя Марья взвилась:

– Ах ты, зараза шелудивая! У меня муж третий год на фронте воюет, и даже весточки от него не получила, а ты, вояка нашелся, над двумя девчонками изголяться!

– Муж на фронте, а сама с дядей Колей забавляешься! – съязвил сержант.

– Ну, не с тобой же, морда плюгавая, а ну, убирайся вон! А то кочергой огрею!

И Марья в такой ярости стала наступать на сержанта, что он, бурча что-то вроде: "ладно, чего там... ишь, разошлась, баба", – ретировался. Тетя Марья долго не могла вдеть нитку в иголку, руки ее дрожали.

– Подожди, недоделок несчастный, вот придет дядя Коля, он с тобой разделается, так что забудешь как звали...

Но в тот вечер дяде Коле, вопреки обещанию, не пришлось быть у Марьи. Случилось непредвиденное, как случается оно в мелодрамах или сентиментальных романах. Уже стемнело, и все успокоилось. Мы сидели у стола и доедали картошку – Марьино угощение, а она сама сидела и шила, придвинув близко керосиновую лампу. Изба Марьи стояла прямо у дороги, и сюда часто заходили бойцы погреться, вскипятить чай и что-нибудь закусить из своих запасов. Вот и сейчас открылась дверь, и вошел боец в заиндевевшей от мороза ушанке. Лица не было видно, потому что керосиновая лампа освещала только лицо тети Марьи да маленький кружочек около нее. Боец остановился на пороге, и в проеме двери виднелся лишь согбенный силуэт усталого человека. Потянуло холодом.

– Ишь, черти паршивые, ходят всякие, и даже дверь не закрывают. Тебя, чай, мамка не на улице родила! – закричала хозяйка, не поднимая головы от шитья.

Боец медленно затворил дверь и сказал:

– Маша, что с тобой? Не узнаешь?

Тетя Марья вскочила и на несколько мгновений застыла на месте.

– Ваня! – вырвался из ее груди не то крик, не то рыдание.

Они стояли, обнявшись, а я и Марта отвернулись.

Потом Марья, раскрасневшаяся и помолодевшая, хлопоча, носилась по избе, собирая угощение и ставя на стол бутылку водки, принесенную дядей Колей. Как видно, бутылка ей что-то напомнила, и она выскочила на улицу, даже не накинув пальто, и кликнула соседскую девчонку Ксюшку. Они пошептались, тетя Марья сунула Ксюшке мешочек с сахаром, и Ксюшка бодро ответила:

– Будет сделано, тетя Марья, не сумлевайтесь, передам все как надо.

Таким образом, дядя Коля был предупрежден и не показывался до следующего вечера, пока не ушел Марьин муж.

Вечером дядя Коля явился со своими свертками, и все пошло по-старому..

Я не удержалась и спросила, как можно теперь принимать дядю Колю, когда Марья знает, что муж ее жив.

– Видишь ли, девушка, – объяснила она, – всем жить хочется, а я еще молодая и два года не видала мужика, ну и харчи тоже кое-что значат. Ну и сейчас, когда мой Иван нашелся, это, конечно, нехорошо, а разве дядю Колю обидеть хорошо? Он целый год обо мне заботится и ничего кроме хорошего мне не сделал. За что же я его прогоню? Ты Нюрку хромую видела? Вчерась ко мне забегала. Она и моложе меня, и лицом смазливая, все время на Колю поглядывает, отбить хочет, а он говорит, что Нюрка ему неинтересная и ему окромя меня никого не надо. Как же я могу его прогнать?

Так приоткрылся на короткое время занавес, и передо мной предстала частичка гражданской жизни с ее страстями и своеобразной моралью.

Прошли три недели. Пару раз приходили девушки проведать меня и рассказывали санротовские новости. Они собирались на танцульки, но после прогулки в семь километров, разомлев от чая и угощения, крепко засыпали. В одно из таких посещений Нинка радостно сообщила:

– Знаешь, командир полка заболел!

– Чем это он так заболел?

– Чесоткой на нервной почве! – расхохоталась Нинка, и даже Ева – сознательная комсомолка – не удержалась от смешка.

– Что же это он заболел такой неприятной болезнью? – простодушно спросила Марта, не имевшая в свое время стычек с доктором К. и не особенно им интересовавшаяся, как и вообще проблемой еврейства и антисемитизма. Нина красочно объяснила, что значит "чесотка на нервной почве", не скупясь на такие выражения, как "дегенерат", "трусливая шкура" и т.п.

Храбрость и трусость были понятия ежедневные, и мы в них плохо разбирались. Храбрость была разная: была показная, то есть ненастоящая, но по принципу "на миру и смерть

красна". Гораздо более ценилась храбрость, когда боец оставался не "на миру", а один со своей судьбой, как, например, разведчики. У нас сначала брали в разведчики самых отчаянных из блатного мира. Ведь они ничего не боялись, и им ничего не стоило подкрасться и пустить в ход нож. Но тут и сказался просчет. Возвращаясь с задания, они бойко рапортовали, называя цифры и отмечая местность, и не однажды оказывалось, что все показания дутые, а они сами отлеживались в укромных уголках, не собираясь рисковать собой, и бойцы, ушедшие в наступление по их данным, живыми не возвращались. Позже начали набирать разведчиков из более способных бойцов, не блиставших подвигами в преступном мире.

Меня в санроте считали храброй. Я спокойно работала при самых отчаянных бомбежках и обстрелах, "сжимая сердце в кулак", как выразился корреспондент дивизионной газеты. Мне до сих пор нравится эта техника борьбы со страхом. У нас в кибуце, который сирийцы обстреливали неоднократно, я часто ее применяла: это значит – на время опасности загнать все переживания во внутреннюю шкатулку, а ключик на время хорошо спрятать. Самой же, не отрываясь, делать все нужное. Но вот однажды меня поставили охранять какой-то склад. Это, безусловно, не было на передовой. Там бы меня одну охранять не поставили. Я знала, что мне не грозит прямая опасность. Помню, что была ночь. Снег падал хлопьями. Я стояла с винтовкой (достававшей мне почти до подбородка) и вглядывалась в темноту, не подкрадывается ли с какой-нибудь стороны немец, но сквозь пелену снега ничего нельзя было разобрать. Я прислушивалась к ночным звукам, и вдруг мне пришла мысль, что человек может смело шагать по мягкому снегу – его шагов не слышно. Я ходила вокруг склада, и мне казалось, что из-за каждого угла вот-вот кто-то выскочит и оглушит меня ударом. Я поворачивалась во все стороны, и чудилось, что именно оттуда, куда я поворачивалась спиной, сейчас кто-то нападет, и я даже выстрелить не успею (я была не очень искусной в стрельбе).

На посту стояли по два часа, но мне казалось, что уже прошло больше трех, а разводящий все не приходил сменить.

И вдруг, несмотря на мое напряженное вглядывание и прислушивание, совершенно неожиданно между мелькающих хлопьев возникла неясная фигура. Я вскинула винтовку и заорала:

– Стой, кто идет?

– Да ты чего, Манькова, очумела, что ли? Мы тебя сменять пришли, – заговорила одна из фигур на обыкновенном русском языке.

Но я продолжала орать тем же диким голосом, все еще не приходя в себя:

– Не подходи близко! Убью! Говори пароль!

Фигура опасливо отодвинулась, и я услышала пароль. Жуткий страх медленно отступал. Я сказала ответный пароль и опустила винтовку.

– Ты чего? – укорял разводящий. – Совсем ума лишилась? Даже нас напугала!

Самой себе я могла сознаться, что действительно чуть "ума не лишилась" от страха, но приняла независимый вид и ответила:

– Мы на фронте, мало ли чего может случиться, а я действовала по уставу.

Но когда я возвращалась в санроту, ноги и руки у меня дрожали, и я с трудом дошла.

Итак, командир полка заболел "чесоткой на нервной почве", потому что, как стало уже известно, готовится наступление по всему фронту. Значит, его отправят в тыл на лечение, но когда это все произойдет, ничего не известно. Через три дня прибыл приказ вернуться в санроту. Мы сердечно попрощались с тетей Марьей, не удостаивая взглядом своего прямого начальника, а он, как бы почувствовав вновь наше превосходство над ним, пришел прощаться и даже принес в подарок по кусочку душистого мыла.

Когда мы вернулись, первой меня встретила подружка Хана (ей-таки посчастливилось найти своего мужа у нас в дивизии, и она по беременности собиралась откомандироваться) и огорошила вопросом:

– А знаешь, кто вернулся?

Я пожала плечами. Какое мне дело, кто и куда вернулся. Но она не унималась:

– Помнишь полковника Ю., которого ранили? Он назначен к нам! Ты что, не рада?

Я промолчала, хотя и была рада. Через некоторое время полковник Ю. пришел в санроту поздороваться с девушками, и мы с ним дружески расцеловались. Оглядев мою чрезмерно округлившуюся фигуру, он тихо сказал:

– Жаль, что нам не придется служить долго вместе.

Я чувствовала, что отчаянно краснею, и опустила голову.

– Ничего, Манькова, не падай духом, – он обнял меня за плечи, – везде люди живут.

Потом он поздоровался со всеми, и его взгляд задержался на дородной Женьке.

* * *

Все шло по-прежнему: готовились к наступлению, и попрежнему писем для меня не было. Да, жизнь продолжалась своим налаженным известным чередом: наступление и отступление, переформировка и пополнение, тяжелая работа, личные радости и горести. Но я уже была вне этого. Я автоматически выполняла работу, становившуюся для меня все тяжелее, но это было к лучшему, потому что физическая усталость загоняла внутрь страх и заботу о предстоящем, нежеланном и угрожающем. И все же множеством нитей я была связана с жизнью санроты и иногда настолько забывалась, что на короткое время чувствовала себя как прежде.

Однажды мы принимали в какой-то деревне пополнение (Бог знает, в сотый или двухсотый раз). В полку устроили вечеринку, и девушки уговорили меня пойти. Вечеринка была как и все вечеринки. Дребезжал старый патефон, наигрывая фронтовые песни, сначала "офицерский вальс", под который старательно кружились пары, шаркая стоптанными валенками; потом и старинные, такие, как "очи черные" и тому подобное. На почетном месте сидел полковник Ю., не спуская глаз с медленно кружащейся Женьки.

И вдруг прежние чертики, которые, как казалось, навсегда покинули меня, проснулись снова и потянули меня за мой злой язык. Я подсела к полковнику Ю. Он освободил место возле себя, но глазами следил за Женькиной длинной косой.

– Товарищ полковник, хотите я вам лично спою песню о Людовике Шестнадцатом?

Пожалуй, другим высшим командирам, и между ними нашему комиссару, я бы не предложила ничего подобного по той причине, что они понятия не имели, что это за Людовик Шестнадцатый и откуда он взялся. Но полковник Ю. знал. Он рассеянно улыбнулся и кивнул, не отводя взгляда от предмета своей заинтересованности, а я напела старую песню, которую, кажется, исполнял Вертинский, – о двух первых балах: один давал король, а другой – народ.

Затянут шелком тронный зал
На всю страну сегодня.
Король дает свой первый бал
По милости Господней.

И, как всегда, король там был
Галантен неотменно,
И перед дамой преклонил
Свое высокое колено.

Старый шут, покосившись назад,
Поднял тонкую бровь и сказал:
– Вы всегда после бала веселого
Возвращаетесь без головы.
Мой король, как легко вы теряете голову,
Мой король, как рассеянны вы.

Затянут красным тронный зал
На всю страну сегодня:
Народ дает свой первый бал
По милости Господней.

И, как всегда, король там был
Галантен неотменно,
И перед плахой преклонил
Свое высокое колено.

Старый шут, покосившись назад,
Поднял тонкую бровь и сказал:
– Вы всегда после бала веселого
Возвращаетесь без головы.
Мой король, как легко вы теряете голову,
Мой король, как рассеянны вы.

Сначала он слушал не особенно внимательно, потому что мысли его, очевидно, текли в ином направлении. Он даже несколько удивился: Людовик Шестнадцатый? Но потом повернулся ко мне и стал слушать внимательно, а когда я первый раз пропела припев, его тонкий ус (не бровь!) приподнялся в улыбке, а глаза прищурились и наполнились пониманием. Дослушав, он полунасмешливо-полугрустно, как бы заключив разговор, сказал:

– Ты, конечно, права, но что поделаешь? Против природы не пойдешь. – И с искренним сожалением добавил: – Эх, жаль, Манькова, что тебе от нас уходить приходится. Без тебя это не то.

Я встала и попрощалась. Мне не хотелось еще раз увидеть жадно устремленный на Женьку взгляд этого тонкого, интеллигентного, хорошего человека, который последними словами без всякого намерения напомнил мне, что я уже фактически не принадлежу к этой жизни и все мои друзья и доброжелатели прекрасно обойдутся без меня и даже уже обходятся. А вот как я обойдусь без них?

Через несколько дней меня позвала Айна. У нее сидел доктор К. (рассказчик анекдотов), который стал уже старшим врачом (доктор Б. был куда-то откомандирован).

– Вот что, Этька, мы решили отправить тебя в дом отдыха нашей дивизии, а оттуда прямо в роддом.

– А дальше, после родов, куда я пойду?

– Видишь ли, – сказал доктор К., – под Москвой в местечке Расторгуево есть прекрасный санаторий, он так и называется – "Санаторий матери и ребенка". Туда ты и получишь направление.

Я поблагодарила. Что ж, все правильно. Обо мне позаботились. Не бросили на произвол судьбы, а все остальное – мое личное дело, и я сама должна с этим справиться. Айна молчала. Она выглядела усталой, бледной и даже немного поблекшей.

– Зайди ко мне потом, – сказала она, и я вышла.

Вечером мы сидели вдвоем, пили чай, и Айна угощала меня хорошо поджаренными мясными консервами.

– Вот что, Этька, мы скоро выступим, нам предстоят тяжелые походы. Я не советую тебе идти с нами. От физического напряжения могут произойти преждевременные роды, и это опасно для твоей жизни и жизни ребенка.

И тут я поймала себя на том, что ни разу не подумала о ребенке, которого произведу на свет, а все мои мысли только о себе. Я едва собралась ответить, что Айна права и я поеду, как, вглядевшись в нее, увидела, что она очень изменилась. Она сидела как-то тяжело, плечи опущены, лицо было желтоватое и даже немного одутловатое.

– Айна! Ты же больна! Что с тобой?

– Со мной? – Айна улыбнулась какой-то смиренной, не своей улыбкой. – Со мной все в порядке. Тебе сейчас надо только о себе беспокоиться. Завтра ты отправляешься.

Да, снова передо мной решительная и все решающая Айна, без малейшего намека на чувствительные излияния. Разговор был закончен. Надо уходить, но я замялась.

– Айна, если кто-то появится и спросит обо мне, не говори ничего. Мне от него ничего не надо, и я не хочу о нем ничего знать.

– Не дури! – коротко прервала Айна. – Если он будет тебя искать, я ему сообщу.

Я кивнула и вышла. Я знала, что сказала лишнее – никто не будет мной интересоваться. Я медленно возвращалась к себе, было темно, и я наткнулась на какого-то человека.

– Мазайесе, ты завтра уезжаешь? Я тебя поджидал. Я тебе кое-что принес, тебе пригодится.

До сих пор я прекрасно понимала, что уезжаю и что отъезд – завтра, но одно – понять умом, а другое – ощутить всем существом, что завтра ты оторвешься от всего и отправишься в иной мир, чуждый и, наверное, враждебный, где ты никому не нужна и никому до тебя нет дела.

Мы сели на лавочку около какой-то избы. Жалость к себе заполнила меня до краев и перелилась через край в рыданиях, которые я не смогла сдержать. Он гладил меня по голове, как маленького ребенка, и молчал. Немного успокоившись, я не то спросила, не то попросила:

– Ты будешь мне писать?

– Нет, – сказал он твердо. – Ты, мазайс, не цепляйся за остатки прошлого. Что было, то было. Ты жила полной жизнью как человек и как женщина, а теперь перед тобой другая и, может быть, высшая задача – быть матерью. И ты, конечно, выполнишь ее с честью.

– Но я не знаю, что значит быть матерью! Я вообще не люблю детей! – вырвалось у меня в отчаянии.

– Этя (он впервые назвал меня по имени), я знаю, что ты будешь прекрасной матерью и полюбишь своего ребенка больше всего на свете.

– Но я буду одна! Далеко! Неужели даже письмом ты меня не поддержишь?

– Нет, – ответил он еще тверже. – Я не могу. Это ни к чему не приведет. Ведь ты знаешь лучше меня.

Я не видела его лица в темноте, но голос его был глух и сдавлен. Он вдруг встал и ушел, не прощаясь.

Может быть, мелькнуло у меня в голове, тут-то и была большая любовь, а я, забавляясь, прошла мимо. Но ведь он никогда не говорил об этом! – оправдывалась я перед собой.

Я встала и вытерла слезы. Теперь уже поздно сожалеть о чем бы то ни было. Надо идти спать. Кто знает, что меня завтра ждет.

Я вошла в избу и остановилась как вкопанная: все девушки сидели по сторонам, посреди, на чистом полу, была

расстелена простыня, и на ней лежали вперемежку мыло (стиральное и душистое), нижние рубашки и кальсоны зимние и летние. Пачки чая, мешочек с сахаром, мешочек с сухарями. В общем, каждая положила то, что у нее было в запасе. Кто-то даже положил пару больших солдатских ботинок.

– А это зачем? – недоумевала я.

– Дурочка, ты же уходишь в гражданку. Там все имеет ценность!

Домовитая Мирдза принесла простыни (и где только она их достала?) и объяснила, что если мне самой не понадобится, то можно сшить из них белье для ребенка.

Нинка принесла папиросы и табак.

– Нина, что с тобой? Ты же знаешь, что я не курю! Жалко! Оставь лучше себе!

Нинка по обыкновению взбеленилась:

– Дурой была и дурой останешься! Ведь это лучше денег!

Добрая, преданная, вспыльчивая Нинка!

Старшина принес несколько банок мясных консервов. Все это девушки уложили в два больших мешка.

– Ну а теперь выпьем на прощанье за твое здоровье и счастье в будущем! – сказала Марта, разлив водку в стаканчики толстого стекла, взятые у хозяйки, и мы закусили мясными консервами и картошкой, приготовленной хозяйственной Мирдзой. Плакать больше не хотелось.

На следующее утро девушки вышли гурьбой и усадили меня в кузов машины, уходившей в тыл.

И началась моя гражданская Via Dolorosa...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

РАСТОРГУЕВСКИЕ МАМАШИ

Я нахожусь в Москве, в роддоме на Крестьянской заставе. В первый раз в жизни лежу в больнице в качестве пациентки. У нас в Люцине ни одна еврейская мать не отдавала ребенка в больницу, я же, выйдя из детского возраста, больше ничем не болела. Я и сейчас здорова, но меня поместили в больницу за две недели до родов, потому что мне некуда деться.

До войны это, наверное, была благоустроенная больница, но сейчас во всем чувствуется нехватка и запущенность. Мыла нет, и при стирке налегают в основном на кипячение, отчего постельное белье приобрело серый цвет. Пища до того скудна, что без передач из дома женщины просто голодают. "Передача" – это не угощение, которое принято приносить в больницу, чтобы их немного побаловать, как, например, шоколад или фрукты, передача – это что-то существенное: крутые яйца, бутерброды, изредка – мясные котлеты, щи или борщ в котелке. Мне такие передачи никто не приносит, и в последний месяц беременности я не пополнела, а наоборот, похудела. Иногда меня угощали остатками. Я не брезговала. Не я одна, и не только пациентки были голодны – но также нянечки, сестры и даже врачи. Нянечки без церемоний просили табак, папиросы или – когда такое случалось – сладости для своих детей. Сестры, якобы заботясь о чистоте тумбочек, подбирали все, что оставалось от передач. Я помню врача Ивана Яковлевича; он, заботясь о нашем здоровье, снимал пробу со всех передач, чтобы удостовериться в свежести пищи. Кроме "пробы" ему нечем было поживиться,

потому что пища не успевала портиться. Был он невысок, хром, а глаза под очками косили в разные стороны. Моя тумбочка была абсолютно чистая, и он проходил мимо (меня и тумбочки) с большим пренебрежением. Женщины понимали его и тут же предлагали:

– Попробуйте, доктор, щец, свежие!

И он усердно пробовал. Однажды он обнаружил в одной тумбочке шоколад. Это была невиданная роскошь. Иван Яковлевич сделал строгое лицо и сурово изрек:

– Это у вас с каких пор? Если испорченный, надо выбросить.

Это был известный прием. Женщина всполошилась:

– Да что вы, доктор! Попробуйте, он совсем свежий!

И он попробовал – дольку за долькой, а глаза всей палаты, особенно обладательницы шоколада, ревниво следили за ним. Женщина даже немного побледнела от напряжения – так быстро уменьшалась плитка. Приблизившись к половине плитки, Иван Яковлевич с трудом оторвался от пробы и буркнул:

– Шоколад – ничего, можешь есть.

Все вздохнули.

Но в большинстве своем врачи, особенно женщины, были преданны работе и делали все что можно – при отсутствии санитарных условий, при скудости питания и нехватке медикаментов.

В нашей палате лежали больные после гинекологических операций, беременные с высоким давлением и тяжелой уремией. Их лечили безжировой и бессолевой диетой. Безжировая диета была у всех, так как жиров вообще не было. Но есть эту пищу еще и без соли было тяжким испытанием, и вот женщинам приносили из дому вместе с передачей щепотку соли, которую они усердно прятали от персонала. Лежала и одна старушка (после операции). Ее Иван Яковлевич посещал чаще других из-за вкусных ватрушек и пирожков, приносимых ей из дома. Как-то во время утреннего обхода Иван Яковлевич задал стереотипный вопрос:

– Стул был?

– А как же, и стул и стол. Мы что, не как люди живем?

Доктор смешался, но продолжал обычный допрос:

– Ну, а газы были?

– Газы?! – воскликнула старушка в страхе. – Нет, от этого нас Бог миловал. Мы никаких таких газов в глаза не видали!

Тогда Иван Яковлевич в отчаянии крикнул:

– Пердишь, матушка?

– Пержу, а как же! Не без этого! – обрадовалась старушка. – Так бы сразу и сказал, а то говоришь непонятно.

Вся палата прыснула, а смущенный доктор два дня после этого не показывался "снимать пробу".

* * *

Мой сын родился раньше положенного срока, и вес его был недостаточным, но он был вполне здоровым ребенком и, что самое замечательное, с первой минуты глядел на мир широко раскрытыми осмысленными глазами.

Мой сын – этим сказано все. Теперь не до игры в геройство, не до великих свершений. Людей, близости которых я искала, нет и не будет. Они остались в другом мире, и им до меня дела нет. Мне же надо начать другую жизнь, полную повседневных забот о себе и о маленьком существе, у которого никого, кроме меня, нет.

У меня не было особой сноровки в практической жизни, а на гражданке во время войны – тем более. Я боялась думать о будущем. Что я буду делать с ребенком в этом чуждом непонятном мире? Я никогда в жизни не пеленала младенца, я даже не умела сварить для него кашки! Наша мама не допускала своих двух таких умных и способных дочек к домашней работе*. Она делала все сама, потому что не бы-

* Путь моей старшей сестры в Палестину оказался короче: с помощью банковских займов нам удалось собрать необходимую сумму, чтобы вызвать в Латвию английского подданного, проживающего в Палестине, т.е. "сабру", для фиктивного брака. Моей сестре удалось с ним уехать в Палестину.

ло средств держать прислугу. Идеалом моих родителей, как и в других еврейских семьях, было дать детям образование, ”интеллигентную” профессию.

– Женской домашней работе всегда научитесь, эта специальность от вас не уйдет, – повторяла мама, как и тысячи еврейских мам того времени.

И вот я, взрослая женщина, с ребенком на руках, ничего не умею и ничего не знаю. У всех пациенток нашей палаты были мамы, бабушки, тетки, к некоторым приходили мужья. Ко мне не приходил никто. Писем я тоже не получала, даже от боевых подруг, дружба которых казалась нерушимой. Я их понимала: я была вне их мира и для них как бы уже не существовала. Только с одним существом я могла говорить от души – с моим сыном, когда его приносили для кормления. Молока у меня не было, я его кормила из бутылочки и говорила ему всякие ласковые слова на идише. Странно, я думала по-русски, читала, писала и выражала свои мысли наилучшим образом на русском языке, но самые сердечные, самые ”мои” слова получались только на идише. Сынок неотрывно смотрел на меня большущими внимательными глазами, и я совершенно точно знала – он все понимает. Он меня понимает.

Ко мне зашла женщина из персонала, что-то вроде социальной работницы. Она записала все данные и пообещала найти место в государственном санатории матери и ребенка в местечке Расторгуево недалеко от Москвы.

– Вы сможете там работать сестрой, и за вашим ребенком будет прекрасный уход.

Это был выход из положения хотя бы на первое время, и я была ей очень благодарна. Но дни проходили за днями, а я все еще находилась в больнице к неудовольствию администрации. Иван Яковлевич относился ко мне с явным презрением и каждый раз, проходя мимо моей сияющей чистотой тумбочки, подчеркнуто выговаривал мои сугубо еврейские имя и отчество:

– А вы еще здесь, Эстер Боруховна? – это звучало так издевательски, что одна больная посоветовала:

— Дала бы ты ему что-либо. Ежели собаке кость бросают, она лаять перестает.

Но у меня не было "кости" даже для себя.

— Пускай говорит, ведь меня действительно так зовут. Я еврейка, это мое имя.

— Еврейка?! — удивилась женщина. — Вот бы не подумала. Знаешь, ты права, и плевать тебе на него.

Я была благодарна ей за поддержку.

Самыми трудными были часы посещений. Повсюду начинался веселый разговор, передача семейных новостей или интимный шепот. Я отворачивалась к стене, чтобы как-то переждать это время, и старалась сосредоточиться на том, что вот скоро принесут детей и я останусь наедине с моим ребенком — ведь во время кормления каждая мать как бы отъединяется от внешнего мира, есть только она и ее дитя.

Однажды, когда палата наполнилась смехом и гомоном и я, как всегда, отключилась, повернувшись лицом к стене, вдруг послышался такой знакомый, такой родной голос:

— Эстер!

Я подумала, что не в своем уме, а может, просто недостаточно тщательно вырывала то, что намеревалась вырвать, и какие-то самые нежные корешки любви укрылись и вот дают о себе знать. Ведь я давно убедила себя, что он исчез из моей жизни, что я, в общем, совсем его не знала и что в повседневной жизни он, возможно, стал бы для меня чужим человеком. Да, чужим. Я нарочно вызывала в памяти его образ, чтобы убедиться, что уже не чувствую при этом никакого волнения. Но, как видно, победа над собой была неполной, иначе откуда этот голос? Нет, нельзя предаваться одиночеству, надо жить между людьми, видеть их и слушать живой говор, а не какие-то несуществующие голоса! И я повернулась от стены лицом к палате.

Борис стоял перед мной и держал в руке три веточки сирени. Первая мысль была — откуда сирень в начале мая, когда и черемуха только начала расцветать? Но тут же все недавнее нахлынуло на меня и затопило, и я не могла вымолвить ни слова.

Борис тоже молчал. Потом присел на край кровати и спросил:

– Этя, почему ты ни разу не написала, ведь я передал батальонному комиссару для тебя мой новый адрес?

Передо мной во всех подробностях возникла скамеечка у огороженной могилы на станции, тихий убедительный голос комиссара, его седоватые волосы и благообразное лицо.

Я сухо заметила, что адреса не получила и мне стало известно, что у него другая девушка.

– Как не получила адреса? Ведь я просил комиссара передать его тебе и в каждом письме спрашивал, почему ты не пишешь!

В его голосе было столько растерянности и недоумения, что мне стало его жаль – он действительно еще мальчик, искренне верующий в партию и комсомол, идеализирующий своего комиссара, как я в Люцине идеализировала в нашем молодежном сионистском движении своих "вожатых".

Я гладила его руку и говорила, как говорят ребенку:

– Боря, это уже в прошлом, война продолжается. У тебя другая девушка, к которой ты сейчас вернешься. Будущее никому не известно...

Он сурово перебил меня:

– Эстер, ты мать моего ребенка и моя жена. Я напишу матери, и ты поедешь к ней в Воронеж.

Я представила себе долгую дорогу, давку на станциях, беготню за кипятком, а где достать молока на дорогу? Ребенок может простудиться, заболеть, и в конце концов я приеду к незнакомой женщине, и неизвестно, как она меня примет... А главное – Борис. Правда, то, что он сказал, было сказано от всего сердца, но ведь там у него другая девушка, и кто знает, как все это кончится и кончится ли вообще. Нет, я не могу рисковать ребенком.

– Боря, – сказала я как можно мягче, – я твоей мамы совсем не знаю. И не могу к ней ехать без тебя. Я поеду в Латвию, и там ты меня найдешь, когда кончится война. "Если вообще еще будешь меня искать", – добавила я мысленно.

Он сидел, опустив голову. Соседки по палате переводи-

ли взгляды с него на меня и обратно. Ясно представилось, что они скажут после его ухода.

– Мне сказали, что тебя переведут в санаторий матери и ребенка, где за нашим сыном будет хороший уход, а ты сможешь работать сестрой. Я рад и спокоен за тебя.

Мы еще говорили что-то, но разговор прерывался на полуслове. Вдруг он поднял умоляющий взгляд:

– А можно мне его видеть?

– Конечно! – Я обрадовалась: значит, он действительно чувствует себя отцом.

Нянечка вынесла нашего ребенка, чистенького, завернутого в белые пеленки (наверное, их держали специально для показа, потому что обычные пеленки, как и постельное белье, все были темно-серого цвета). Прекрасные (по крайней мере для меня) серо-голубые глаза смотрели, не мигая, и даже нянечка восхитилась:

– Ну и красавчик он у вас! – и, оглядев нас: – Весь в папашу!

Борис просиял. Я проводила его до входной двери, и он крепко обнял меня.

– Я пришлю мой аттестат на адрес расторгуевского санатория. Жди меня, Этя, я тебя найду.

Мы поцеловались, и он ушел.

Когда я вернулась, в палате шел обо мне оживленный разговор, продолжившийся и в моем присутствии.

– Ишь, Манькова, какого молодца подцепила – старший лейтенант, и собой красивый!

– И что в ней такого? Сама малорослая, волосы черные.... – И тут пошли более интимные подробности о моей фигуре.

– А что ж! Мужики таких любят!

– Да что вы, бабы, ерунду мелете! Мужики, особо на фронте, все на сладкое падки, но есть настоящие, и есть просто кобели. Этот, видать, настоящий – с фронта прибежал жену навестить и сына повидать.

Разговор о классификации мужчин на ”настоящих” и ”кобелей” продолжался, пока не принесли детей, но меня больше не упоминали.

Дни шли за днями, женщины приходили и уходили, лишь я оставалась, как бельмо на глазу. Меня презирали за то, что ко мне никто не приходит (посещение Бориса было давно забыто), за то, что мне некуда вернуться, за то, что у меня нет ни денег, ни вещей, поражающих воображение ("Ты же из Латвии, как же у тебя ничего нет? Врешь, наверное. Вон другие приехали с одеждой, с ботинками хорошими, конечно, и золото у них спрятано"). Я чувствовала, что погружаюсь в примитивное и стойкое недоброжелательство. Ничего, скоро меня переведут в Расторгуево, начну работать, рядом будут более интеллигентные люди, с ними я вновь обрету уважение к самой себе, что и есть главное.

И вдруг – нежданная радость. Днем я задремала от скуки, а когда открыла глаза, возле меня сидела Айна! Хотелось вскочить, броситься ей на шею и расцеловаться всласть, но, зная ее характер, я сдержалась, только уставилась в карие, сияющие весельем и дружбой глаза.

– Айна!

Она засмеялась смущенно, тут же остужая меня:

– Ну, ладно, ладно, Этька, хватит, – и стала деловито вытаскивать из авоськи большой пакет, завернутый в промасленную пергаментную бумагу, и еще маленький мешочек, в котором оказался сахар. В пакете же был хлеб, зажаренный на яйцах. Затем из глубин авоськи была изъята миска с настоящей солянкой. Я была в восхищении.

– Айна! Ты и солянку умеешь готовить?

– Ну, нет, это все моя мама! – И мимоходом: – Мои родители приехали в Москву из эвакуации. Я хотела привезти тебе цветы и хоть какие-нибудь конфеты, но мама обругала меня дурой...

– И ослихой?

Айна засмеялась, подтверждая, и сказала, что мама, женщина деревенская и практичная, втолковала ей, что роженице первым делом надо быть сытой, а от цветов сытости не прибавится.

Мы продолжали весело болтать, но, всмотревшись в милое лицо, я увидела отеки под глазами и пятна на щеках.

– Айна, ты больна? Почему у тебя отечное лицо?

– Дурочка, что с тобой! Я совершенно здорова, но у меня были тяжелые роды, и после них еще осталась отечность.

Она говорила так просто и легко, будто родить так же несложно, как выпить чашку чаю.

– У меня родилась дочка, между прочим, вся в отца.

В ее глазах отражалось счастье. Она сообщила, что Латвия уже освобождена и они собираются всей семьей вернуться в Ригу. Я рассказала, что здесь был Борис и предложил мне поехать к его матери.

– И ты согласилась?

– Нет. Она – чужой человек. Я надеюсь вернуться в Латвию и повидать родителей, а дальше увидим.

Айна странно посмотрела и ничего не ответила. Наступило молчание, оно затягивалось. Мне стало неловко, а потом жутковато, будто тьма надвигается и закрывает не только небосклон, но и все вокруг.

– Айна, почему ты молчишь?

– Этька! – Я увидела перед собой темные суровые глаза. – Никого из латвийских евреев не осталось в живых.

Насколько я могу восстановить в памяти следующий момент – это была невесомость: обрубленная ветка обрубленного дерева. Не ужас. Не печаль. Пронеслась мысль: может, действительно, поехать к матери Бориса? В эту пустоту ворвался сердитый голос Айны, будто читавшей мои мысли:

– Этька, тебе надо полагаться только на самое себя. Твой Борис убит две недели тому назад. Мне сообщил это комиссар Б., который побывал в Москве.

Брови ее были сдвинуты. Я знала Айну – она входила в гнев, когда нельзя было помочь.

Я по-прежнему ничего не чувствовала – только ощущение, что все вокруг отрешилось от меня и я нахожусь в новой, непонятной пустоте, еще больше усилилось.

Айна бросилась ко мне, схватила за руки:

– Этька, приди в себя! Ведь ты не одна, у тебя есть сын! Когда можно будет, ты приедешь в Ригу ко мне! Я тебя не оставлю.

Мне страшно захотелось закричать во весь голос и затрястись в рыданиях на плече Айны. Может быть, я так бы и сделала, но в эту минуту в палату вошел Иван Яковлевич. Он направился прямо ко мне.

"А, – подумала я со злобой, – учуял передачу и спешит снять пробу".

Но я ошиблась.

– Ну, Эстер Боруховна, завтра вас переведут в детский санаторий в Расторгуеве.

Тон его был дружелюбный.

Я поблагодарила и даже предложила попробовать моего угощения, но он, как видно, застеснялся Айны и отказался.

Айна внимательно поглядела и сказала очень обыденно:

– Этька, надо жить и растить сына, это главное. – Она обняла меня за плечи. – Мы с тобой многое прошли, но мы сильные и много сумеем перенести в будущем.

Уже поднявшись, добавила:

– Ты приедешь в Ригу прямо ко мне.

Мы попрощались. Я осталась одна.

Сейчас никто не мешал мне плакать, но я не могла. Я боялась домыслить и додумать все до конца. Ведь надо жить и растить сына, надо думать о самом насущном и ежедневном, а этот всеобъемлющий ужас нужно упрятать и додумать потом. Вот, завтра я прибуду в Расторгуево, начну работать, потом поеду в Латвию, а там увидим. Вдруг что-то кольнуло меня в самое сердце – это было именно физическое ощущение: кольнуло. Латвия? Там, где истреблены все евреи, а латыши и слова не сказали? (Я тогда еще не знала о сотрудничестве многих латышей с немцами.) Нет, в Латвию я не вернусь. Мне Советская власть поможет устроиться. Ведь я воевала на фронте.

* * *

На следующее утро я отправилась в Расторгуево. Санаторий находился вне городка. Это был симпатичный двухэтажный особняк, до революции принадлежавший купцу Растор-

гуеву. Серебрились белые стволы берез, разбросанных по пригорку, и просвечивались на майском солнышке нежные листочки. Красота. Моему сыну будет тут хорошо. Немного отлегло от сердца, и я направилась в контору покончить с формальностями, а оттуда – в главное здание. Внутри дом не выглядел там приветливо. Краска на полу облезла, стены пооблупились. Внизу были спальни взрослых, а детские – наверху. Из большой, заставленной койками комнаты выглянули любопытные.

– Еще одна прибыла. Поглядите, собой здоровая, но ростом маловата.

– Ладно, мамаши, уделите новенькой место, и хватит разговаривать! – повелительно-презрительным тоном сказала моя сопровождающая. Мне указали мою койку, и мы поднялись наверх в детскую комнату. Тут было просторно, на окнах – занавески, постельное белье сравнительно бело, и дети были укрыты чистыми, хотя и заплатанными одеялами. Я уложила сына в кроватку, и меня повели ознакомиться с порядками учреждения. В бельевой выдали семь пеленок и два полотенца для ребенка, и только я отправилась было наверх уложить их около детской кроватки, как была предупреждена, что если их украдут, других не дадут, и я буду ответственна. Так что я их должна держать у себя. Я заметила, что ведь и внизу могут украсть, и дежурная сестра посоветовала:

– Когда идешь наверх, бери с собой, а если выходишь из дому, спрячь хорошенько.

О кражах я слышала в Люцине: там появлялись цыгане, и было известно, что цыганки крадут все, что попадается под руку. На фронте у нас не было ни единого случая кражи, это невозможно было помыслить.

Подошло время обеда. Кухня и столовая находились примерно в метрах двухстах от главного дома. Мы, то есть "расторгуевские мамаши", уселись за длинными столами. Подали овощной суп, заправленный перловой крупой, – так это называлось. На вкус я ощутила только соль и с тоской припомнила фронтовые супы, когда мы не были оторваны от кухни, – наваристые и сытные. На второе была хлебная

запеканка, то есть остатки черного хлеба, смоченные водой и поставленные в печь. Сверху месиво покрыто тонкой корочкой, скромно обсыпанной сахарным песком, а под ней была липкая, кислая, непропеченная масса. Я сглотнула кусочек и не смогла продолжать. Предложить кому-нибудь из соседок я постеснялась, но одна тут же вызвалась докончить мою порцию, если я позволю. Я позволила. Заведующая столовой, пышная блондинка с волосами, выжженными перекисью водорода и металлически неподвижными от недавней завивки, громко вопросила в пространство, очевидно, считая присутствующих недостойными того, чтобы обратиться к кому-нибудь лично:

– И откуда взялась эта новая мамаша, что едой брезгует? – Она была уверена, что найдется, кому ответить.

– Она из Латвии, – сказал кто-то.

– А, из Латвии, – в голосе заведующей послышалось даже уважение – не ко мне, конечно, а к Латвии, где она, по ее словам, жила целый год и купила две шубы, пальто "демисезон" и три жакетки из чистой шерсти. Она потом часто рассказывала о Латвии, когда приходила на кухню, где "расторгуевские мамаши" чистили картошку или обрезали гнилые листья с капустных кочанов. Она с восторгом повествовала о продуктовых лавках, магазинах готового платья и о Латвии вообще, как о земле Обетованной, и с презрением заключала:

– А вы, мамаша, ничего с собой не вывезли, вот и остались при одной шинели!

Действительно, что значила в глазах этой гладкой блондинки какая-то "мамаша", которую не стоило даже и по имени называть, потому что много их и кто их там разберет, да и с собой ничего интересного не привезла. Тогда же, в мой первый день, она сделала мне внушение:

– А знаете, мамаша, что это детский обед? Советская власть кормит вас (то есть "мамаш") как детей, вы должны быть благодарны ей за заботу, а вы брезгуете пищей, которой наши дети не брезгуют.

Давно подобные речи не производили на меня такого

впечатления, но удивляться, как видно, я все-таки еще не разучилась:

– Что? Такую гадость дают маленьким детям?

– Мамаша! – оскорбленно-величественно произнесла заведующая с неким официальным нажимом. – Если наш государственный санаторий матери и ребенка вам не нравится, можете тут же его оставить.

Женщины спокойно доедали то, что называлось хлебной запеканкой, и бросали на меня насмешливо-сочувственные взгляды.

Вернувшись в "большой дом", я увидела на просторной веранде обедающих детей – от полутора до четырех лет. Они смирно сидели над своими тарелочками и слизывали сахар, а потом нехотя жевали оставшуюся кислую жвачку. Подходить к ним было нельзя "из-за распространения инфекции". Непонятно, кто на кого переносит инфекцию, но очень хотелось посмотреть, как дети играют, и я остановилась поодаль. Дети задвигали стульчиками, вставая из-за стола. И тут открылась картина, которой я не забыла до сих пор. Первой вышла худенькая девочка лет трех-четырех с огромной пуповой грыжей, которая выпирала, как живот беременной женщины. Потом пошли большеголовые рахитики с кривыми ножками, мальчик с бельмом на глазу, несколько хромающих и покрытых разными болячками. При виде этих маленьких существ, вяло двигавшихся по веранде, мне сделалось страшно за моего сына.

Рядом остановилась "мамаша" Шура, худощавая узколицая и с высокой грудью, обильной молоком.

– Вот что значит, когда дети без матерей, и всем на них наплевать.

– Шура, как это наплевать? Ведь сейчас война и негде взять для них хорошее питание! Это авитаминоз и отсутствие белков!

Шура сощурила узкие зеленоватые глаза.

– А ты парники не видала? И курятника тоже не видала?

– Какие парники? Какой курятник?

– А при въезде, в сторонке, – прекрасные парники раз-

ведены! Там и огурцы, и помидоры уже поспели, и даже клубника есть, а в огороде капуста да свекла. Подальше – курятник, там куры несутся.

Я глазела на Шуру.

– Это принадлежит санаторию?

– А то кому же?.. Круглый год овощи поспевают.

Я перевела взгляд на уродливые детские тельца с их замедленными движениями и уловила такую же вялую замедленную детскую речь.

– Что, по ним не видно, что объедаются клубникой и яйцами?

– А кому же это все достается?

– Найдется кому, поживешь тут, сама увидишь.

Я пожила несколько месяцев и увидела.

* * *

На втором этаже были комнаты сосунков. В одной помещались "сиротские" дети, а во второй – "мамашинские", как определила нянечка тетя Паня. Она работала с "сиротскими", матери сами ухаживали за своими детьми, кормили, пеленали, купали. Еще в больнице у меня с первой недели пропало молоко, и я кормила сына из бутылочки. Он очень слабо прибавлял в весе и часто плакал. Кроме того, у него начался понос, которым болело большинство детей без грудного молока.

В санатории, как во всяком советском учреждении, имелись все необходимые по штату служащие: нянечки, сестры, врачи. Вначале был только один врач – Эсфирь Самойловна. Ее облик поразил меня не менее, чем больные дети. Она была невысокая, с круглым, моложавым, типично еврейским лицом, в старом заплатанном ватнике, стоптанных валенках, а на голове был повязан большой неясного цвета платок, для утепления перекрещиваемый на груди. Господи, это же – доктор! В моих, все еще в Люцине укоренившихся представлениях, доктора принадлежали к высшему обществу, и вот передо мною молодая женщина-врач выглядит как бед-

ная колхозная старуха... Во мне шевельнулось даже презрительное недоверие: наверное, какая-нибудь неудачница, давно себя не видела в зеркале, потому и не потеряла еще уважения к своей особе. Только позже я оценила ее преданность работе и познания в медицине.

Каждое утро был врачебный обход. Эсфирь Самойловна тщательно осматривала, выстукивала и выслушивала детей. Но чем она могла помочь, если причиной всех болезней были недоедание и понос от молока, обильно разведенного водой? Мой сынок не был исключением и тоже заболел зеленоватым поносом от такого кормления. Он лежал бледненький и не прибавлял в весе. Я знала, что его ждет, потому что часто заходила в "сиротскую" комнату. Крошечные старички с впалыми щечками и широко раскрытыми равнодушными глазами, глядевшими в никуда, умирали еженедельно по одному, по два. Это была повседневность. Они даже не были подкидышами – их не подкидывали у ворот детдома, их находили на задворках, на трамвайных линиях, на дровяных складах, где они чудом не успевали умереть. Их добрым гением была тетя Паня. Она была неопределенного возраста, неопределенной наружности, курносая, с серым пучком волос на затылке с воткнутым туда гребешком и с серыми небольшими глазами. Такие лица, казалось, я сотнями встречала по всей России.

Когда она принимала вновь поступившего завшивевшего (да, завшивевшего, несмотря на двухнедельный возраст) ребеночка, ее лицо озарялось улыбкой, преображавшей ее в красавицу, – то было прекрасное лицо, от которого трудно было оторвать глаза. Тетя Паня купала, бережно завертывала детей в чистые казенные пеленки и со знанием дела принималась вычесывать вшей из маленьких головок с редкими волосенками. У нее единственной при смерти малышей навертывались слезы.

Мой сын часто плакал, и сестры будили меня. Однажды меня разбудили в пять утра. Я сидела и качала сына, ожидая семи часов, когда из кухни принесут бутылочки с детским молоком. Тетя Паня пришла в полседьмого, быстро, ловко

перепеленала детей, перестелила кроватки, и вот, наконец, принесли детские бутылочки в специальных сетках. Из "мамаш" еще никого, кроме меня, не было, и тетя Паня была уверена, что она одна. Через полуоткрытую дверь "мамашинской" комнаты я увидела, как тетя Паня отливает в эмалированную кастрюльку от каждой бутылочки немного рисовой кашки.

Не хотелось верить своим глазам. Я подошла к двери и тихонько спросила:

– Тетя Паня, что вы делаете? Ведь эти дети умирают от недоедания.

Она повернула ко мне скорбное лицо и тихо ответила:

– Маня (мое имя Эстер было здесь слишком необычным), моя Любка сидит дома одна голодная и неухоженная. Если тут дите помрет, по нем никто не заплачет (хотя именно она единственная утирает здесь слезы!), а если моя Любка помрет, ох, как я плакать буду!

Я молчала. Разве я была лучше? Разве я для своего ребенка не украла бы молоко? Однажды, воровато оглянувшись, я сняла с веревки чужие пеленки, потому что два часа назад кто-то снял мои.

Я пригляделась к бутылочке, приготовленной для моего сына, и только сейчас меня поразила голубоватая прозрачность рисовой кашки, содержавшейся в ней.

– Ну, поняла? Разве такое молоко бывает?

Я знала, какое бывает молоко – белое с желтым оттенком и вкусной коричневой пенкой, так было дома. Но, порывшись в своих медицинских знаниях, я вспомнила, что грудничкам нельзя давать полного молока, потому что это вызывает понос, что и сообщила тете Пане.

– От многой воды тоже бывает понос, – был ответ. – Когда молоко прибывает по числу детей, то, само собой, литр идет директорше, потом – заведующей кухней, видела, какая здоровая? Ей молоко в пользу. Ну, потом сестра-хозяйка и главная повариха, потом сестры – может быть, у них тоже дети, а что остается после этого, доливается водой и дается грудничкам.

Говорила тетя Паня с той уже виденной мною когда-то покорностью, как говорят о засухе или наводнении.

Я дала сыну бутылочку и ясно увидела, что лицо его отливает такой же голубоватой прозрачностью, как эта реденькая рисовая кашка.

Появились остальные "мамаши". У большинства было грудное молоко, и их дети выглядели здоровыми и цветущими. Около меня сидела Шура, она кормила двоих: своего мальчика и девочку женщины из нашей дивизии, у которой с первой минуты пропало молоко. Девочка родилась преждевременно и была очень маленькой. За ее кормление Шура получала двойной хлебный паек от учреждения, а от Маруси, матери, – деньги и продукты, их присылал Марусин друг из армии, он был интендантом, имел доступ к продуктовым складам, в дивизии считался тыловой крысой, а где-то в тылу у него были жена и дети.

Начался врачебный обход. Эсфирь Самойловна, подойдя к кроватке моего сына, была деловита.

– Понос был?

– Был.

– Диспепсия.

Сердце у меня сжалось, потому что от этой самой диспепсии – беспрерывного зеленоватого поноса – умирали каждый день "сиротские" грудничкй.

Эсфирь Самойловна отозвала меня в сторону и, указав глазами на Шуру, сказала:

– Манькова, без грудного молока ваш ребенок не выдержит. У нее много молока, может, хватит и на вашего.

Я смотрела на молочную грудь Шуры и не смела просить ее покормить третьего ребенка. Я держала на руках сыночка, и на одеяльце падали холодные безнадежные слезы.

– Ишь, насосались и отвалились, как щеночки. А у меня еще молоко осталось. Дай, Манькова, я твоего покормлю, – сказала вдруг Шура.

Она подкармливала моего сына, и через некоторое время его щечки округлились, прозрачность сошла, и он уже не так походил на сиротских младенцев, которые продолжали

безропотно умирать. Прошел еще месяц, Шура нажала на соски, но из них ничего не выходило.

– Пусто! Мне бы еды побольше, тогда б и молоко прибавилось. Но где ее взять?

Вот именно, где взять эту еду, если я сама чувствовала непрестанный голод?!

– Шура, я отдам тебе мой хлебный паек.

– А сама голодать будешь? Надолго ли тебя станет без хлеба?

Все это я сама прекрасно понимала: хлеб был нашим главным питанием, суп и "второе" питательных веществ почти не имели. К счастью, Эсфирь Самойловна нашла выход. Дело в том, что сиротские младенцы страдали язвами и фурункулами, и докторша, отчаявшись от отсутствия действенных медикаментов (до санатория они вовсе не доходили), решилась на новое, вошедшее тогда в употребление средство – переливание крови. Конечно, группа крови у детей была неизвестна, делать на месте агглютинацию не было возможности, но докторша решилась попробовать, благо подопытных было в достаточном количестве. Для этого нужна была кровь; отдавая каждый день двадцать-тридцать граммов крови, донор получал хлебный паек. Я ухватилась за этот выход. Почти каждый день я подставляла вену, докторша брала нужное количество крови и внутривенным уколом вливала в кровь ребенка. Не знаю, как влияли эти уколы на детей, они и без уколов умирали от изможденния из-за непрерывных поносов, и никто не расследовал причину смерти. Я приносила Шуре заработанный паек, и она кормила моего ребенка. Она старалась уделить ему молока даже в те дни, когда у меня не было для нее хлеба.

– Ишь, здоровые какие, хватит вам, насосались. Надо и о других подумать, – уговаривала она своих сосунков, отрывая их от груди, чтобы подкормить моего сына.

Из "расторгуевских мамаш", то есть собранных с разных концов России одиноких женщин, я помню одну – крепкого, почти мужского сложения, с копной жгуче-рыжих волос; она играючи мыла полы и стирала, но и пальцем не ше-

велила, чтобы помочь другим. В конце октября, когда в комнатах сосунков было не выше 12 – 13 градусов, а в комнате "мамаш" (нам дров вообще не выдавали) вымерзали стиранные пеленки (было в этом и преимущество: неудобно красть пеленки на глазах у всех), появилась директорша, что было чрезвычайным событием, и заявила, чтобы мы сами позаботились о дровах для наших детей, иначе они замерзнут, ибо в учреждении не хватает дров и для сиротских детей, о которых некому заботиться, кроме государства.

– А где же их взять, дрова-то? – недоумевали "мамаши".

Директорша жестом полководца простерла руку к окну и указала на живописную группу деревьев.

– У дяди Коли, сторожа, возьмете пилы и топоры. Пилите только березы, они лучше горят.

Итак, не размышляя о законности или незаконности нашего деяния, я пошла со всеми рубить эти прекрасные белые березы и пилить их на части, чтобы детям было тепло. Рыжая "мамаша" как бы шутя ловко срубала стволы, которые мы, не мешкая, распиливали. Когда дело было сделано, мы, раскрасневшиеся и довольные собственной лихостью, стали соображать, как доставить наше добро на холм, с которого так красиво смотрелся наш санаторий. Естественно подумать, что тут способ один – погрузить распиленное на санки, хорошенько привязать и везти наверх, благо что "мамаш" много; если тяжело, две могут сзади подтолкнуть. Но загвоздка в том, что санок никто не давал, потому что "расторгуевские мамаши ишь какие здоровые, могут и на себе потащить, нечего им зазря государственный хлеб есть". Рыжая оглядела всех насмешливо:

– Давай, девушки, бери кто что может, за нас никто стараться не будет, – и, вскинув на плечо тяжелый обрубок, стала легко и упруго подниматься.

Я попробовала поднять бревно, но никак не могла взвалить его на плечо. Рыжая "мамаша" посмотрела на меня с вершины своего роста, ее крепкие ноги принесли ее уже почти на середину холма, и крикнула при общем хохоте:

– Смотри, какая здоровая, вся вширь раздалась! Спать с

мужиками умела, ну, и работать сумей! За тебя никто таскать не станет!

Я стояла красная и напряженная. Каждая женщина взвалила на себя по чурке, но, не в пример рыжей, многие выбирали полегче. Я опустила голову, чтобы они не увидели закипающих слез. Вдруг кто-то толкнул меня вбок, и Шурин голос скороговоркой приказал:

– Дура, бросай тяжелую чурку и бери полегче, а то другие расхватают! – и, погрузив на мое плечо чурку полегче, она подтолкнула меня вперед.

Я поднималась медленно, скользя по снегу, глаза застилал пот. Когда я была близка к цели, подъем сделался круче, ноги заскользили, и я почувствовала, что если не брошу сейчас бревно, полечу вниз вместе с ним при издевательском смехе "мамаш". Но как раз в эту минуту тяжесть спала с моих плеч. Это Шура, уже успевшая донести свое бревно, сбежала помочь мне и приняла груз на себя.

– Ладно, почти уже донесла, хватит с тебя, давай теперь мне.

Бревно уже лежало у нее на плече.

– Не надо, Шура, я только немного отдохну и понесу, – сказала я, а сама съежилась от страха, что Шура со мной согласится.

– Хватит, хватит. Лучше на себя посмотри! – она уже поднималась впереди. Недалеко от санатория Шура повернулась и деланно вздохнула: – Устала я что-то, донеси сама.

Все "мамаши" уже свалили свою ношу во дворе санатория, и нас никто не видел. Господи, сколько в этой женщине было доброты и деликатности!

Меня встретили без насмешек, даже с некоторой симпатией:

– Вишь, молодая, донесла-таки, и ничего с тобой не сделалось.

Шура, стоя неподалеку, подмигнула мне.

Работа кипела. Рыжая "мамаша" колола с мужицкой хваткой, и при каждом взмахе топора ее копна, как пламя, взлетала вверх. В ней были такая мощь и гармония движе-

ний, что нельзя было не залюбоваться. И женщины любовались и восхищались:

– Ну и дает! Вот молодец! Эта всем мужикам нос утрет!

Тонко нарубленные дрова несли в детскую, и вскоре запылала печь, сделалось тепло и уютно. Две женщины из нашей дивизии каким-то образом увернулись от этого мероприятия, но их никто не упрекнул, и видно было, что они не страдают от угрызения совести (ведь они не были еврейками!). Итак, все кончилось хорошо, и директорша, зайдя в детскую, похвалила нас. Но на следующий день...

Было около пяти часов, время кормления, и все "мамаши" были в сборе. Дверь широко раскрылась, и энергичным шагом вошла директорша, за ней – какой-то мужчина.

– Вот они, мамаши, – указала она на нас и сдвинула крашеные брови.

– Мамаши, вы обвиняетесь в разбазаривании государственного имущества. Этот товарищ – лесничий. Его задача – охранять рощи, леса и вообще насаждения. Вы обвиняетесь в рубке берез, украшающих местность. Я хочу знать: кто из вас участвовал в преступлении? – Дальше последовала тирада о бессовестности "мамаш", живущих за счет государства, преступающих законы, и что это не советские люди, а вредители, и т. д. и т. п. В заключение она как советский человек обещала выявить виновных и отдать их под суд.

Женщины сидели, опустив головы, устремив взгляды на своих малышей. Одна я, подняв голову, глазела на директоршу изумленным взглядом. Если бы она хотя бы подмигнула, я бы догадалась, что все это только для видимости, надо же ей при лесничем показать свой патриотизм. Но лицо ее выражало гадливость к безымянным "мамашам", ворующим дрова и бесчестно срубающим отечественную красоту. Одна из наших латышек, как видно, зная мой характер, больно толкнула меня ногой и скороговоркой бормотнула:

– Держи язык за зубами, а то всем плохо будет.

Я опустила голову и присоединила свое молчание к безличному молчанию "расторгуевских мамаш". Директорша, более не удостаивая нас взглядом, удалилась с лесничим. Я

была пришиблена: как она могла? Ведь она сама нас посылала! Вокруг шли разговоры.

– Ну и что ж, и очень просто, плевать ей на нас, она бы отдала нас под суд, как пить дать, да сама понимает, что ей от этого хуже будет.

– Почему? – удивилась молоденькая "мамаша", худенькая девочка из далекого сибирского поселка.

– А потому что и на нее можно накапать, она знает, что в таком случае никто молчать не станет.

– А лесничему что она скажет? – продолжала недоумевать девочка-"мамаша".

– Не бойсь, – сказала, презрительно улыбаясь, рыжая, – эти между собой договорятся. В курятнике куры несутся, в парниках овощи поспели. Ну, лесничий и получит, что ему за молчание полагается.

Женщины разошлись по своим углам. Они были правы, никто не был отдан под суд, а в детской было тепло. Поэтому мы там долго засиживались.

Однажды я осталась наедине с девочкой-матерью. У нее были большие прозрачно-зеленоватые глаза. Наверное, ей необходимо было с кем-то поделиться в этой человеческой пустыне, и она разговорилась. Отец ребенка очень ее любит и непременно позаботится о ней, просто она не успела сообщить ему адрес, а кроме того, в ту отдаленную часть письма идут очень долго. Я согласно кивала, и тогда она рассказала со всеми подробностями историю своей подруги. Подруга была связисткой при штабе батальона. Командир батальона был рослый, красивый, веселый. Они полюбили друг друга, их часть стояла в резерве, и можно было встречаться каждый день. Она была счастлива. Но через три месяца подруга почувствовала, что беременна. Она испугалась и среди бела дня побежала к своему другу и командиру рассказать о своих опасениях, благо что в землянке никого не оказалось. Он приласкал ее, успокоил, велел ни о чем не задумываться и в тот же вечер назначил встречу на их поляне. Расцеловал ее, и она ушла обнадеженная. В сумерки прибежала на полянку и села под деревом в ожидании друга. Он явился, когда стемне-

ло, в отлично пригнанной гимнастерке, в сверкающем в темноте подворотничке (она сама стирала и пришивала ему подворотнички), в сапогах, начищенных до блеска. Она любила его светлый чуб – этот чуб сейчас трепал легкий ветер. Он был очень красив. Но он не сел рядом, не обнял ее, а кратко приказал:

– Встань!

Он был ее возлюбленным, но также и командиром, и она поднялась. Тогда, отойдя на два шага, он размахнулся, перед ней сверкнул сапог, и она почувствовала страшный удар в нижнюю часть живота. Она упала и сквозь туман увидела его удаляющуюся спину. Когда очнулась, вокруг была чернота, и она почувствовала, что лежит в чем-то липком. Она знала, что это кровь, и страх умереть от потери крови придал ей силы. Она выползла на лесную военную дорогу. На нее наткнулись бойцы, вышедшие на задание. Посветив фонариком и увидев девушку в луже крови, они испугались, двое смастерили носилки, и ее отнесли в санчасть, а оттуда быстро отвезли в госпиталь, где все-таки сохранили беременность.

Рассказчица задумалась.

– Ну и что, – спросила я, – родила она?

– Родила и, представь себе, совсем здорового ребенка. Только зачем ей этот ребенок?

В ее глазах не было вопроса, одна безнадежность. "Да, – подумала я, – зачем ей ребенок, ведь она сама ребенок".

Помню красивую рослую женщину с полугодовалой девчушкой, пухленькой и веселой, все время лепечущей, улыбчивой. Моему сыну исполнилось уже четыре месяца, но он весил три килограмма и лежал в кроватке тихий и грустный. Ко всем болезням прибавился кашель, и однажды он страшно закашлялся, посинел и почти почернел. Он задыхался. Безотчетно, не думая, я повернула его головой вниз и легонько ударила по спине; из горла выскочил темный, липкий сгусток мокроты, и сын громко заплакал. Он плакал, значит, жил. Кулак страха, сжавший мое сердце, разжался. В каком-то опустошении я укачивала его, плачущего, на руках, и из

глаз помимо моей воли катились слезы. Рослая красивая "мамаша" недоуменно посмотрела и сказала соседке:

– И чего Манькова плачет, убивается. Хоть бы моя Танька померла! И мне руки бы развязала – вот бы я рада была!

Но ее Танька весело улыбалась, сияя ямочками на румяных щечках, и совершенно не собиралась обрадовать свою мать.

Во мне росли чувство острой зависти к этой женщине, что у нее такая прекрасная здоровая дочка, и горькая обида на судьбу: почему именно мой ребенок, который для меня все на свете, такой худенький, и жизнь в нем еле теплится. У Шуры уже не хватало молока на троих детей, а у меня не было лишнего пайка – лечение гемотерапией прекратилось. В то время я уже работала сестрой, но получала девяносто рублей в месяц как работающая "мамаша". Этого хватало на покупку буханки черного хлеба – не в Расторгуеве, а в Москве, на привокзальном черном рынке.

Была у нас еврейка из русской части. Она преданно ухаживала за своим ребенком, была аккуратно и хорошо одета, от нее веяло устоявшимся благополучием, так что "мамаши" и персонал относились к ней с уважением. Раз в две недели она получала с фронта письма от мужа и читала их в детской комнате, сияя от счастья. Когда приходил почтальон, к нему устремлялись все, кроме меня. Вот и сейчас она, одна из немногих, получила письмо, уселась у кроватки сына на маленький стульчик и нетерпеливо разорвала конверт.

Вдруг ее полное тяжеловатое лицо побледнело до мучнистого оттенка, глаза впились в строчки, но слез не было. Было ясно, что случилось несчастье. Может, муж ранен, а может – его уже нет в живых. Ее окружили, соболезнуя и расспрашивая. Но она вдруг встала с лицом волевым и решительным.

– Ничего не случилось, все в порядке, – и вышла из комнаты.

Назавтра она долго говорила с одной сестрой, на вид более симпатичной и интеллигентной, чем другие. Через несколько дней лихорадочной деятельности и беготни по военным учреждениям Москвы она вернулась на фронт, оставив сына

на попечение выбранной ею сестры, отдав ей все деньги и вещи, бывшие на ней, и пообещав присылать с фронта еще.

После ее отъезда сестра с увлечением рассказывала всему персоналу и "мамашам", что незадачливый муж перепутал адрес, так что жена получила письмо к любовнице, полное сладостных воспоминаний и сердечных излияний, а любовница – благоверное послание, состоящее из заботливых вопросов и выражений душевной поддержки. Несчастная жена помчалась спасать остатки семейного счастья, бросив ребенка на уверения приличной на вид сестры. Ребенок через неделю заболел поносами под ученым названием "диспепсия". Он быстро терял в весе и через короткое время стал похож на остальных "сиротских", а точнее, брошенных детей. Каждую неделю женщина справлялась в письмах о здоровье сына. Она писала, что помирилась с мужем и после войны приедет забрать ребенка.

– Ясно, – говорила сестра, – кобеля своего боится оставить.

У нее спросили, сообщила ли она матери о состоянии сына.

– Чего сообщать-то? – рассмеялась сестра. – Пока жив, она мне деньги присылает и вроде заботится, а когда помрет (в этом не было никаких сомнений), я ей напишу. Она же в душе обрадуется, что руки развязаны. А ей полагается, – добавила сестра со злобой, – бросила ребенка из-за мужика.

Через некоторое время мальчик умер, и сестра села писать письмо. Она показала его нам. Письмо было написано мелким красивым почерком, виднелись следы слез, сестра описывала, как ей тяжело, как всем сердцем она привязалась к ангелочку и как она сочувствует горю матери.

* * *

К нам прибыла новенькая. Коренастая, физически очень сильная, в лице хитрость и какая-то животная тупость. Говорили, что она "блатная". О блатных я знала по книгам Макаренко, что у них за внешней грубой оболочкой скрывают-

ся прекрасные внутренние качества Мустафы или Кольки Свиста (герои фильма "Путевка в жизнь"). Она увидела, как я развешиваю хлебные пайки (мне всегда приходилось добавлять из своего), и хмыкнула:

– Ну, куда тебе! Ты так весь свой паек разбазаришь. Дай я разделю – и увидишь, еще с нарезкой останусь.

Она быстро и ловко нарезала пайки, и, действительно, ей еще осталась нарезка – двести граммов, то есть полпайка.

– Вот как надо!

– Ты работала в пекарне или в магазине и там научилась? – спросила я восхищенно.

– Там, где я работала, всему научишься, – буркнула она.

Все "мамаши" знали, что паек урезан, но никто не протестовал. Шура объяснила это так:

– Разве ты не видишь? Это же блатная. С нею лучше не связываться.

Как во всяком детдоме, у нас были ночные дежурства от двенадцати ночи до семи утра. Блатная с готовностью заступила на дежурство – за себя и за других (за небольшое вознаграждение хлебом или другим съестным, Бог знает где и как добытым). В "сиротской" комнате были крошки, которых кормили в полночь. В одну из ночей я сидела возле сына – докторша велела кормить его также и в двенадцать ночи, хотя по его возрасту ему давно полагалось спать до утра, но по своему весу он должен был получать питание каждые три часа. Дежурная блатная косилась на меня и вдруг предложила:

– Чего ты мучаешься с ним днем и ночью, пошла бы спать. Сейчас принесут бутылочки, и я покормлю его первым.

Я поблагодарила и осталась при сыне. Она вышла и быстро вернулась с сеткой, в которой были бутылочки с детской кашкой.

– Ну, раз ты тут сидишь, я пойду сперва в сиротскую. – Она ушла и закрыла за собой дверь. Накормив сына, я собралась уходить, но что-то заставило меня потихоньку открыть дверь и посмотреть, что делается в соседней комнате. Блатная сидела на стульчике для кормления и, широко расста-

вив ноги, жадно вычерпывала ложкой детскую кашку, слитую в большую стеклянную банку.

– Что ты делаешь?! – закричала я.

– Тебе какое дело? – огрызнулась она. – Твой сыт? Ну и ладно, помалкивай!

– Как какое дело? Они и так умирают от недоедания, а ты у них последнее отнимаешь!

– Умирают? И пусть умирают! Кому они нужны? А я молодая, мне много сил надо, понятно? А ты, – добавила она угрожающе, – ничего не видала и не слыхала, а то хуже будет.

Утром я решила предупредить матерей, чтобы не полагались на ее дежурство. Я рассказала все Шуре, уверенная, что она меня поддержит. Но Шура реагировала совсем иначе.

– Боже упаси сказать что-нибудь. Она же в отместку твоего ребенка повредит, что тогда делать будешь? Жаловаться? Помни, ты ничего не видала и ничего не слыхала. Понятно?

Мне сделалось очень понятно и жутко. Действительно, кому жаловаться? Директорше? Но она невзлюбила меня еще с того дня, как приехала комиссия из наркомздрава...

В то утро весь персонал был на ногах. Все начищалось и мылось до блеска. Окна стали совершенно прозрачными, все преобразилось до неузнаваемости. Но, вернувшись с обеда и зайдя в вестибюль, мы обомлели: у окон появились кадки с фикусами, на окнах красовались белейшие занавески, а у лестницы на второй этаж стояли в больших кадках самые настоящие пальмы. Сама лестница была устлана красной дорожкой, будто сюда на прием соберутся представители великих держав. Но самым восхитительным чудом, придавшим всей этой торжественности вид милой детской обители, были две большие, в человеческий рост, куклы, изображающие Серого Волка и Красную Шапочку. Куклы стояли у первой ступеньки, как бы приглашая подняться наверх и приобщиться к "счастливому детству".

"Счастливое детство" тихо лежало в кроватках, не плача и не улыбаясь, глядя в пространство огромными погашенными глазами – впрочем, лиц нельзя было разглядеть, так как лоб прикрывали новые розовые и голубые чепчики (для раз-

личия пола), а тельца были укрыты такими же новыми, нежно-розовыми и бледно-голубыми мягкими одеяльцами. Нянечки с гордостью разглаживали складки на чистых, только что вытащенных из шкафов халатах.

И вот настала торжественная минута: появились три женщины и мужчина, комиссия из московского наркомздрава. Мужчина, как и все мужчины того времени, не бывшие на фронте, носил полувоенное обмундирование хорошего качества, то есть брюки "в диагональ"* и такой же френч, но без погон. Он в основном молчал. Но женщины... О да, тут есть что сказать. Был пасмурный день, и они были в вязаных жакетках и шерстяных юбках. Волосы уложены по последней моде, а у одной даже перманент. Но поразительнее всего были туфли, настоящие женские кожаные туфли, не виданные нами с начала войны.

"Мамаши" стояли перед этими явившимися с высот дамами в застиранных гимнастерках, в старых грязноватых платьях (ведь мыла не давали) и в стоптанных кирзовых сапогах.

– Мамаши! – возвысила голос одна из наркомздравовских начальниц, с полным разглаженным лицом, в блистающе-белой, отлично разутюженной кофточке, видневшейся под жакеткой. Было в этом безразличном обращении что-то до того унизительное, что все, даже рыжая силачка, опустили головы, будто провинились. Мы не были "товарищи", как принято обращаться в Советском Союзе, мы даже не были "гражданки", мы были особая, никому не нужная, "обузой лежавшая на государстве" часть населения. – Мамаши! Почему вы так неаккуратно одеты? И пеленки у ваших детей такие серые.

Последовала тирада о чистоте – залоге здоровья и о задачах советской матери, долг которой – воспитать настоящего советского человека.

– Какое воспитание, если мыла не выдают? – буркнул кто-то.

* Материя в косую линию для командирского обмундирования.

— Мыла? – взвилась начальница, и ее гладкое белое лицо пошло красными пятнами. – А вы щелочью стирайте, да посильнее, тогда и чисто будет! Ишь чего захотели – мыла им подавай!

Самая моложавая из посетительниц качнула перманентными кудряшками и прищурила глаза, как бы разглядывая некие низшие существа:

– Руки надо приложить, тогда и чище будете! – и вполголоса, но так, что было слышно во всех углах, добавила: – Разъелись тут на общественных хлебах.

"Мамаши" стояли, угрюмо уставясь в пол, а столичные гости прошествовали по красной дорожке вслед за директоршей наверх, в детские комнаты. Я как персонал (я недавно стала работать медсестрой) последовала за ними. Там, среди белизны занавесок, голубизны и розовости одеял, восторженным восклицаниям не было конца. Впалые старческие щеки и пустые страшные глаза не были замечены.

– Александра Ивановна! (так звали директоршу). У вас тут прямо рай земной!

Что-то толкнуло меня изнутри, и как бы про себя, но довольно громко, я пробормотала:

– Да, действительно, рай земной, только из него они очень быстро попадают в рай небесный.

Они продолжали громко говорить, показывая, что мои слова не услышаны, но губы, сжавшиеся в злой шнурочек, свидетельствовали об обратном. Только директорша бросила на меня змеиный многозначительный взгляд. И действительно, с тех пор ее придирки сопровождали меня, а когда делили детскую одежду, моему сыну доставались обноски.

...Итак, жаловаться на блатную было некому. Позже я поняла, что и другим известно ее поведение, но они помалкивают по тем же причинам, по каким Шура советовала мне держать язык за зубами.

* * *

Наступил холодный снежный ноябрь. К нам прибыл но-

вый молодой врач. Он принялся рьяно внедрять новейшие медицинские методы.

– Что это у вас, Эсфирь Самойловна, грудничка лежат в комнатах и не дышат свежим воздухом?

Та смутилась: ведь он был такой статный, так ярко выделялся в своих хороших валенках, высокой барашковой шапке, в черном великолепном пальто с меховым воротником среди зеленовато-серых демобилизованных или вообще не бывших в армии мужчин! Наша врачиха стояла перед ним маленькая, в заношенном ватнике и в старом платке, и, опытный и преданный своему делу работник, заговорила, будто извиняясь и оправдываясь:

– Но мы ведь каждый день открываем форточку на целых полчаса.

Внезапно я почувствовала к ней жалость и симпатию. В эту минуту мне открылись вся безнадежность ее одинокой жизни и весь ее страх: она боялась директорши и ее откормленного штата, потому что она не брала детского молока и других продуктов. Она жила в страхе за свою должность в этом захолустном уголке, столь близком к столице великого Советского Союза. И вот она потерялась перед этим новоиспеченным, хорошо одетым доктором. Я вдруг почувствовала себя сильнее нее, потому что мне нечего терять – ниже "расторгуевской мамаши", казалось мне, быть нельзя, я уже на дне (со временем узнала, что можно оказаться еще ниже, но тогда я о лагерях не имела понятия).

– Доктор! – заговорила я. – Теоретически вы, конечно, правы. Ребенку нужен свежий воздух. Но в этих слабеньких грудничках жизнь и так еле теплится, а если вынести их на мороз, даже хорошо укутанными, разница в температуре нарушит тепловой баланс! (Это вместо обыкновенного "замерзнут".)

Я произнесла еще несколько великолепных фраз, надеясь произвести на новичка надлежащее впечатление, чтобы он изменил решение. Доктор уставился на меня и спросил Эсфирь Самойловну:

– Эта кем тут работает?

Недоверчиво покосился, выслушав ответ, и, уже не глядя на меня, заявил ей:

– Ну, а если она сестрой работает, пусть выполняет указания врача, и нечего рассуждать.

И это мне, к которой в армии никто из врачей или из командиров в мыслях не имел так обращаться!.. Вернее, тут меня не удостоили даже обращения.

Эсфирь Самойловна уступила, и детей стали выносить на веранду, откуда нянечки счищали снег, на полтора-два часа. "Мамашинские дети", более здоровые, крепко засыпали, и когда их заносили обратно, они просыпались румяные, сладко потягиваясь. Им это, как видно, шло на пользу. Но слабенькие сиротки, хоть и закутанные в одеяла, возвращались с веранды еще более побледневшими, они пробуждались с трудом, а некоторые не просыпались вовсе. В справках новый доктор писал: "причина смерти – диспепсия". На эту диспепсию можно было свалить все... Я не хотела выносить своего ребенка на опыты со свежим воздухом при двадцати и более градусах мороза, но меня никто не спрашивал. И вот однажды после такой экскурсии на веранду Эсфирь Самойловна, посмотрев на него озабоченно, сказала:

– Что это он у вас красный такой? – и велела измерить температуру. Оказалось выше тридцати девяти. Докторша начала выслушивать и выстукивать, потом подняла на меня свои карие добрые еврейские глаза.

– Манькова, у вашего сына двустороннее воспаление легких. Если температура не снизится до завтра, я пошлю его в Москву в больницу. У нас тут нет сульфидина.

На следующий день температура стала сорок, и меня с сыном послали в Москву, в больницу имени Пирогова.

Как отправляли женщину с ребенком в больницу в конце 44-го года? Машины существовали только для высшего начальства, а простые смертные добирались кто как может. Вот и меня "направили", то есть дали бумагу – направление – в больницу. Но от санатория до железнодорожной станции более двух километров. Делать нечего, я завернула сына в теплое одеяло (мороз доходил до двадцати градусов) и вы-

шла в дорогу. Встретилась одна хорошенькая "мамаша", удивилась:

– Ты куда?

– В больницу, в Москву, – ответила я коротко, не сбавляя шага. Не хотелось попусту разговаривать, тратить силы. Она прошла, не ответив, а я подумала, что, действительно, до меня никому дела нет. Я шла медленно, руки деревенели. Хотя сынок весил мало, но байковые пеленки и ватное одеяло – все вместе было довольно тяжело. Я шла и перекладывала сверток с руки на руку, но плечи скоро затекли. Люди шли по дороге, и многие меня обгоняли. Поэтому, снова услышав за спиной шаги, я даже головы не повернула.

– Да куда ж ты спешишь, Манькова, я ж сказала, что только сбегаю платок захвачу, а то холодно, а ты даже не ждешь. Давай помогу донести.

Она взяла у меня мой драгоценный сверток, а я с большим облегчением распрямила руки и плечи. Так мы шли и менялись, пока не дошли до высокого железнодорожного моста. Ступеньки были покрыты льдом, а сверху запорошены снегом. Клава – так звали мою спутницу – решительно забрала у меня ребенка:

– Еще поскользнешься, упадешь и ребенка ушибешь. Я донесу, а ты держись за перила.

Мы благополучно добрались до перрона, но сесть в электричку было тоже не просто. Толпа пассажиров была невелика, но очень напориста. Особенно азартно пихались бабки-мешочницы, тащившие на своих старых, но крепких плечах мешки с картофелем, они везли его на черный рынок в Москву. Клава бесцеремонно расталкивала бабок, огрызалась на их ругань и проклятия. Благодаря ее энергичному содействию мне удалось занять место, а весь коридор и тамбур были полны народа!

В Москве незнакомые люди помогли мне залезть в трамвай – пассажиры свисали во все стороны, как виноградные гроздья, и в конце концов я добралась до больницы имени Пирогова. То была одна из лучших больниц Москвы. Мы с сыном пробыли там целых две недели, и я совершенно не

могу вспомнить, где я спала и чем питалась, помню только, что медперсонал – врачи, сестры, нянечки – относился к больным преданно и серьезно. Родителям разрешалось навещать детей раз в неделю, но мне разрешили там жить, понимая, что в Москве у меня никого нет.

Сестры и нянечки меня подкармливали. Ночи я проводила у кроватки сына, а утром, когда менялось дежурство и было много персонала, дремала пару часов в каком-нибудь уголке. Когда сын спал, я помогала нянечкам и сестрам ухаживать за больными. Как видно, в этой больнице молоко шло по прямому назначению, не пополняясь нигде кипяченой водой или просто водой из крана. Сын перестал кашлять, понос также прекратился, лицо утратило обычную бледность, и щеки округлились. И вот однажды утром, устремив на меня свои голубые глаза, он улыбнулся – впервые за семь месяцев своей жизни! Я встречала в книгах выражение – "благодарные слезы", но в жизни я таких слез не встречала. Были слезы горькие, злые, слезы печали, слезы тяжелые и облегчающие, а сейчас я смотрела на улыбку сына, и благодарные слезы струились по лицу. Я их не вытирала. Мимо прошла врач с мягким усталым лицом.

– Мамаша, милая, что же вы плачете? Ведь ваш сынок поправляется?

– Наверное, именно поэтому, – и подумала, как прекрасно звучит слово "мамаша" в устах этой женщины. Она не уходила. Мне казалось, что она хочет, но не решается что-то сказать. Я смотрела на нее и тоже молчала.

– Вот что, милая, – собралась она с духом, – я знаю, что вам некуда вернуться кроме расторгуевского санатория. Но подумайте хорошенько. Вашему ребенку там не место. Может быть, у вас есть куда уехать?

Я поблагодарила и обещала подумать. В сумерки, когда сын заснул, я стояла у окна и смотрела на последние отблески багрового заката. Мне вспомнился такой же зловещий ветреный закат, когда санинструктор Перец и я поднимали из канав и у обочин бойцов, корчившихся в схватках беспрерывного поноса, а за нами, сдерживаемые ротой автоматчи-

ков, по пятам следовали немцы. Но тогда мне не было страшно, а сейчас, глядя на озаренный враждебным закатом многомиллионный город, в котором не было ни одной души, знавшей о моем существовании и существовании моего сына, я почувствовала неотступный страх.

Через неделю я вернулась в санаторий. После вечернего обхода Эсфирь Самойловна сказала:

– Ваш сын в лучшем состоянии, и я советую вам уехать. Если вы останетесь, диспепсия вернется, и он не выживет.

– Мне некуда ехать, – ответила я. Я боялась думать о Латвии. Эсфирь Самойловна все поняла и посмотрела сурово, насколько вообще могло быть суровым ее круглое лицо с добрыми карими глазами.

– Вот что, Манькова, я все знаю о Латвии, но вы не имеете права жертвовать жизнью ребенка даже ради памяти погибших евреев и, может быть, ваших родителей. Я знаю, что в Латвии не так туго с продуктами, да и порядка больше.

В больнице я еще тешила себя надеждой, что, может, сын выздоровеет и все устроится, но стоило вернуться в санаторий, как я поняла, что врач права, болезнь вернется. Я понимала, что Латвия меня не ждет с распростертыми объятиями, но из двух зол это было меньшее. Я помнила обещание Айны и знала, что она его сдержит, но последняя капля самоуважения, еще остававшаяся во мне, требовала быть самостоятельной и не садиться Айне на шею.

Надо было решиться, и я решилась. Этому содействовали некоторые внешние обстоятельства, но прежде чем перейти к ним, я расскажу поразившую меня историю "мамаши" Вали. Она привезла круглолицего румяного мальчика, месяцев одиннадцати. Он ловко передвигал коротенькими ножками, держась за прутья кровати, и у него уже были два белейших зуба. Я не могла отвести глаз от цветущего ребенка.

– Что так смотришь, Манькова? Завидуешь? – спросила мать. У нее было широкое славянское лицо и живые серые глаза.

– Что ты, Валя! – А в душе, конечно, завидовала.

– Ну, конечно, завидуешь. А только нечего завидовать.

Твой, хоть и слабенький, а будет жить, а мой умрет, когда ему исполнится годик. – Она сказала это со странным спокойствием, будто то было предопределение свыше, которое никто не властен изменить.

– Валя! Ты что пророчишь! Или ты своего ребенка не любишь?

Она смотрела на мальчика, весело дрыгающего ножками, и на лице ее была скорбь.

– Кто так родился, тому нельзя жить.

Вечером она попросилась на ночное дежурство и, сидя в детской, рассказала мне свою историю.

Валя пошла на фронт добровольно и попала в женский пехотный батальон. Я не подозревала о существовании такого батальона, но факт, он существовал, и Валя была в нем старшим сержантом при "сорокапятке", то есть сорокапятимиллиметровой пушке. Осенью, в одном из нескончаемых походов по разжиженным дорогам, пушка снова застряла, усталая лошадь не могла ее сдвинуть с места, несмотря на могучую ругань повозочной и усилия всех девушек-бойцов, старавшихся приподнять колеса и помочь лошади. Валя напрягла все мускулы, также отчаянно ругаясь. Мимо проходила пехотная часть, и бойцы хохотали, перемежая смех подбадривающими выкриками и двусмысленными высказываниями насчет особенностей женского пола. Но когда с ними поровнялся молоденький командир, младший лейтенант, то, пораженный видом девушек, вытаскивающих из грязи пушку, он пристыдил своих веселящихся бойцов. В ответ один шутник крикнул, что бабам это только на пользу – поднатужиться, потому как при родах еще и не то запоют. Лицо командира вдруг стало злым, и он звонко скомандовал:

– Отставить шуточки! Всем помогать! Семенов, командуй!

Смех прекратился, широкоплечий сержант пробасил "раздва взяли", бойцы, отодвинув девушек в сторону и добродушно улыбаясь, взялись за дело. Несколько уперлись в колеса, а один взял лошадь под уздцы, сперва ласково похлопав ее по взмыленной спине.

– Ну, теперь погоняй.

И действительно, пушка качнулась из стороны в сторону, и лошадь, почувствовав облегчение, рванулась вперед. Валя скомандовала, и девушки двинулись вперед более бодрым шагом. Молоденький командир шел рядом. Он мало говорил, но смотрел на нее так, что на этой болотистой дороге между мокрыми осинами и ольхами ей казалось, что счастье все-таки существует. Они прибыли на место назначения, и оказалось, что их части неподалеку друг от друга. Они стали встречаться, много разговаривали, и он стал ей роднее брата. "Но знаешь, Манькова, он меня пальцем не тронул". В один из вечеров он взял ее за руку и сказал:

– Валя, я такой девушки, как ты, нигде не встречал. Я полюбил тебя почти с первого взгляда и про себя решил, что если ты согласишься и мы останемся в живых, я тебя найду и мы поженимся после войны.

Она была счастлива и старалась не обнаружить своих чувств – девушка не должна вешаться парню на шею именно когда она взаправду любит. Пошутила, какая же это любовь, если он ее ни разу не поцеловал. Тогда он серьезно и даже строго сказал, что если мужчина по-настоящему любит и уважает свою девушку, он ее жалеет и не тронет раньше времени, а иначе это дешевка. "Господи! – подумала Валя. – Вот пришло настоящее!" – и она поклялась ему, что сохранит себя и будет ждать его до конца войны.

На следующий день соседняя часть снялась с места, а через несколько месяцев женский батальон расформировали, и Валя потеряла со своим другом всякую связь.

Таким знакомым и родным бытом повеяло от Валиного рассказа! Было за полночь, дети спали, Валя замолчала. Я вернулась к действительности и, подождав, спросила:

– Но ведь у тебя сын?

Валя не отвечала, взгляд ее был устремлен в пространство. Потом заговорила снова.

– Меня отправили в Гороховецкие лагеря на пополнение латвийской дивизии. Ты, наверное, помнишь дорогу, ведущую в лагеря?

Я прекрасно помнила эту живописную лесную дорогу.

– И вот, иду я себе и напеваю, потому что солнце так ласково светит и греет, трава у дороги такая густая, зеленая, а сосновый запах пьянит лучше всякого вина. Я напеваю и мечтаю: а вдруг я его встречу?! Ведь может случиться такое счастье!

С ней поравнялся капитан из политчасти, он тоже направлялся в Гороховецкие лагеря – приятный, серьезный человек, подтянутый, лет сорока. Ей сначала хотелось идти одной, но вскоре они разговорились. Он интересно рассказывал о себе и о разных незнакомых местах. Валя, в свою очередь, рассказала о женском батальоне, о себе и, незаметно как, поведала про свою большую любовь и надежду встретиться.

– И он вас даже пальцем не тронул? – заинтересовался капитан.

– Нет, он сказал, что если парень выбрал девушку на всю жизнь, он ее жалеет и не тронет раньше времени.

– Какая прекрасная молодежь в нашей стране! – воскликнул капитан и, помолчав, смущаясь, снова спросил:

– Простите за нескромный вопрос, если не хотите, не отвечайте. Вы, мне кажется, вовсе не знаете, что значит по-настоящему быть с любимым?

Валя покраснела лицом и даже шеей.

– Ясно, милая девушка, все ясно и без ответа! – восторженно вскричал капитан. Он был так растроган и дружелюбен, что у нее потеплело на сердце.

"Политработники говорить умеют, – подумала я, – и ты, бедная Валя, была обольщена политруковской сиреной и все позабыла!"

Но рассказ Вали был совсем не похож на все, что я знала о командирах и политруках.

Было уже около пяти часов, и она здорово устала от долгих часов ходьбы. Капитан участливо посмотрел на нее и предложил сделать привал. Она с удовольствием села на мягкую землю, усыпанную иглами, сняла сапоги и портянки, чтобы дать отдых натруженным ногам. Капитан, хоть и

солидный, резво сбегал и принес в котелке воду из близкой речки, умело разжег костер и поставил кипятить чай. Он тоже снял ремень и портупею, и от этого показался ей домашним и как бы родным. Как хорошо после женского батальона почувствовать, что ты просто девушка и кто-то добрый и большой заботится о тебе! Он поделился с ней командирским пайком и подал кружку горячего темного чая. Она сказала, что у чая незнакомый привкус.

– Да, – ответил он, – кто знает, какая тут вода.

Она пила чай и закусывала командирским душистым печеньем, а капитан заботливо подливал и подкладывал еще что-то очень вкусное. На нее снизошли необыкновенная умиротворенность и полная уверенность, что все будет хорошо. Она даже не успела допить чай, как почувствовала, что засыпает. В последнюю минуту увидела вдали своего любимого и услышала его голос:

– Спите, Валечка, я вас оберегаю.

"Почему он говорит *вас*?" – удивилась Валя сквозь сон и больше уже ничего не помнила.

Она проснулась от ужасной тяжести, давившей на нее. Хотела крикнуть и не могла. Попыталась шевельнуть рукой и ногой, но руки и ноги были каменными. С неимоверным напряжением разлепила веки и увидела над собой страшное, как маска, исказившееся лицо капитана. Ее тело раньше сознания почувствовало, что происходит, и ее затопил ужас. Она открыла рот, чтобы крикнуть, но никакого звука не последовало. Она напрягала все силы, чтобы разорвать невидимые оковы, но была не в состоянии двинуть даже пальцем. Между тем сознание возвращалось, и она ясно почувствовала, как капитан исступленно продолжает свое дело. Наконец он встал и посмотрел на нее сверху вниз. Их взгляды встретились. Если бы можно было убить взглядом, она бы его убила, но он спокойно отвернулся, застегиваясь, затянулся ремнем, надел свой командирский планшет и портупею, легко вскинул на плечо вещмешок и, бодро зашагав, скоро скрылся из виду.

Медленно возвращалась к ней способность двигаться. На-

конец она поднялась с трудом, и все ее движения были как в замедленном фильме, а в голове полное отупение. Во всем теле была незнакомая боль, а что в душе? Трудно объяснить. Это не было оскорблением или даже унижением. Ей казалось, что она раздавленный червяк, который все еще шевелится... Вечером прибыла по назначению и была определена в резерв латвийской дивизии. Через три месяца она узнала, что беременна.

Мы долго сидели молча, меня мучило, встретила ли Валя снова этого капитана, но я не решалась спросить.

– Тебе, наверное, хочется знать, встретила ли я этого капитана. Да, встретила. Он даже поздоровался со мной и спросил, как я дошла. Из меня вырывался крик, но я овладела собой, вежливо ответила, что дошла хорошо, и быстро ушла, чтоб не разрыдаться тут же на весь лагерь.

– Валя! И ты никому не рассказала? Никому не пожаловалась?

– Удивляюсь тебе, Манькова, ты не первый год в Союзе, а ничего не понимаешь. Кому я стану жаловаться? Кто мне поверит? Я кто? Просто девушка, сержант расформированного батальона. А он – капитан. Кто же поверит мне?

– Но ты же комсомолка! – не унималась я.

– Хм, комсомолка... Этим никого не удивишь, комсомольцев пруд пруди, а он коммунист, член партии. Он сам мне партийный билет показывал. Наверное, чтобы я к нему больше доверия имела... Кто же мне поверит? – снова повторила Валя с тем однообразным выражением смирения перед стихией, которое так поразило меня в начале ее рассказа.

– Твой друг тебе, наверное, поверит, – тихо возразила я.

– Не говори о нем!.. Я ни за что не хочу с ним встречаться. Пойми, если не поверит, значит, не любит, а это страшно. Ну, а если поверит – зачем я ему такая? Ведь я ему обещала сберечь себя... Вот и сберегла...

– Но ведь ты не виновата!

– Эх, Манькова, говоришь, как несмышленая. Если поверит, то винить не станет, только повернется и уйдет, а тогда зачем жить?

Нестерпимо было видеть такое вот ее лицо, и во что бы то ни стало хотелось растрясти ее, пробудить хоть маленький лучик надежды.

– У тебя сын, Валя!

– Мой сын умрет, когда ему исполнится ровно год. Я знаю. Мне цыганка гадала. Это судьба, тут ничего не поделаешь, – бесцветным голосом ответила она.

Месяца через полтора ее мальчик заболел воспалением среднего уха и умер через три дня, точно в день его рождения. Валя оставила санаторий и ни с кем не попрощалась. Мой сын, хотя и болезненный, и слабенький, жил. Все было так, как она предсказала.

* * *

Наступили декабрьские морозы. В нетопленых комнатах вода замерзла в трубах, и они "лопнули по всем швам". Мы таскали воду из колодца. Но самое неприятное, что уборными нельзя было пользоваться и приходилось бегать на улицу, на мороз. К счастью, снег прикрывал нечистоты белой своей пеленой. Дети, помимо диспепсии, которая вообще не прекращалась, снова начали болеть бронхитами и воспалением легких. Я решила хлопотать о возвращении в Ригу. Последней каплей, переполнившей чашу, была блатная "мамаша". Как я уже упоминала, она любила дежурить по ночам, когда можно подзаправиться детской кашкой и сладко подзаснуть, причем никто не смел сделать ей ни малейшего замечания. Однажды утром я заступала после нее на дежурство и начала убирать на столе, где пеленали и одевали детей. Там стояли медикаменты и баночки с ватой. Я не понимала, почему оттуда исходил очень тяжелый запах. Одна из стеклянных банок с широкой крышкой, предназначенная для марлевых тампонов, была до половины полна чем-то коричневым и вонючим. Когда я поняла, что это за вещество, меня тут же вырвало. На фронте я обмывала раненых, загрязненных испражнениями, и никогда, кроме легкой (в крайних случаях) тошноты, ничего не чувствовала. Но сейчас я

вся содрогалась от рвоты. Забыв все предупреждения, я побежала к блатной потребовать, чтобы она убрала за собой. Она уже спала, и я разбудила ее. Сначала она не поняла, чего я хочу от нее, но, придя в себя, расхохоталась:

– Подумаешь! Ей чужое дерьмо воняет! А чтобы я из-за тебя свою задницу на мороз выставляла – этому не бывать. А сейчас проваливай! Я спать хочу.

На следующий день я отправилась в Москву хлопотать о репатриации в Ригу.

Клава, которая так успешно распихала бабок-мешочниц, пробивая дорогу к вагону электрички, когда я уезжала в больницу, и теперь помогла. По ее мнению, со мной – в рваных сапогах и без сумочки – никто в учреждениях не станет разговаривать, и вот она принесла мне свою сумочку и туфли, на два или три номера больше чем мой размер.

Рабочий день в учреждениях начинался с восьми. Я прибыла в девять, но приемное окошко было закрыто. Я постучала. Окошечко чуть приподнялось, и лохматая голова спросила:

– Вам чего?

– У меня прошение на переезд в Ригу по репатриации.

Только я собралась рассказать, кто я и что я, как служащий прервал меня:

– Встаньте в очередь.

– Так я же стою, но я пока одна, еще никого нет!

– Ждите, пока будет.

Окошко захлопнулось. Я села на скамью для посетителей, и когда набралось человек пять, снова постучала.

– Ну, чего вам? Опять?

– Очередь уже набралась.

Служащий поднял окошечко, оглядел очередь и недовольно хмыкнул:

– Ну, давай, что там у тебя?

В течение этого месяца я ездила в Москву несколько раз по разным учреждениям в разных концах Москвы. В одну из поездок ко мне присоединилась сторожиха тетя Оля. Она была неопределенного возраста, вся раздавшаяся вширь, с но-

гами, напоминавшими тумбы на тротуарах, с отвислыми щеками и лицом цвета сырого мяса, но маленькие глубоко запрятанные карие глазки искрились весельем и хитростью. Однажды, зайдя в комнату "мамаш", она серьезно спросила:

– А вы, мамаши, когда-нибудь в тюрьме сидели?

Не помню, где была блатная, но все накинулись на тетю Олю, обиженные вопросом. Она же, все так же серьезно, объявила, что вот она – сидела в тюрьме девять месяцев и только после этого вышла на волю.

– И вы сидели, и дети ваши сидели!

Все уставились на тетю Олю, а худенькая девочка-"мамаша" воскликнула:

– Никогда я в тюрьме не сидела, и что вы зря выдумываете!

Меня осенило, и я, смеясь, весело согласилась с тетей Олей. Она одобрительно посмотрела.

– Слава Богу, хоть одна умная нашлась. Ну, так ведь еврейка – они все умные. Дуры! – обратилась она к удивленным "мамашам", – каждый в утробе своей матери девять месяцев в темнице сидит, пока на свет Божий не выйдет!

Вот с этой тетей Олей теперь мы сидели вместе в вагоне по дороге в Москву.

– У вас в Москве родственники или какие дела?

– Какие дела, какие родственники, покликать охота!

У тети Оли был окающий выговор, как у жителей села Выжлеи на реке Пьянке. О кликушестве я где-то читала, что это выражение народной истерии и что сама кликуша над ним не властна. Я пригляделась к тете Оле, но не заметила в будничном ее лице никакого стресса или чего-нибудь необыкновенного, кроме предвкушения удовольствия "хорошо покликать". Я спросила, что значит "покликать". Она не стала вдаваться в объяснения:

– Приедем в Москву – увидишь.

На привокзальной площади тетя Оля шепнула мне: "Теперь гляди!" Лицо ее моментально изменилось и даже побледнело, глаза закатились, и она закружилась вокруг самой себя все быстрее и быстрее. Трудно было поверить, что грузное

неповоротливое тело может крутиться волчком с такой неимоверной скоростью. По мере кружения из горла ее стали вырываться звуки – нечленораздельные, действительно, кликающие, не похожие ни на что, когда-либо слышанное мною. Кружение и клики достигли высшей точки, и тут тетя Оля рухнула на снег и стала быстро кататься в сугробе. Юбка задралась, за воротник набился снег, но тетя Оля, как бы ничего не чувствуя, продолжала выкликать громче и громче. Собралась толпа и смотрела с любопытством и некоторым страхом. Я была поглощена видом тети Оли. Вдруг она выкликнула на очень высокой ноте и замерла на снегу. Через минуту открыла глаза, огляделась, как бы просыпаясь от забытья, поднялась, отряхнула юбку от снега – лицо ее было обычным, как всегда, – и встала в очередь к ларьку за холодным морсом, единственным напитком, продававшимся в ту пору в Москве в двадцатиградусный мороз. На прощание тетя Оля улыбнулась, очень довольная собой.

– Видала, Манькова, сколько народу собралось? Ах, хорошо на этот раз покликала, даже на сердце полегчало!

До сих пор, вспоминая этот случай, не могу решить, было ли это своего рода публичное представление или глубокая душевная потребность.

Бегая по учреждениям, я встретила одну женщину из нашей дивизии. Она тоже была еврейкой, и у нее был мальчик Витенька, в возрасте моего сына. Как и я, она собиралась вернуться в Латвию, и мы решили ехать вместе. Одна русская девушка из латвийской дивизии, узнав, что мы собираемся в Ригу, передала нам письмо к своей матери.

– Поезжайте прямо к маме. Передайте письмо, она будет рада вас принять на первое время.

Мы очень обрадовались и горячо ее поблагодарили.

Наступил день отъезда. Я попрощалась со всеми. Эсфирь Самойловна крепко пожала мне руку и пожелала: "Главное, здоровье, а все остальное, знаете, как говорят, перемелется – мука будет". Шура и Клава проводили меня на станцию и после некоторых словесных и физических усилий усадили меня с сыном и с несколькими свертками, где были моло-

ко, пеленки и детская одежда. В Москве, встретившись с напарницей, мы попытались пробиться в трамвай, чтобы попасть на вокзал, откуда уходил поезд на Ригу. Но это оказалось нам не по силам. Трамваи приходили и уходили, а мы оставались.

К нам подошла шустрая девочка лет двенадцати и предложила помочь. Мы с радостью согласились. Она взяла от каждой из нас по свертку, и мы начали протискиваться к трамваю. На этот раз удалось зайти. Трамвай тронулся, а отзывчивой девочки и след простыл. В трамвае какая-то бабка сильно толкнула мешком маленького Витеньку, а затем опустила этот мешок прямо на ногу моей спутнице. На ее просьбы снять с ноги мешок и быть осторожнее с ребенком, бабка обиделась:

– Ишь, барыня какая! Жердь рыжая длинноногая! Ей и на ногу не наступи, и ребеночка не толкни. Небось, не из сахара сделанный, не рассыпется...

Мы благополучно добрались до вокзала и сели в поезд. Он уходил в шесть часов вечера. В дороге мы проверили, что у кого осталось после деятельной "помощи" девчонки, и обнаружили, что у меня не хватает бутылочек с молоком, а у нее – пеленок. Мы поделились оставшимся и, проехав более суток, прибыли в Ригу ровно в двенадцать часов ночи.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

РИГА

В то военное время трамваи ходили редко, а в полночь их вообще не было. Мы взяли извозчика, прибыли по адресу на Московскую улицу, расплатились последними деньгами, которые имели, и, поднявшись на второй этаж, я позвонила. Моя спутница присела на лестницу, держа в каждой руке по ребенку. Прошло несколько долгих минут, открылся глазок, и испуганный женский голос спросил, кто мы и что нам нужно. Я тут же сказала, что у меня письмо от ее дочери из армии. Дверь чуть приоткрылась, и в узенькую щелочку письмо было принято. Понимая, что дверь сейчас же захлопнется, я торопливо объяснила, что ее дочь послала нас, двух женщин с маленькими детьми, переночевать у нее, а завтра мы отправимся к своим знакомым.

– Что вы! – воскликнули в ужасе за дверью. – У меня же не топлено, как я могу принять маленьких детей – простудятся!

Я принялась доказывать, что на улице декабрьской ночью, безусловно, тоже не топлено, но дверь уже захлопнулась, и я осталась на лестнице вместе с моими неопровержимыми доказательствами.

Я медленно спустилась, и моя напарница набросилась на меня:

– Чего так долго задержалась? Бери своего, и пошли – такой мороз!

Я взяла на руки сына и стояла без слов.

– Ну чего стоишь, как столб?! Пошли, пошли!

– Нам некуда идти, она нас не пускает. У нее, видишь

ли, не топлено, – ответила я. Теперь настал ее черед стать как вкопанной. Наконец, она спросила: "Что же делать?" Мне осталось только руками развести, но руки были заняты ребенком и свертком. Впервые в жизни я почувствовала полную безысходность. Я вспомнила, как мы сидели в палатке, и вдруг разошелся какой-то нахальный миномет, и осколки уже долетали до нас. Девушки убежали, а я стала собирать в сумку перевязочный материал – на случай, если будут раненые. Айна ворвалась, красная от злости, и, обругав меня дурой, мулихой и ослихой, схватила за руку и вытащила в последнюю минуту, когда осколки мин уже вовсю решетили брезент.

– Кому ты нужна такая храбрая и убитая или даже раненая?

Она была права, но что поделаешь – никакого страха я не чувствовала. А сейчас – мы стоим посреди улицы в морозную декабрьскую ночь, снег скрипит под ногами, и нам некуда больше идти. Когда-то меня поразили слова Мармеладова, сказанные Раскольникову: "А знаете ли вы, молодой человек, что это значит, когда некуда больше идти?" Я долго помнила и переживала их. Но Мармеладов все-таки сидел в теплом трактире, а мы... В это время на первом этаже открылась форточка и выглянуло женское лицо.

– Господи! Да что это? Женщины коченеют с малютками на улице посреди ночи!

Через минуту незнакомка стояла возле нас в накинутом пальто и платке. Не успели мы рассказать, в чем дело, как она всплеснула руками и повлекла нас в дом. Выслушав нашу историю, она принялась растапливать печь, чтобы согреть дом и вскипятить воду, и изливала свое негодование проснувшейся дочери. Продолжая хлопотать, она вскрикивала, обращаясь к потолку, над которым почивала соседка с верхнего этажа, и гневно грозила рукою:

– Сволочь ты такая! Нетоплено! Так затопи – небось, руки не отвалятся!

Мы сидели в согретой кухне, измученные, но очарованные нашими хозяйками. Они живо перепеленали детей, сва-

рили свежую рисовую кашку и, накормив малышей, уложили их в кровати, а нам постелили на полу матрацы.

Может быть, сегодняшнее поколение пожмет плечами: чем это я так восторгаюсь? Подумаешь – печь затопили, сварили кашу! На это я скажу: и сейчас, когда прошло более сорока лет, я не могу забыть той ночи и тех женщин, открывших дверь своего дома двум "чужим", чтобы приютить и накормить их и детей из своих скудных запасов тех полуголодных лет – посреди войны, мороза, тьмы и разного лихого люда. Это было великое дело и великая доброта – тот самый случай, когда незнакомая рука спасает.

На следующее утро, напившись чаю (наши хозяйки поделились с нами завтраком), мы сидели и не решались еще на одну просьбу. Дело в том, что нужно было идти разыскивать знакомых, но как тащиться по городу (трамваи еще почти не ходили) с детьми на руках? Наконец я все-таки решилась спросить, не согласны ли наши хозяйки присмотреть за детьми, пока мы будем отыскивать своих знакомых.

– О чем вы говорите! Не беспокойтесь, мы и присмотрим, и покормим, а вы идите и устраивайте свои дела! – воскликнули они хором.

Я отправилась к Айне по адресу, который она дала в Москве (ее родители вернулись в собственную квартиру). Отворила коренастая женщина с сильным волевым лицом и такими внимательными глазами, что, казалось, они сразу и беспощадно ухватывают, кто явился перед нею.

– Могу ли я видеть доктора Айну Дамберг?

Она ответила, что Айночки (Айныня по-латышски) дома нет, она на работе, и ввела меня в просторную и светлую кухню. Тут она оглядела меня с головы до ног и всплеснула руками:

– Так ты же Этька! Я сразу узнала. Айночка о тебе много рассказывала. Садись, ешь, ты, наверное, голодна, как волк.

Я опешила от такого напора и слабо протестовала, что, мол, вовсе не голодна и недавно завтракала, но запах наваристых щей уже распространился по всей кухне, уже стояла

на столе глубокая тарелка – она исходила вкусным паром, а рядом был положен увесистый ломоть ржаного дивно пропеченного коричневого хлеба... Когда я управилась со всем этим богатством, Айнес-мама* вдруг спохватилась и спросила, а где ж я оставила сына. Я рассказала все подробности этой памятной ночи и услышала:

– Дура ты, Этька, и больше ничего! Так тебе и надо!

"Если она прибавит сейчас мулиху и ослиху, это будет вылитая Айна", – подумала я. Но она воздержалась от прибавки.

– Извините, Айнес-мама, почему я дура и больше ничего?

– А потому, что надо было сразу с вокзала ехать к нам, а не искать пристанища у незнакомых!

Что я могла объяснить? Что я боялась, что родители Айны не захотят меня принять, а это гораздо больнее, чем отказ незнакомых людей? Я соображала, что сказать в свою защиту, но Айнес-мама не обратила никакого внимания на мое бормотание и пошла в чулан. Я обиделась. Она вышла из чулана с детскими саночками в руках.

– Это санки Айночки, когда она была маленькая. Ну, нечего рассиживаться, бери санки, и раз уже подкрепилась, марш, привози своего сына сюда.

Я схватила санки, пальто и шапку и выбежала на лестницу, чтобы Айнес-мама не увидела, как я плачу. Я догадалась, что она еще менее склонна к сентиментальности, чем Айна.

В жарко натопленной квартире на Московской я нашла выкупанных, накормленных, разрумянившихся детей – они выглядели очень красивыми и очень довольными. Я горячо поблагодарила хозяек, а они смущенно переглядывались. Пожилая остановила меня:

– Да что вы, какая там благодарность... а жаль... – и запнулась.

– Чего жаль?

– Мы думали, может, вы из тех мамаш, которые не хотят своих детей, вот мы и решили, кто какого мальчика возь-

---

*Мама Айны (*латышск.*).

мет на воспитание, – призналась дочь, не замечая знаков матери помолчать.

– Уж вы не обижайтесь на ее слова, – оправдывалась пожилая, – ведь сейчас, знаете, какое время, всякое бывает...

Кто-кто, а я теперь знала, как бросают детей в дровяные склады, на трамвайные рельсы или просто под забором...

Нечем было отблагодарить наших спасительниц, не было даже фунта сахару, а о вещах и говорить нечего. Унизительно быть на пределе бедности, особенно в социалистическом государстве, где бедность презираема более, чем везде... Я много думала об этих женщинах. Если б мне о них рассказали, я бы, наверное, не поверила, хотя так хочется, особенно в тяжкие дни, верить прекрасным легендам. Но какие бы легендарные героини взяли на себя заботу и любовь к двум чужим малюткам? Тогда я дала себе слово, что сын мой не будет жить в бедности, а я постараюсь помогать другим без всякого расчета на благодарность, как эти незабываемые женщины помогли нам в ту зимнюю ночь.

* * *

Итак, я перебралась к Айне. У нее была просторная, даже роскошная по тем временам квартира: три спальни, зал (то, что в Израиле называется салоном), большая кухня и при ней маленькая комнатка для прислуги, так как в такой квартире полагалось жить богатым людям. Одна спальня принадлежала родителям Айны, другая – Айне с дочкой Парслой (у девчушки были большие серьезные отцовские глаза), а третья – брату Айны, о существовании которого я раньше не слышала. Я разместилась в комнатке при кухне. До меня здесь жила "приемная дочь" – дочь друга старших Дамбергов, самого друга увезли однажды ночью в черной машине. Мать девочки заболела и умерла то ли от туберкулеза, то ли от голода. Дамберги нашли тринадцатилетнюю девочку в эвакуации в Узбекистане – одну в холодной темной комнате, умирающую от голода, она с трудом приподнялась с кровати, когда к ней вошли. Они взяли ее к себе, кормили и вы-

хаживали, как могли. В Риге девочка нашла своих родственников, но каждый день приходила обедать и ужинать. Айна, до войны ее вообще не знавшая, относилась к ней как к полноправному члену семьи, так же, как с первой минуты отнеслись ко мне ее родители. К этому времени полуумирающая девочка превратилась в красивую высокую девушку. Обо всем, что произошло, она рассказала мне сама. Родители Айны не обмолвились об этой истории и словом. Я заметила девушке, что Дамберги, наверное, очень ее любят. Ее красивое холодноватое лицо все расцвело в улыбке:

– Видите ли, Эстер, эта семья одарена изобилием любви. Они просто ищут объект, на кого излить свой неисчерпаемый запас душевных сил. Вы думаете, они одну меня приютили? У них в эвакуации было две комнаты, в одной жили они, а в другой я и еще кто-нибудь, иногда двое или трое, иногда целая семья, и все, конечно, кормились за их счет.

Да, теперь я могла оценить все, что делала эта семья, изведав на собственной шкуре "жизнь на гражданке" в тылу, пусть даже за короткий срок. Но было непонятно, откуда средства, чтобы прокормить так много людей.

– Им нарезали небольшой участок земли, и мама Айны развела огород. Там росли картошка, капуста, огурцы. Все члены семейства, то есть я и те, которые менялись, работали там. Айнина мама из деревни и понимает в этом лучше всех, она руководила нами, а кроме того, успевала стряпать, сама пекла хлеб и кормила всех. На мне лежали уборка дома и стирка, при большой стирке мама мне помогала (она так и сказала – "мама"). Однажды она пришла с базара, где потихоньку от сына, жившего тогда отдельно и не одобрявшего ее расточительности, продавала или меняла на муку и крупу вывезенные из Риги вещи, а за ней шла целая семья, мать и трое детей от пяти до десяти лет. У них были темные глаза и жесткие вьющиеся густые волосы. Я сразу поняла, что это евреи. Мальчик помогал тащить мешок крупы, а женщина волокла тяжелый узел, как видно, с их барахлом. Я невзлюбила их с первого взгляда и очень испугалась, когда мама указала на "мою комнату".

— Вот тут и располагайтесь! — сказала она.

Моя комната сияла чистотой, кровать аккуратно застелена, на подушке — вышитая мною накидка. Женщина втащила узел, оглядела чистенькую кровать, меня, ей было очень неловко. Мое лицо, безусловно, не выражало дружелюбия.

С трудом сдерживая слезы, я вошла к Дамбергам. Их комната была меньше моей. Между двумя кроватями стоял столик. Они сидели с двух сторон столика и о чем-то беседовали.

— Мама! — почти плача вскричала я. — Как вы могли привести в дом эту грязную вшивую еврейскую семью?!!

Никогда не забуду, как сверкнули ее глаза.

— Ах, ты, скверная, паршивая девчонка! Если б ты была моей родной дочкой, ты бы такую плюху сейчас получила, что навек бы запомнила! Ты, может, думаешь, что сама была чище или красивее их, когда мы тебя нашли?

Отец Айны, которого я ценила и уважала даже больше мамы, не повернул ко мне головы, даже не посмотрел на меня. Ты знаешь, какие у него породистые, благородные руки. Он положил свою руку — так успокаивающе тихо! — на крестьянскую руку жены и заговорил, будто они были в комнате вдвоем:

— Не сердись, это у нее не от злого характера, а от молодости. Молодость всегда эгоистична, и все ее интересы вокруг себя самой. Нужна зрелость, чтобы увидеть и понять страдания других.

Я стояла и чувствовала, что заливаюсь краской до корней волос. Мама прошла, не взглянув на меня, и хлопнула дверью. Послышался ее уверенный веселый голос — она знакомила новых жильцов с нашим хозяйством.

— Садись! — сказал мне отец Айны. Я села, не поднимая глаз. — Ты поинтересовалась, что случилось с этими людьми? Конечно, нет! Ты, мол, пережила много горя, какое тебе дело до горестей других! А вот наша мама живет с открытыми глазами и открытым сердцем, и если видит, что у людей горе, она, не раздумывая и не рассуждая, помогает... Эта еврейская семья в последнюю минуту убежала из Латвии от нем-

цев. Они поселились в колхозе в окрестностях Москвы, но немцы настигли их, и они опять шли в потоке беженцев. По дороге немецкие самолеты обстреляли их с бреющего полета, отец был убит на месте, а мать, собрав разбежавшихся во все стороны детей, продолжила путь вместе с другими беженцами. Когда они достигли неразоренных местностей, поток стал редеть, люди устраивались, но этим никто не давал пристанища – кому нужна женщина с тремя маленькими детьми?! Так, оборванные, грязные и голодные, они добрались до нашего города, они сидели на земле, на полуденном солнце, и только самая маленькая, лет пяти, пугливо просила "тетю" или "дядю" подать кусок хлеба. Вдруг дети закричали – мать лежала на раскаленном песке без сознания. Наша мама выхватила стакан с водкой у выпивающих рядом мужиков и влила половину женщине в рот. Женщина открыла глаза, наша мама отломила от своего пайка кусок хлеба и дала ей, а остальное разделила между детьми. Когда они пришли в себя, наша мама привела их домой.

Я до сих пор краснею, вспоминая этот разговор. Вскоре дети работали в огороде и по дому, каждый по своим силам. Девочки должны были смотреть за козой, которую купила Айнес-мама, купила, потому что, провозгласила она, старик, то есть сам Дамберг, должен пить горячее молоко из-за частых бронхитов. Сам Дамберг, услышав, почему необходимо приобрести козу, только улыбнулся в усы. Он прекрасно знал, что молоко предназначено главным образом детям, жившим у нас, и другим слабым и нуждающимся. Новые жильцы окрепли, и тогда женщина нашла работу бухгалтера в торговой сети. Помню, как она принесла первую зарплату и положила ее с сияющей улыбкой на столик перед отцом Айны. Его спокойное лицо налилось кровью, и он отодвинул пачку рублей:

– Как вам не стыдно! Вам надо о детях заботиться – зима впереди, а вы так легко бросаетесь деньгами!

Женщина опешила (это все с ее слов, меня при этом не было). Когда Айнес-мама пришла домой (она вернулась с огорода с мешком молодой картошки, а средняя дочка по-

бедоносно несла первый капустный кочан), женщина, уже несмело, подала ей зарплату. Айнес-мама спокойно пересчитала деньги, стала что-то вычислять в уме и в конце концов рассудила:

– Давай будем считать так. Расходы на базаре делим пополам, а молоко, картошка и еще мелочи – на это я деньги не трачу и с тебя брать не буду.

Вечером в комнате Дамбергов я присутствовала при их разговоре. Отец настаивал, что у этой ничего не умеющей женщины нельзя брать денег, а мать возражала, что ни один уважающий себя человек не хочет жить из милости.

– Мне ее деньги не так нужны, хотя и вовсе не помешают, а ей легче, если она знает, что не ест дармовой хлеб.

Девушка рассказывала, а я думала, на кого из своих родителей больше похожа Айна. Конец этой истории, в отличие от многих, вполне благополучен: женщина нашла комнату, дети пошли в школу и в детский сад – она успела их как-то одеть и обуть. Семью, приютившую ее, она не забывала и часто приносила кулек с сахаром, крупой или мукой. Айнес-мама с радостью принимала принесенное и не очень любопытствовала, откуда эта благодать.

– Только старику не говори, а то он рассердится, – предупреждала она шепотом, и женщина понимающе кивала.

Рассказ подошел к концу, и я поняла, почему в этой замечательной семье, принявшей меня как родную, с первой минуты меня не оставляет какое-то гнетущее чувство. Айнес-мама покрикивала на меня, учила уму-разуму, так же как своих дочь и сына. По вечерам за чаем мы с Дамбергом попеременно наизусть читали стихи Райниса и Аспазии. Мой сынок поправлялся, хотя еще не выглядел так, как кругленькая подвижная дочка Айны. Кажется, все хорошо. Но сейчас стало ясно, что со мной творится. В этой деятельной, кипящей жизнью семье все работали: Айна – врачом в Четвертой городской больнице, отец был начальником, уже не помню чего, сын работал на заводе ВЭФ*, мать вела дом, присмат-

*Радиозавод в Риге.

ривала за внучкой – работы ей хватало. Одна я была не у дел. После работы Айна заходила ко мне на пару минут поговорить в бодрых тонах и тотчас спешила к своей девочке, а оттуда на партийное собрание или наверстывать упущенное за годы войны – сведения о новейших достижениях медицины. Кроме старых друзей по дивизии, у нее образовался новый круг знакомств, в котором мне не было места. В разговорах я поддерживала общий мажорный тон, но твердо знала, что надо скорей найти работу и жить самостоятельно. Однажды мы сидели с Айнес-мамой и чистили на ужин картошку. В печке трещал огонь. Айнес-мама отложила нож и попросила не сердиться на вопрос, который она собирается мне задать. Я насторожилась. Наверное, сейчас она со всей своей прямотой спросит, как долго еще я думаю у них оставаться.

– Эька, ты своего сына любишь?

– Конечно, – поразилась я.

– Так вот тебе мой совет: не воспитывай его евреем, если не хочешь сделать его несчастным.

– Что вы, почему? – растерялась я.

– А потому, – сказала она с непоколебимой убежденностью, – что евреев никто и нигде не любит. Воспитай его латышом, русским или даже цыганом, и то будет легче жить.

Она замолчала на полуслове: в дверях стояла Айна, и ее всегда такие милые жизнерадостные глаза теперь сверкали гневом на побледневшем лице.

– Мама, как тебе не стыдно! Эька, не смей ее слушать!

Но пожилая крестьянка подняла к дочери затвердевшее вдруг лицо и заговорила тяжело, будто отрезала:

– Она будет слушать меня. Она одна в мире и должна знать жизнь. А я, дочка, хоть университетов не кончала и в партиях не состою, знаю жизнь лучше тебя и твоего отца, хоть оба вы очень ученые. Ей надо в жизни пробиваться и ребенка растить, чтобы не был несчастным...

Айна вышла, хлопнув дверью. Позже она зашла ко мне, села на кровать, и мы дружески, душевно поговорили, впервые с тех пор, как я к ним прибыла. Айна говорила, что мама живет старыми понятиями и не понимает, что при Совет-

ской власти все по-другому и нет разницы между евреями и другими народами. Я знала, что Айна верит тому, что говорит, и слушала, не перебивая, но мне очень хотелось сказать, что я совершенно не сержусь на ее маму, что мама гораздо умнее ее, Айны, что она, в сущности, права и желает мне только добра.

Слова этой здравомыслящей женщины заставили меня задуматься: как я буду воспитывать своего мальчика? До сих пор меня занимало только, чтобы он выжил и был здоров.

Дня через два я сидела вечером с отцом Айны. Он расспрашивал о моей жизни до войны, и мне впервые за пять лет захотелось говорить о своей давнишней юношеской мечте уехать в Палестину. И я призналась, что эта мечта, не вытравленная войной, жива во мне и сейчас, когда мы с ним разговариваем. Карие глаза Дамберга устремились на меня с глубочайшим пониманием и сочувствием, которое и не снилось мне за все эти годы.

– Вы правы, Эстер, я вас понимаю. Но есть вещи, о которых не только говорить, но даже и мечтать опасно.

– Я знаю, – тихонько ответила я.

Он осторожно спросил, не собираюсь ли я съездить в Люцин.

– Нет, – ответила я еще тише. – Во мне нет смелости узнать правду.

Когда я поднялась, он тоже встал и крепко пожал мне руку:

– Не знаю, имеют ли мои пожелания какую-нибудь силу, но от всего сердца желаю вам достигнуть того, к чему вы стремитесь.

* * *

Я уже знала об истреблении всего еврейства Латвии, но никак не могла охватить этот факт сознанием и все время отодвигала мысль об этом. Подробностей я не знала и не расспрашивала именно потому, что от подробностей не удалось

бы отмежеваться; я знала, что эти подробности будут сопровождать меня всю жизнь.

Однажды я встретила знакомую из Люцина – она там побывала. Ее отец до войны торговал лошадьми, и у него было много приятелей и даже как будто друзей в окрестных деревнях и в самом городке среди латышей и среди русских – именно они услужливо рассказали ей подробности гибели евреев, в том числе и моих родителей.

В 40-м году, когда советские войска "освободили" Латвию, мой отец работал счетоводом в сапожной артели. Летом 41-го, не дожидаясь официального приказа немцев, сослуживцы явились в дом и убили счетовода и его жену. Подробности были неизвестны, ведь убивали в доме. Но убийство нашего раввина происходило на улице, и поэтому о нем можно было порассказать. Раввин Дон-Иехье (Йих'е) был сефардского происхождения, смугл, строен, высок, лицо обрамлено черной бородой. Все, что с окраин, с задворков, с чем еврейское население не имело никаких сношений, – все это высыпало на главные улицы городка грабить и убивать евреев.

Мальчишки бросали в раввина камни, парни гнали его по улице и били палками по спине, плевали ему в лицо, девчонки выщипывали по волоску бороду, и так длилось, пока раввин не упал, и они оставили его лежать окровавленного на мостовой. Толпа устремилась на другие улицы, и когда люди подошли к нему, он был мертв.

– Помнишь Маньку Скупскую? – спросила моя знакомая. Я хорошо помнила Маньку, она жила недалеко от нас, толстоногая, толстогубая девчонка, кончила, кажется, не больше четырех классов, мальчишки говорили о ней гадости, но я была уверена, что они просто болтают, по неодолимой потребности мальчишек рассказывать гадости. Однако к шестнадцати годам Манька налилась, научилась подкрашивать губы и брови и стала пользоваться особым вниманием со стороны парней и солдат, стоявших в городке. Именно Манька Скрупская больше всех изощрялась в истязании раввина.

– Что с ней случилось, когда немцев прогнали? Она в тюрьме? – спросила я.

– В тюрьме? – улыбнулась моя знакомая. – Как ходила с немцами, так сейчас ходит под ручку с каким-то начальником.

Но не только подонки и отребье сотрудничали с немцами. Ненавидящий меня учитель физики в латышской гимназии, который, впрочем, не выделял меня среди всех других учениц (он обзывал нас "бараньими головами", и я не составляла исключения), – убивал деятельно и неустанно. Учитель пения, откровенный антисемит, вкусил, наконец, долгожданного торжества и, можно точно сказать, праздновал "праздник на своей улице", не покладая рук. Но самым поразительным был Васька Эгле, латышский парень из интеллигентной учительской семьи. Он был моим соучеником, милый, веселый, открытый рубаха-парень, ему прощали и нарушения дисциплины (в латышской гимназии за это взыскивали очень строго), и неуспевание по математике и другим предметам. Он хорошо рисовал, играл на рояле, был спортсменом, очень дружил с еврейской молодежью, особенно из "Бейтара", ходил к нам в клуб, флиртовал с девушками и играл в теннис с парнями. Правда, уже тогда, когда он напивался с Шуркой-вором (красавец-парень, которому воровство придавало в наших глазах нечто романтическое) и с Шуркой Б. (тоже вором и тоже красавцем, но его, в отличие от первого Шурки, называли по фамилии), – уже тогда Васька был склонен к хулиганству. Но он так остроумно рассказывал о своих скандальных проделках с соучениками, а особенно с соученицами, что эти сомнительные похождения казались просто забавной шалостью. И вот этот самый забавник Васька вместе с приятелями Шуркой-вором и Шуркой Б. загнали всех еврейских девушек 16 – 18 лет в синагогу, изнасиловали их, а потом сожгли вместе с синагогой.

Да, большая разница – знать ВООБЩЕ или услышать обо всем в частности. То огромное, бесформенное ВООБЩЕ, которое можно было отодвигать, теперь получило форму, внятные, ощутимые подробности – оно стало моим частным

достоянием, и от него уже, как от самой себя, некуда было уходить. Мы стояли посреди шумной рижской улицы, прохожие толкали нас, ругали, время от времени раздавались трамвайные звонки, но я видела наш люцинский дом, тела отца и матери на полу в крови и знала, что последние слова папы были: "Слава Богу, Этинька не с нами". Я шла по тихой люцинской улице – но сейчас на ней ревела озверевшая толпа и палками забивала смуглолицего отпрыска благородных испанских раввинов. И Манька Скрупская с толстыми ярко накрашенными губами подпрыгивала и вырывала из его головы темные еврейские пряди. Я прошла по переулку близ Малого Люцинского озера, где стояли все шесть синагог, и увидела одну из них в огне и услышала крики... Моя знакомая обхватила меня, прислонила к стене и резко, как бы отхлопывая по щекам, потребовала:

– Этька, приди в себя! Тут ничем не поможешь.

Это была жестко сформулированная правда, но все мое внутреннее "я" восставало и бушевало и требовало действия. Как, сытая Манька разгуливает под ручку с начальством, будто ничего в мире не произошло и ничего не изменилось?! Произошло – да, но изменилось ли? Самые невероятные мечты о мести проносились в моей голове: вот я работаю сестрой в люцинской поликлинике и методично отравляю всех, кто убивал евреев, наслаждаясь их страданиями... хотя прекрасно сознавала, что даже если бы представилась возможность, никогда бы не смогла совершить такое. И с новой силой вставал вопрос: кем я и среда воспитаем моего сына?

* * *

24 декабря старые Дамберги загнали Айну и меня с детьми в наши комнаты и запретили выходить, пока все не будет готово. И вот нас торжественно позвали в главный зал. Елка сияла зажженными свечками, разноцветными шариками, золотыми и серебряными гирляндами, а на ветках там и сям были навешаны плотные мешочки со сладостями. Мой сынок широко раскрыл блестящие потрясенные глаза – ах,

как он был красив в эти минуты! – и замер, не спуская с елки завороженного взгляда. До сих пор помню этот его взгляд при сказочном видении елки, и – как сжалось мое сердце: ведь это все не его. Доченька Айны также сияла и счастливо таращилась во все глаза, это было ее по праву. Мы ходили вокруг елки и пели рождественские песни, конечно, не упоминая Иисуса, поскольку Айне как члену партии полагалось быть антирелигиозной. Дети получили подарки, затем был семейный рождественский ужин, на котором была подана традиционная рождественская "скаба путра" – кислая каша, сдобренная поджаренными свиными ушами. Я живо участвовала в шутках и разговорах, ела все, кроме каши, извинившись, что не переношу кислого. В конце ужина старый Дамберг внимательно посмотрел на меня и шепнул что-то Айне. Поздно вечером, когда дети уже спали, Айна зашла ко мне и уселась рядом на кровать.

– Этька, ты хоть и шутила, но была печальной. Ты не беспокойся, живи у нас столько, сколько понадобится. Ты же видишь, что мои родители к тебе привязались.

Что я могла сказать? Что чем больше эта семья оказывала мне внимания, тем яснее мне становилось, что это все не мое. У них семья, язык, песни, культура. Это их Рождество, их елка, их "скаба путра", а у меня здесь, в Союзе, нет семьи, никогда не будет моего языка, моих песен, моих праздников. И кем станет мой сын?

Я перевела разговор на заботу о ближайшем будущем, о работе и тому подобном, мы продолжили его в обычном мажорном тоне, хотя я немного фальшивила. Уходя, Айна улыбнулась своей пленительной улыбкой:

– Не горюй, Этька, стой крепко на своих ногах, и если нужна будет помощь, не сомневайся, обращайся прямо ко мне.

Я знала, что давно уже пора было "крепко стоять на своих ногах". А в том, что меня угнетало в сегодняшний вечер, мне никто не поможет. Я везде чужая, и это навсегда. Представить себе выезд из Советского Союза в 1945 году при сталинском режиме не могло самое безумное, самое разнуздан-

ное воображение. Ну, а достигнуть единственной страны, где я бы сумела жить, жить в полном и прекрасном смысле этого слова, достигнуть Эрец-Исраэль, – это было в те времена примерно то же, что попасть на луну (подчеркиваю, в те времена, не наши). Сын разметался в кроватке и сладко посапывал во сне. Что же будет у него? У меня – хотя бы мои воспоминания о еврейском доме, идиш и немного иврит, мечта о Палестине, хоть и не выговоренная. А у него?.. Нет, хватит об этом. Айна права, как всегда. Первым делом устроиться на работу, чтобы за ним был хороший уход, чтобы он окреп, стал на ноги в буквальном смысле слова – вот задача "на данный отрезок времени", как выражались политруки. А дальше увидим. Будущее полно неожиданностей, и это, может быть, к лучшему. Как успешно, однако, я убеждаю себя, вот что значит работать над собой, как когда-то, в другом мире, нас учили "мадрихим" (вожатые), иронизировала я. Но старый прием помог, у меня была ощутимая цель, ее надо было достичь.

Я нашла работу в Доме ребенка, далеко от центра, за Двиной. Дом был окружен большим садом, и вся улица, состоящая из одноэтажных и двухэтажных домов с садами, была тениста и тиха. Ни евреев, ни русских там не было – одни латыши. Все как до войны. Во всем добротность и несколько угрюмая латышская сдержанность. Я начала работать сестрой, но жила в условиях "мамаши", то есть в общежитии. Правда, здесь в комнатах жили по трое. Весь персонал, кроме меня и еще одной сестры, составляли латышки, заведующая детдомом и лечащий врач были советскими еврейками. Сестры были молодые, а нянечки работали здесь годами и имели большой опыт ухода за детьми. Меня встретили подозрительно. Я не соответствовала их представлениям о медсестре: холодная вежливость, строгость, никаких шуточек или просто разговоров, некоторая отрешенность... Эти качества у меня абсолютно отсутствовали. Кроме того, у меня не было ни дома, ни семьи, ни денег – ничего, что вызывало бы уважение. Но я научилась хорошо работать (между прочим, у этих нянечек). Вдобавок, они не знали русского язы-

ка, а директриса – ни слова по-латышски, так что мне пришлось быть переводчицей и посредницей. Я смягчала несдержанные выражения нашей начальницы, а просьбы персонала передавала в надлежащем виде, добавляя иногда некоторые подробности, помогавшие уладить недоразумения. Таким образом, вскоре я стала необходимым работником. Часто я с благодарностью вспоминала слова Эсфири Самойловны о том, что в рижском детдоме условия будут лучше и молоко пойдет по прямому назначению. Она была права. Я уже не жила в страхе за жизнь моего сына, но была озабочена тем, что в девять месяцев он с трудом поворачивается. Пожилые нянечки меня утешали:

– Не беспокойтесь, сестричка, он еще так побежит, что вы не догоните!

Мне хотелось им верить. Я запомнила нянечку Цемер, работавшую бесшумно и ловко, без всякой спешки, очень ласковую с детьми. На вздернутом носике с трудом держались очки в старой-старой оправе. Однажды я застала ее кормящей одного из детей, а из-под очков катились слезы. Я расспросила ее. Оказалось, она воспитывает четырехлетнего внука, который каждый день остается дома один. По ее лицу я поняла, что произошла семейная трагедия и подробностей выяснять не следует.

– Я не знаю, что он делает по утрам, но когда я возвращаюсь, то издали различаю прижатое к стеклу личико. Он придвигает к окну стул, карабкается на него, со стула ухватится за подоконник – и так стоит и смотрит, когда появится бабушка. А я все время дрожу, что если он, не дай Бог, откроет окно и выпадет на мостовую с третьего этажа...

– Цемерите*, почему вы не отдадите его в садик?

Лицо ее залилось густой краской: латыши не любят выставлять свою бедность напоказ.

– Стыдно признаться, но у меня нет денег купить ему пальто и хоть какую-нибудь обувь, чтоб вести его в сад. Зарплаты хватает только на пропитание.

---

*Ласкательно-уменьшительное от фамилии Цемер.

Меня обожгло от представившейся картины: малыш, прилипнувший к стеклу, часами ожидающий прихода единственной ненаглядной бабушки.

– Цемерите! Вчера я получила зарплату (шестьсот рублей за две рабочие смены) – возьмите, а когда у вас будет – отдадите.

Она была так поражена, что в первую минуту отшатнулась. На лице выступила подозрительность: с какой стати эта полуоборванная еврейка, которая сама ничего не имеет, предлагает взаймы первую зарплату? Я знала, что происходит в ее душе, ведь характерная черта латышей – это развитое чувство собственности и вместе с тем личного достоинства. Латыш не любит давать своего, но и не любит оставаться должником. Представить, что одна из латышских сестер предложит нянечке взаймы, было немыслимо. Она колебалась. Образ мальчугана, вглядывающегося через окно на улицу, не идет ли бабушка, мучил меня, и я принялась ее убеждать: ведь она не собирается с этими деньгами удрать в Америку, когда сумеет, тогда отдаст, мне не к спеху. Лицо ее прояснилось, подозрительность сошла, но, оглядев мою поношенную военную одежду, она по-прежнему категорически отказалась от помощи.

– Вы что, думаете, я совсем совесть потеряла?

Тогда я уселась рядом и рассказала, как совершенно чужие незнакомые люди приютили нас, двух одиноких женщин с маленькими детьми, в декабрьскую полночь и даже хотели оставить у себя детей, если мы, матери, не вернемся за ними.

– Они были совсем небогатые, и мне нечем было их отблагодарить, но мне будет легче, если я смогу помочь другим, кто нуждается в помощи.

Нянечка поблагодарила и отошла в дальний угол, где долго-долго протирала свои очки в круглой металлической оправе. Я же почувствовала, что за все время с тех пор, как я поселилась у Айны, тяжесть понемногу сваливается с моих плеч и я начинаю снова обретать себя.

Со следующей получки я заказала новые сапоги – старые совсем прохудились. Нянечка Цемер начала выплачивать

долг, и я купила в рассрочку у одной дамы, безусловно, знавшей когда-то лучшие времена, черную бархатную шубку и узенькую полоску меха. Шубка величественной дамы, очевидно, из "бывших", была слишком длинна, и портниха из оставшейся ткани сшила мне черный берет. Итак, у меня было новое пальто (что оно переделано из шубки царских времен, до этого никому дела нет), новый берет и новые сапожки тридцать четвертого размера с изящными каблучками. Надев все это в первый раз, я почувствовала себя неотразимой. Мне даже казалось, что на улице на меня оглядывались, несмотря на проклятие маленького роста, препятствовавшего, как мне казалось, моим личным успехам. Однажды я сподобилась веских доказательств своей притягательности. Возвращалась я из центра к себе в Задвинье (трамваи уже ходили), а рядом уселся, вежливо спросив разрешения, увесистый гражданин средних лет. Трамвай дернулся и помчался, а гражданин вынул из кармана толстый бумажник, похлопал по нему и обратился ко мне со следующим заявлением:

– Вы, девушка, думаете, наверное, что в нем бумаг полно? Нет, милая, тут одни деньги. (Я немного отодвинулась.) Вы не сомневайтесь, я мужчина здоровый.

Я глянула на румяные полные щеки и сказала, что нисколько в этом не сомневаюсь. У меня было хорошее настроение, я давно не смеялась, и убегать на другое место – зачем? Лучше посмотрим, что будет дальше. Он подсел ближе и вполголоса спросил, далеко ли я живу и можно ли проводить меня домой. Я на весь трамвай затараторила, как рады будем я и муж, хотя он человек нелегкого характера, познакомиться с таким солидным человеком. Трамвай подходил к следующей остановке, и гражданина как ветром сдуло. Угрюмый человек в замасленной куртке, сидевший напротив с отсутствующим видом, вдруг улыбнулся мне:

– Хорошо ты отбрила толстомордого!

Тут уж я рассмеялась от всей души. Вот что значат бархатная шубка и новые сапожки!

* * *

Я работала сестрой по две смены, то есть полные двенадцать часов, по совету директрисы, старавшейся мне помочь заработать. Она была взбалмошной, чрезвычайно тяжелой в общении, но по сути доброй, отзывчивой и очень одинокой. Ее не любили: трудно было предугадать ее реакцию, иногда очень бурную. К латышкам она относилась сдержанно. После войны отношения между латышами и советской администрацией были очень хрупкие. Вроде все в порядке, а напоминает хождение по узкой досточке. Латыши не высказывали открытой неприязни, но, угрюмо уставившись в пол, упрямо отмалчивались на все замечания. А директриса была и советской, и еврейкой, да еще и некрасивой, с кривыми ногами, и, вдобавок, ни слова не знала по-латышски. Я понимала, что ей очень трудно. Но когда она заходила в комнаты детей, особенно ползунков, ее некрасивое лицо озарялось такой добротой и заботой, что я тут же прощала ей все вулканические извержения. Она приглашала для детей врачей-специалистов, сама проверяла кухню, что чрезвычайно оскорбляло повариху, серьезную солидную латышку. И действительно, детская пища была замечательная: котлеты, блинчики, сладкие пироги... Мы, то есть сестры, чьи дети были в этом детдоме, получали ежедневно по тарелке хорошего супа, иногда повариха подсовывала нам что-нибудь вкусненькое из детского питания.

Однажды вызвала меня директриса.

– Вот что, Манькова, хватит вам работать сестрой. Так вы никакого повышения не получите, потому что старшая сестра у нас уже есть, и кроме того, это не для вас, сами понимаете.

Я понимала, кроме того, мой характер, действительно, не для должности старшей сестры, на таком месте должна быть латышка, в худшем случае русская, но уж никак не еврейка. Хватит того, что директор и лечащий врач – еврейки.

– Я предлагаю вам стать психологом детей раннего возраста. Самостоятельная работа и оклад выше.

– Стелла Моисеевна, я понятия не имею о психологии, а о психологии раннего возраста – тем более.

– Не боги горшки обжигают. Я отправлю вас на курсы в Москву. Ваша характеристика уже послана, а пока вот книжки на эту тему, читайте!

После этих безапелляционных слов я не знала, радоваться или нет. Несмотря на соблазн учебы и повышения статуса, очень не хотелось оставлять сына даже на один день – он только начал поправляться и приходить в себя. Ладно, решила я, может, Москва откажет, что заранее беспокоиться. Пока начала присматриваться к детям и обнаружила, что несмотря на хорошее питание и уход, несмотря на чистый воздух и постоянные прогулки в саду, окружавшем дом, дети развивались вяло и часто болели, исключая тех, у кого были матери. Я сообщила свои тонкие наблюдения директрисе и спросила, что, по ее мнению, может быть причиной такого явления. Она уставилась на меня через толстые роговые очки.

– Я вас назначила психологом детей младшего возраста не для того, чтобы вы спрашивали, а чтоб вы давали ответы.

Нечего делать, я принялась читать книжки. Там было много о важности правильного советского воспитания и о том, как привить в раннем возрасте любовь к великому вождю народов, но ни слова о причинах замедленного развития в раннем возрасте.

Почему эти дети так редко и так скупо улыбаются? Почему много плачут и мало шалят? Так часто болеют? И почему "мамашинские" дети веселы и жизнерадостны? Ответ, конечно, прост: детям нужна любовь. Но где ее взять, эту самую любовь, если дети брошены с дня своего рождения? Следующий разговор с директрисой на эту тему был продолжительнее, чем первый. Она сказала, что постарается как можно больше детей устроить в семьи. Но нам обеим было совершенно ясно, что устроить более трехсот детей, бывших в детдоме, не удастся. Надо что-то изменить в условиях жизни здесь, на месте.

Мы задумались, и директриса вдруг, как это бывало у нее, рассердилась и атаковала меня:

– Вы психолог в этом детдоме, и забота о правильном развитии ребенка – ваша обязанность.

– Стелла Моисеевна, какой я психолог! Вы же сами знаете...

– Меня это не касается! С двадцатого января вы зачислены психологом, получаете соответствующую зарплату, извольте оправдать возложенное на вас доверие! – последние слова она выкрикнула.

Я вышла из кабинета, чтобы не попасть под извержение вулкана, села у стола старшей сестры и стала думать.

Прошло дня два, я, конечно, ничего не надумала, но вспомнила рассказ одной симпатичной врачихи в больнице имени Пирогова о детях, лежавших там месяцами. Когда к ним приближалась фигура в белом халате, на детей нападал страх; маленькие кричали и рвались из рук, не принимали бутылочек, их с трудом успокаивали. Дети постарше тупо уставлялись в угол и не дотрагивались до пищи. Врачиха решила произвести опыт и, пренебрегая опасностью инфекции, свирепствовавшей в отделении, велела всему персоналу явиться не в белых халатах, а в обыкновенной одежде. Сама же вошла к детям в цветастой кофточке и темной юбке. Результаты были поразительные: дети с любопытством глазели на сестер и нянечек, старались ручками дотронуться до невиданных ярких тканей. С тех пор они с нетерпением ждали прихода нянечек и сестер, а те, что умели говорить, горячо обсуждали их туалеты и внешность.

Я начала развивать в уме эту идею. Ведь в этом действительно образцовом детском доме беленькие, чистенькие дети целый день лежат в комнатах, где стены окрашены в белый цвет, в белых кроватках и в полной тишине – так было принято еще до войны. Здесь не могла бы работать расторгуевская тетя Паня, которая ласкала, целовала и подолгу разговаривала с несчастными полуживыми существами. Здесь каждому полагалось работать молча, с предельной пунктуальностью и продуктивностью – детям следовало есть, пить, прибавлять в весе и смирно лежать, ничего не требуя. С раннего возраста дети как бы впитывали эти правила поведения

– и мало плакали, еще меньше улыбались, поздно начинали ходить и еще позже говорить. Нянечки редко брали их на руки, а сестры – никогда. Здесь детям совали в рот бутылочку, которую они придерживали руками. Как можно развиваться, если все вокруг бело, стерильно и беззвучно!

Эти соображения я выложила директрисе и предложила для начала повесить на кроватках яркие погремушки. Стелла Моисеевна засмеялась:

– Знаете что? Я пришла к выводу, что я умная женщина, я знала, кому предложить должность психолога. Я была уверена, что ваша голова что-нибудь придумает!

Она не сказала "еврейская голова", но ясно было, что подразумевалось именно это.

На очередном совещании все работники, услышав предложение директрисы брать детей на руки и разговаривать с ними, недоуменно спросили, когда же им в таком случае работать? Все в детдоме были заняты наведением чистоты – процесс, в котором дети являлись постоянной помехой. Нянечки были перегружены до предела, а сестры, работавшие здесь до войны, не желали никаких нововведений, тем более, если принимать их приходилось от русскоязычной советской еврейки.

– Что ж вы молчите, Манькова? – и директриса беспощадно предоставила мне самой управляться с этим взбаламученным морем. Не успела я сообразить, как буду выкручиваться, как нянечка Цемерите подняла руку. Ее латышская речь была проста, а смысл был тот, что у кого есть дети и без науки понимают, что ребенок должен чувствовать ласковую руку и слышать человеческую речь, иначе как он научится общаться с другими? И вдруг слушатели разразились аплодисментами. Когда они стихли, я сказала, что мне нечего добавить к словам нянечки Цемер, потому что она сказала лучше самых ученых психологов в мире, не говоря уже обо мне. Тут все сразу заулыбались, и директриса велела записать старшей сестре принятое решение, а меня она на следующей неделе направила на фабрику игрушек, чтобы подобрать образцы для крупного заказа. У меня была солидная официальная

рекомендация, и сама директор фабрики, властная женщина с жестким, даже каким-то злым и одновременно веселым лицом, водила меня и показывала продукцию, я важничала, чтобы поддержать марку "психолога", и изрекала псевдонаучные фразы по поводу плюшевых зайцев и медведей и даже брала их в руки, как бы взвешивая, насколько они соответствуют критериям психологической науки о раннем возрасте.

На обратном пути я встретила Лею. Господи, какое счастье встретить кого-то близкого из довоенной юности! Мы с Леей были в одном движении и часто встречались на слетах. Ее речь искрилась великолепным еврейским юмором, Лея замечательно пела низким богатым альтом народные песни на идише. И вот после долгих лет войны – встреча. Мы пошли в парк, сели на скамеечку и говорили, говорили... Она работала в комиссариате народного образования. Проговорив около двух часов, мы спохватились – уже давно пора было возвращаться! И тут на прощание Лея меня огорошила:

– Скажи, ты думаешь иногда об Эрец-Исраэль? Ты бы хотела туда поехать?

Я воззрилась на нее, как на полоумную. О чем она говорит?

– Лея, на фронте мы были в двойном окружении, люди умирали от голода на моих глазах. Были такие, которые упивались разговорами о еде. Я запретила себе не только разговоры, но и мысли об этом, хотя последнее не всегда удавалось. Все это отрезано навсегда, лучше не растравлять себя.

Лея внимательно посмотрела и снова повернула кинжал, достигший самого сердца:

– Ну, а все-таки?

– Лея! – взмолилась я. – Хватит! Мне и так, как ты поняла из моего рассказа, не очень сладко.

Но она не унималась:

– И все-таки, ведь можно помечтать! Если бы была малейшая возможность, ты бы поехала?

– Лея! – вырвалось у меня на идише. – Breit mit Wasser essen – nur in Erets Isroel zu sain! ("Сухую корку грызть и водой запивать, лишь бы жить в Стране!").

Мы расцеловались и расстались. Я, страшно взволнованная, вынуждена была долго урезонивать себя и отсекать недозволенные мечтания.

* * *

Образцы игрушек, принесенные с фабрики, после мытья полиняли, но даже в облезлом виде они вызывали большой интерес и оживление у детей. Посреди каждой комнаты был установлен манеж с игрушками, и туда помещали детей. Они с любопытством поднимали головы, оглядывались и тянули игрушки к себе. Иногда с еще большим интересом тянули за волосы соседа, который, не в пример игрушке, начинал издавать громкие крики, что, наверное, тянувшему малышу казалось очень забавным.

Почти все дети были круглыми сиротами или подкидышами. Но однажды в кабинет директрисы зашел высокий плечистый латыш лет тридцати. Он вызвал немедленное всеобщее любопытство – мужчины в нашем заведении, кроме садовника (он же и сторож), не появлялись. По мановению пальца Стеллы Моисеевны я вошла в кабинет для перевода. Оказалось, этого человека неожиданно оставила жена – его и полугодовалого ребенка. Отец Янитиса, то есть Ванечки, работает на шоколадной фабрике, уходит на работу в шесть утра, возвращается в четыре, родственников у него нет, обратиться за помощью не к кому. Он просит взять мальчика на время, пока не найдет возможности устроить его дома. На фоне безрадостных судеб, ожидающих детдомовских детей, приятно было ухаживать за ребенком, который кому-то принадлежит и у которого есть шансы вернуться в семью. Отец приходил каждую неделю, приносил всем шоколад, подолгу сидел возле сына и слушал увлеченные рассказы старшей сестры об успехах маленького Яниса. Но вот ребенок заболел одной из обычных детдомовских болезней – то ли это был понос, то ли воспаление легких. Отец приходил часто и подавленно молчал. Мы от всего сердца старались помочь этому мальчику, который отличался от других: он был Янитис

Мауриньш, у него был любящий отец и какая-то, хоть и не совсем любящая, но все-таки мать. Прошло больше месяца, и ему стало лучше. В свободное от дежурства время мы заходили посмотреть, как Янитис улыбается, как, уцепившись за прутья кроватки, пытается встать на ножки. Стелла Моисеевна даже раздобыла для него новые блестящие раскрашенные игрушки, не терявшие красоты даже после мытья. И где она исхитрилась найти такие? Ведь понятия "магазин игрушек" еще не существовало. Когда отец увидел мальчика стоящим в кроватке, его замкнутое лицо так озарилось, что мы отвернулись, чтобы не прослезиться. Через неделю он пришел сияющий, праздничный, сообщил, что жена вернулась и они берут ребенка домой.

– Господи Боже, как хорошо! – воскликнула Стелла Моисеевна, позабыв, что она партийная, а брат ее – начальник в НКВД, и с Господом Богом ей никаких дел иметь не полагается.

Все получили конфеты и шоколад, врачи – по красивой коробке особой экспортной продукции. Отец был приглашен в директорский кабинет на чай. Откуда-то чудом появилась тарелочка вкуснейших пирожков. Было весело от сознания, что в таком официальном месте, как директорский кабинет, происходит некое домашнее интимное и огромное душевное событие. Вскоре явилась и жена с одеждой для мальчика. Очень красивая, статная. Конечно, сразу стало ясно, кто кого обожает и кто над кем властвует. Отстраненно-холодновато она всех поблагодарила, прибавив, что им далеко ехать и надо спешить. Вкусных пирожков, уж не говоря о шоколаде, который, очевидно, давно ей надоел, она не попробовала. Она деловито завернула ребенка и, бросив выразительный взгляд на мужа (тот сразу сник), направилась к выходу. Все провожали малыша самыми сердечными пожеланиями, чтобы он рос сильный, здоровый, счастливый и так далее.

– Слава Богу, теперь он опять в своей семье! – вздохнула директриса и задумалась.

Доктор Коган, милая и очень женственная, заметила:

– Не нравится мне эта мать... холодная.

– Зато красивая, а это много значит. Кроме того, семья есть семья.

И я была совершенно согласна с нашей директрисой. Даже худая семья лучше образцового детдома. Однако в этом случае жизнь выкинула такую неожиданность, которая, будучи рассказанной, кажется придуманной и поражает неправдоподобием.

Через две недели опять явился отец маленького Яня. Он как бы сделался ниже ростом – вошел ссутулившись, с растерянным лицом. Его окружили, расспрашивая о самочувствии мальчика, высказывая уверенность, что Янитис уже наверняка ходит по кроватке и т. д. Он отвечал односложно и сказал, что ему необходимо видеть директрису. В кабинете все выяснилось. Сначала этот рослый человек, не зная, как начать, мялся и молчал, взгляд его растерянно бегал по сторонам, боясь встретиться с прямо на него уставленными глазами в роговых очках. Наконец, после неловких покашливаний, он махнул рукой и выдавил из себя:

– Я хочу вернуть ребенка в детдом.

Он сидел, опустив голову, и пальцы играли незажженной папиросой.

– Манькова, спросите, что случилось? Его красавица опять его оставила? – глаза Стеллы Моисеевны, и так до неестественности увеличенные толстыми стеклами очков, сделались огромными вопросительными знаками. Я перевела вопрос в несколько более вежливом тоне и с большей долей сочувствия.

Мне редко приходилось видеть краснеющего мужчину, но чтобы мужчина краснел не только лицом, но даже и шеей, – такого я не видела никогда. Наверное, его самолюбие было глубоко уязвлено и ему стыдно было признаться, что его красивая жена уходит от него во второй раз, подумала я как великий психолог, но уже не детского возраста. Он долго молчал, собираясь с духом, прежде чем мы услышали почти выкрик:

– Что ж я могу поделать, если он плачет каждую ночь, а

она не может терпеть его плача и не встает к нему? Мне же в шесть уже надо идти на работу! – и едва слышно выдавил: – Она поставила условие: или она, или мальчик.

От изумления я забыла перевести его слова.

– Ну, что же вы, Манькова, онемели?

Я перевела.

– Вот как, – протянула Стелла Моисеевна, – мамаша с папашей, значит, будут в кровати забавляться, а мы будем их детей растить? Заблагорассудится – забирают, заблагорассудится – возвращают?! Нет, так дело не пойдет.

Здоровый мускулистый человек под ее взглядом все съеживался и уменьшался в объеме. Господи, до чего беспомощны бывают именно самые крепкие на вид и выдержанные мужчины! Он опустил голову так низко, что лица не было видно, и до наших ушей донеслось:

– Мы решили отказаться от него вообще.

Было чувство, будто кто-то надавал мне пощечин, хотя таковые полагались сидящей рядом мужской особи и особенно – его партнерше. Когда я объяснила Стелле Моисеевне, в чем дело, лицо ее побледнело, окаменело и стало похоже на маску гнева примитивного божка.

– Приготовьте документ, пусть оба родителя придут завтра с ребенком и при свидетелях подпишут, что они отказываются от ребенка навсегда и никаких претензий у них нет, – произнесла она, вставая, ледяным тоном. Так как отец сидел, закрыв лицо руками, и не двигался с места, она пошла к дверям, бросив мне:

– Видеть его не могу. – У двери вдруг обернулась и крикнула страшным дрожащим голосом: – Чтобы духу его тут не было, чтобы его потаскуха не смела проходить мимо этого дома, а если паче чаяния зайдет – я позову милицию!

Отец тяжело поднялся и вышел из комнаты. Он шел по светлому коридору, как по пустыне, где нет ни одной живой души. Только дежурная сестра усердно перетирала в шкафчике какие-то бутылочки, упорно не оборачиваясь.

Янитис вернулся к нам. Хотя теперь он был действительно "сиротским" ребенком, но общая привязанность к нему

только возросла. С ним играли и разговаривали больше, чем с другими, а директриса торжественно обещала, что найдет для него настоящую семью, которая, по ее словам, пусть и не может производить детей на свет, но зато сумеет их любить и воспитывать.

Прошло не более месяца, и она сдержала свое обещание. Пришли муж и жена; он был командиром в русской части, она тоже служила в армии, была ранена и демобилизовалась. Оба выглядели весьма обыкновенно, даже заурядно. Зато директриса сияла: они пришли взять и усыновить ребенка! Я разочарованно спросила Стеллу Моисеевну, неужели она не нашла для Яниса ничего лучшего. Разразилась бешеная вспышка.

– Вы что о себе думаете, Манькова, что вы большой психолог? Физиономист? По лицу читаете в сердце человека?

Я огрызнулась в ответ, что это она, мол, сделала из меня психолога. Моя непоследовательная начальница неожиданно затихла, усмехнулась и позвала меня в кабинет – рассказать их историю. Вот она.

Они поженились перед войной, и когда его мобилизовали, она пошла в армию вместе с ним. Она была тяжело ранена, почти при смерти, и после долгого лечения оказалось, что она никогда не сможет иметь детей. Когда муж, счастливый при вести о ее выздоровлении, приехал с фронта ее проведать, она приняла его холодно и заявила, что решила его оставить. Пораженный, убитый горем, он сидел в углу коридора, где произошла встреча, уставясь в пол, ничего не соображая и не имея сил двинуться. Молоденькая сестра вывела его из оцепенения и растолковала, что заведующая отделением просит его зайти. Его ввели в кабинет, усадили на стул возле письменного стола. Сестра вышла, закрыв дверь. Заведующая отделением встала из-за стола:

– Я вас понимаю, товарищ командир, это большое горе. Но ведь теперь война, и я думаю, что нет семьи, где бы не поселилось горе – потеря мужа, сына, ранение или инвалидность. Вы должны рассматривать инвалидность вашей жены как всякое другое ранение на фронте.

Он слушал, подняв глаза, и ничего не понимал.

– По воле этой войны вы как бы "осиротевшие" родители и хотели бы ребенка. Но сейчас по всей стране тысячи осиротевших детей, для которых было бы счастьем иметь таких родителей, как вы. Мы буквально вырвали вашу жену из когтей смерти, но сохранить возможность забеременеть не удалось.

Тут этот командир, сидевший до того с окаменевшим лицом, вскочил, крепко прижал к своей фронтовой видавшей виды шинели пожилую заведующую в белоснежном халате, расцеловал ее в обе щеки и выскочил вон.

Потом он сидел у кровати жены, целовал ей руки и все спрашивал, почему она не сказала ему правду.

– Это сейчас ты сгоряча так говоришь, – отвечала она, – а пройдут годы, у всех вокруг будут дети, только мы останемся как засохшие ветки. И даже если ты ничего не скажешь, в душе ты мне не простишь.

– А если бы я получил такое ранение, что не мог бы сделаться отцом, ты бы оставила меня?

– Что ты, Бог с тобой! Как можно? – вырвалось у нее.

– Ну вот, ты и ответила за меня.

Он взял ее за руку и, глядя будто не в глаза, а прямо в самое сердце, сказал:

– Никого у меня нет на свете лучше и дороже тебя. Если вернусь с войны не беспомощным инвалидом, мы возьмем на воспитание ребенка.

Такова была история, поведанная Стеллой Моисеевной. Подробности я узнала несколько позже от самой матери. Именно матери. Надо было видеть, как долго она смотрела на маленького Яниса, как вдруг схватила его на руки, прижалась к нему и, плача счастливыми слезами, покрыла его поцелуями.

Маленькая, располневшая, бледноватая и, конечно, не совсем здоровая женщина. Но не было никакого сомнения, что перед нами истинная мать.

Яниса, тут же переименованного в Ванечку, одели в теплые шерстяной свитер и рейтузы, на голове красовалась ша-

почка с большим разноцветным помпоном, и даже маленькие варежки были надеты на ручки. Потом его завернули в теплое одеяло и понесли к машине. Я не могла глаз отвести от двух лиц, преображенных любовью. Это были прекрасные лица – другого выражения у меня нет. У всех присутствующих были мокрые глаза. Некоторые всхлипывали. Стелла Моисеевна как-то странно кашлянула и, хлопнув дверью, заперлась в своем кабинете. Разумеется, директрисе не подобает плакать на виду у всего персонала.

Несколько раз мы навещали нашего Ванечку у его новых родителей. Решение навестить возникало мгновенно, без предварительной договоренности (о домашних телефонах тогда и речи не было), и тут же претворялось в жизнь. Происходило это примерно так:

– Вы что, Манькова, крутитесь по комнатам, как неприкаянная? У вас, что, работы не хватает?

– Что вы, Стелла Моисеевна, я же собираю статистические данные о развитии детей.

– А, значит, вы очень заняты? – разочарованно. – Жаль! Я решила проведать нашего Мауриньша и хотела вас взять с собой.

Мне самой тоже очень хотелось поехать, но ведь я уже ляпнула, что "очень занята", вот и приходится молчать.

– Ладно, Манькова, статистика не волк, в лес не убежит. Едем.

Обрадованная, я бросаюсь одеваться и слышу вдогонку резкий голос:

– Но если не сдадите отчет о развитии до первого числа, я с вас две шкуры спущу!

Новая семья (жаль, что фамилии не помню) жила в Межпарке*, дачном поселке под Ригой. Это был сосновый лес, ухоженный, как большой парк, с улицами-аллеями, освещенными электричеством. Увидев нас, женщина радостно вскрикнула, всплеснула руками и тут же повела в опрятную комнату, где на яично-желтом от чистоты полу было расстелено

* Лесной парк (*латышск.*).

одеяло, а на нем важно восседал Ванечка, отчаянно стуча колотушкой по деревянному кубику. При каждом ударе он на мгновение закрывал глаза и через секунду изумленно озирался, блаженно улыбаясь, и та же блаженная улыбка отражалась на лице матери.

Мы сидели и разговаривали. Стелла Моисеевна давала медицинские советы; она также принесла немного медикаментов на случай легкого недомогания. При прощании мне в руки был сунут кулек сахара. Я не хотела брать, но услышала умоляющее:

– Сестричка, возьмите и не обессудьте. Мне нечем вас отблагодарить за счастье, которое вы нам подарили, так уж возьмите, пожалуйста.

И я взяла. Я и моя милая подружка Мира, которая тоже начала работать в детдоме, долго еще пили сладкий чай, зачерпывая по одной-единственной ложечке на стакан из драгоценного мешочка.

* * *

Я жила в общежитии с "мамашами". Они устраивали вечеринки с угощением и водкой и приглашали своих знакомых, большей частью военных. Сначала пели, шутили и "прикладывались" вполне прилично, но затем, после усердного "прикладывания", контроль терялся, одни делались задумчивыми и сосредоточенно смотрели в точку, другие настырно добивались от соседа: "Коля, ты меня *уважашь*?" Количество сглатываемых гласных зависело от количества выпитой водки. Если сосед соглашался и уважал – оба за то и выпивали еще разок, но если он был уже в стадии оцепенения и не реагировал, то уязвленный собеседник задавал следующий вопрос: "А в морду хошь?", на что оцепенелый сосед без единого слова вдруг вскакивал и набрасывался с кулаками. Начиналась драка. Остальные гости бросались разнимать. Если это были русские, они мирились и продолжали выпивать, если латыши, то расходились по углам и каждый продолжал пить в одиночку. На одной из таких вечеринок

случилось необычное. Когда разгорелась драка, молодой лейтенант выхватил из кобуры револьвер и закричал:

– Убью, сволочь!

Кто мог, бросились вон из комнаты, несколько девушек закатили истерику.

– Ты, что, пьяная рожа! – заорала я и схватила его за руку. – В тюрьме хочешь сгнить? А ну, бросай револьвер!

Револьвер выстрелил, и пуля оцарапала мне ухо. Хмель мигом выскочил из лейтенанта, он побелел, как полотно. Я оглянулась: изо всех углов смотрели на меня с бледных лиц расширенные страхом глаза. Сама я ничего не почувствовала, только когда девушки прибежали с йодом и ватой и начали вытирать кровь, я поняла, в чем дело. Лейтенант бросился на колени, целовал мне руки и умолял о прощении. Я почувствовала страшную усталость, хотелось уйти, укрыться и никого не видеть. Но то было общежитие, и укрыться негде даже на несколько минут. Я вышла на веранду, выходившую в сад, чтобы хоть на минуту остаться одной. За закрытой дверью возобновился шум вечеринки, на сей раз без драки. Было начало мая 1946 года. Черемуха отцветала, воздух был полон ее незабываемым горьковатым запахом. Наверное, где-то есть другая жизнь, без этих бестолковых вечеринок, заканчивающихся драками. Где-то на таких же верандах люди слушают музыку, говорят о книгах... но где? Мне туда не попасть. Кому интересна одинокая "мамаша", недоучка, "психолог детей раннего возраста"? Будущее – безрадостная серая пелена – разостлалось передо мной.

Дверь скрипнула. Наверное, протрезвевший лейтенант снова пришел извиняться и выпить в знак прощения. Но нет, то был высокий солидный господин, именно господин, с сугубо штатским интеллигентным лицом. Он пошатывался слегка, но попросил разрешения познакомиться. Он не походил на обычных посетителей общежития.

– Вы удивлены моим появлением в этой компании? И я, признаюсь, удивлен видеть здесь такого человека, как вы.

Мне понравилось, что он не сказал "такой девушки", как говорили другие гости.

– Я понимаю, что есть обстоятельства, заставляющие людей жить в среде, не подходящей их внутреннему складу.

– Это вы о себе или обо мне? – спросила я, как казалось мне, иронически.

– И о себе, и о вас, – улыбнулся он.

Мне понравились его мягкий голос, хороший русский язык и юмор, отдающий грустью. Он рассказал, что был редактором большой московской газеты, но по некоторым обстоятельствам должен был оставить эту должность, и вот очутился в Риге. Он интересно рассказывал о Москве и скудно отвечал на расспросы о своей работе.. Вот, подумала я, и нашелся человек, с которым можно поговорить о книгах и о музыке. На прощание он попросил разрешения прийти еще побеседовать.

– Признаюсь, вы меня поразили. В вас скрыто много силы.

Он пожал мне руку и ушел, ни с кем не прощаясь и нисколько не пошатываясь. После его ухода один капитан, постарше, подошел ко мне и конфиденциально спросил:

– А знаешь, Манькова, кто с тобой разговаривал?

– Не знаю, а кто?

– Это же всей Москве известный редактор "Известий"!

– Что же он делает в Риге?

– Какая-то история с женой, с которой он разошелся. Ушел с работы по личным причинам.

Вот, подумала я, человек того круга, куда я никогда не попаду. Разумеется, на этой выпивке он оказался случайно и никогда сюда не вернется. Я так и не успела как следует поговорить – а ведь так много накопилось на душе!

Но этот пришелец из другого мира стал приходить без вечеринок и выпивок. Мы сидели за одной рюмкой (без начальной рюмки ни одна беседа не мыслилась) и говорили на разные темы. Я рассказывала о жизни на фронте, о буднях войны, он – о страшном голоде на Украине, и то, что он рассказывал, было страшнее самых жестоких боев.

– Знаете, – говорил он медленно, вдумываясь, – мой дед прожил всю жизнь в деревне. Когда я, восторженный комсо-

молец, укорял его в несознательности, он улыбался, гладил бороду и хитро приговаривал:

– Н-нда, про сознательность не скажу, но при батюшке-царе и хлеб был, и на Рождество в каждой семье борова кололи, так что визг стоял на всю деревню, а уж о всякой живности – курах там или гусях – о том и говорить нечего. Ну, конечно, и самогона всегда хватало. А сейчас сознательности хоть отбавляй – правда, и самогона хватает, – но вот насчет мяса, сахара и прочего – куда все подевалось?

Я яростно нападал и кричал, что ведь была революция, мы, большевики (я гордо причислял себя к борцам революции), кровь проливали за Советскую власть, а ты тут мелешь про гусей и курей! Дед дожидался, когда мой запал прогорит, и снова спрашивал:

– Скажи, милок, зачем воевали? Чтоб рабочему и крестьянскому человеку легче жилось? Не так ли?

Я, конечно, соглашался.

– Ну, а где эта легкая жизнь, когда хлеба не хватает до конца года?

Рассерженный, я уходил, хлопнув дверью. Я не знал, что ответить.

...Гость стал приходить чаще, обычно, когда общежитие пустовало. Водку и закуску, то есть хлеб, масло, колбасу, он приносил с собой. Конечно, он был уже под хмельком, когда язык развязывался сам собой. Однажды он настаивал, чтобы я выпила тоже, иначе ему трудно быть откровенным, я сказала, что и так "очень уважаю" его и это не нужно доказывать выпивкой. Он тут же понял намек на стереотипное "Вань, ты меня уважашь?" и расхохотался, потом замолчал и долго смотрел на хлеб, масло и колбасу с какой-то тяжелой серьезностью, не соответствующей моим радостным предвкушениям. Все разложенное на столе было для меня сказочным пиршеством, потому что мы в общежитии всегда были в стадии легкого голода. Я и Мира дошли до того, что поджаривали картошку на рыбьем жире, потихоньку принесенном из детдома.

Очень медленно, по слову, он начал рассказывать о страш-

ном украинском голоде. Я слушала, и кусок хлеба с колбасой, который я собралась долго жевать, чтобы насладиться его острым вкусом, застрял у меня в горле – буквально, а не фигурально, – и я закашлялась. Он рассказывал об этом голоде сейчас, годы и годы спустя, под строжайшим секретом.

Его, комсомольского активиста, послали из Москвы на Украину в один из колхозов. В Москве было голодно. Говорили, что на плодородной Украине всего вдоволь. Его задачей было содействовать вывозу пшеницы, скота и молочных продуктов. И вот – поголовный голод. Активисты, особенно из Москвы, получали усиленный паек, то есть полкило хлеба, иногда и яйцо. Чтобы это съесть, он убегал в поле, так как не мог слышать воя голодающей деревни. Но в поле, подальше от его деревни, делался слышен чуть приглушенный расстоянием вой других окрестных деревень. Его как активиста из Москвы "органы" вывезли, но из украинцев никто не спасся. Вся территория была оцеплена войсками, и миллионное население от мала до велика погибло страшной голодной смертью.

– И никто не знал, или все молчали? Вот вы, редактор большой газеты в Москве, вы же в центре, вы на вершине событий! И вы об этом нигде никогда ни слова?

Он смотрел на меня сквозь очки с какой-то участливой улыбкой.

– Эх, вы, задорная наивная женщина! – и опять мне понравилось, что он не употребил стереотипное "девушка". – Такая бесстрашная и такая беззащитная! – и погладил меня по голове. – Давайте выпьем на прощание и забудем этот разговор.

Мы вышли.

– Прощайте, я, наверное, больше не приду, но вас буду помнить.

Голос его немного дрожал.

– Прощайте, – ответила я. – Желаю вам больших успехов на вашем поприще и скорого возвращения в Москву.

Но то было неправдой. Мне хотелось, чтобы он остался

в Риге и приходил, чтобы хоть на час приближал меня к своему "высшему" миру. После его ухода знакомая капитана зашла ко мне.

– Ушел, и слава Богу. Ты, Манькова, с ним не связывайся. У него жена.

– Ты же говорила, что он развелся?

– Разводка осталась в Москве, а в Риге у него другая, евреечка, молоденькая и хорошенькая. Чего его на евреек тянет?

– Ну и на здоровье ему! – беззаботно ответила я и прекратила дальнейший разговор. Ведь я знала, зачем он приходил. Он приходил поговорить о том, о чем не смел вымолвить и звука в своем "высшем" кругу. Я поняла, что он меня никогда в этот круг не введет – ведь тут, "внизу", он может позволить себе сбросить хоть на короткое время груз, который, как я уже поняла, давит на него годами. Видно, сам испугался своего откровенного разговора, подумала я. Интересное знакомство, но хорошо, что оно кончилось, потому что есть в этом что-то унизительное. Когда ему тяжело, он приходит, сбрасывает тяжесть и уходит, а я существую для него, как... Ладно, Эстер, давай без сравнений...

Жизнь шла своим чередом. Из Москвы пришел положительный ответ насчет курсов по психологии детей раннего возраста. В сентябре я поеду в Москву. Что будет с сыночком, который так ко мне привязан? Ему уже около двух. Несколько месяцев назад он поднялся на ножки и сейчас делал первые нетвердые шаги. Если я уеду, он будет искать меня и плакать, плакать. С другой стороны, надо обрести профессию, иначе, как жить и содержать ребенка? Надо пойти посоветоваться с Айной, правда, в последнее время я немного отдалилась от нее, но это не имеет значения.

Однажды утром на работе мне сообщили, что какой-то человек просит меня выйти к нему – он будет ждать в моей комнате. Я удивилась: у меня не было знакомых, которые запросто могли бы вызывать меня утром. Я не спешила и не любопытствовала. Наверное, какая-то ерунда. Закончила дела и прямо в халате прошла в общежитие. Бывший редактор

"Известий" сидел там в глубокой задумчивости и при виде меня вскочил, что не вязалось с его солидной фигурой, протянул обе руки и усадил меня возле себя. Я извинилась, что не могу задержаться надолго – я на работе. Он, как показалось, моих слов вовсе не слышал. Его глаза лихорадочно блестели сквозь очки, руки дрожали. Он заговорил быстро и бессвязно:

– Я знал, что ты придешь. Я тебя так ждал, так ждал, что ты должна была прийти.

Я подумала, что он пьян, так он не был похож на самого себя. Где вежливое обращение на "вы", медленная вдумчивая речь? Но он был трезв, хотя с ним творилось что-то непонятное.

– Я долго не приходил. Я боролся с собой. Я знаю, что я и сейчас не должен был приходить, но вот я здесь, – и както криво, жалко улыбнулся. – Я знаю, ты сильнее меня. Ты поразила меня с первой минуты, когда бросилась на лейтенанта. Вот ты сидишь, вся в белом, точь-в-точь – Варенька Олесова*.

"Вся в белом, – подумала я, – это мой сестринский халат, весьма застиранный..."

– Как Варенька Олесова, – повторил он, – и так же недосягаема...

Тут он внезапно обнял меня и жарко забормотал, что не может без меня, что я буду его, и т. д.

– Успокойтесь, что с вами? Ведь у вас молодая красивая жена!

– Жена – да. Молодая и красивая. Но это не то, не то. Она не понимает, а вот ты все понимаешь. – Он обхватил мое лицо руками. – Ничего не бойся, я буду заботиться о тебе всю жизнь. О тебе и о твоем сыне. – Голос его стал тихим, уверенным. Даже убежденным. На минуту мелькнула мысль, как хорошо бы довериться этому человеку, как прекрасно, когда кто-то старший и опытный заботится о тебе в беспросветной жизни.

---

* Героиня одноименного горьковского рассказа.

Не знаю, чем бы все закончилось, если бы он замолчал, но он продолжал:

– Я не какой-то там лейтенантик где-нибудь на фронте, который тебя обманул и бросил...

Я очнулась. Ничего он не понимает. К фронту, наверное, и не приближался. Для него фронт что-то грязное, тяжелое, страшное. Для меня – героическое и наиважнейшее. Для него моя первая любовь – незначительное приключение, а я сама – просто жертва этого приключения.

Я высвободилась и отступила на несколько шагов.

– Он был не "каким-то лейтенантиком", а отцом моего ребенка, мы по-настоящему любили друг друга. Он не бросил меня, а был убит на фронте в сорок четвертом году.

Он молчал, уставившись на меня.

– Вы больше сюда не приходите.

Он поднялся с той своей жалкой, кривой улыбкой.

– Что ж, прощай, Варенька Олесова. Надеюсь, что пересилю себя и больше не приду.

– Прощайте!

Наверное, он все-таки был хорошим человеком...

Ну, Варенька Олесова, сказала я себе, причешись скорей и марш на работу, а то директриса задаст тебе такую трепку, что вмиг забудешь все литературные сравнения.

Через несколько дней, под вечер, когда мы с Мирочкой пили чай с настоящим сахаром из того самого заветного мешочка, сунутого мне в руку приемной матерью Янички-Ванечки, к нам ворвалась одна из "мамаш".

– Манькова, к тебе опять какой-то парень пришел. Хорошенький такой. На улице ожидает. – И прибавила, глядя на Миру: – Везет ей на мужиков в последнее время, а сама из себя так, не очень чтобы...

Кто бы это мог быть? У меня нет друзей и знакомых! На улице нетерпеливо расхаживал взад и вперед какой-то невысокий человек. Приблизившись, я узнала его, это был Мика (Михаэль Б.) из нашего движения, мы часто виделись на съездах, но за годы войны ни разу не встретились. Мы отошли подальше от дома, и он без всяких предисловий спросил:

– Ты помнишь, о чем разговаривала с Леей?

За все это время тот разговор, глубоко запрятанный внутрь, ни разу не выплыл на поверхность, но я его помнила от слова до слова и мгновенно поняла, о чем речь. Я кивнула.

– Ты согласна ехать через месяц, максимум через два?

– Да.

– О подробностях я тебя уведомлю через два-три дня, а теперь всего! (то есть "до свидания!").

– Мика! – закричала я вдогонку. – А что же я скажу всем в доме? Ты же видел, как у них носы прилипли к стеклу от любопытства?

– Скажи, что я за тобой ухаживаю. Чем не кавалер?

Он ухарски махнул кудрявым чубом и растворился за углом.

Все вокруг изменилось, хотя ничего не сдвинулось с места. Изменилась я. Одним наикратчайшим "да" я вытолкнула себя из этой действительности, которой уже не принадлежала.

Уже не имели значения ни директорские разносы, ни курсы в Москве, ни временные знакомства, и даже многолетняя дружба с Мирой и Айной – отошли, и я осталась вне всего, очерченная кругом, никому и ничему не принадлежала, оглушенная, будто нахожусь под колоколом и внешние звуки, хотя они и совсем рядом, уже до меня не доходят.

На вопрос Мирочки, кто это был, я ответила, что это Мика Б., которого она тоже хорошо знала. Услышав, что я здесь, он забежал сказать "шалом". На вопрос, почему я не пригласила его выпить чаю, я ответила, что он спешил, а кроме того, тут же пошли бы сплетни. Это удовлетворило Миру, и она больше ни о чем не спрашивала, голова ее была занята личной проблемой, вошедшей в ту пору в решающую стадию – принять ли предложение Зиськи, будущего ее мужа, и это меня спасло.

Через несколько дней я встретилась с Микой в условленном месте на углу центральных улиц, и он передал мне точные инструкции.

Здесь мне придется пояснить, какова была в социалистическом государстве, точнее, в СССР в 1946 году, процеду-

ра переезда из города в город даже на короткое время. Иначе читатели нынешнего поколения удивятся суматохе и дикому напряжению, которыми обставляется такое весьма обычное действие, и даже, пожалуй, возмутятся, как однажды возмутился мой сын, слушая в Эйн-Геве* рассказы новоприбывших о советской жизни: отчего граждане СССР так пассивны и покорны? Отчего бы им не взять да уехать, если не в другую страну, так, по крайней мере, в другое место, в другой город, в другой конец Советского Союзе? Как уехать – спросила я моего сына. Как? – возмутился он дурацкому вопросу. – Пойти на вокзал, купить билет и уехать! В своем западном простодушии мой сын полагал, что в любой стране, при любом режиме можно всегда за деньги купить проездной билет!!! В любом угодном тебе направлении!!! Так вот, для него и для его товарищей я поясняю: чтобы даже временно выехать из города в город, а тем более из республики в республику, требовалось представить в кассу официальное направление с места работы, иначе невозможно было достать билет на поезд. Разрешение начальства о том, что ты законно оставил место работы, требовалось предъявить в разных местах, следовательно, нужно было иметь несколько копий этого разрешения. Но даже и имея удостоверение, надо было выстоять в очереди день или целую ночь за билетом. Мика сказал, что если будет удостоверение, то есть официальное направление в Вильно, кто-нибудь станет в очередь и добудет для меня билет.

– Но ты понимаешь, что такую бумагу должна раздобыть сама.

Я понимала, но как это сделать? Советоваться не с кем. Надо искать выход самой. И я его нашла. Ведь все-таки есть еще дружба. Я пошла к Нинке, бешеной Нинке, полуеврейке-полуармянке, с которой мы были вместе на реке Пьянке и потом все годы в одной дивизии, в одном полку, в санроте. Нинка работала секретаршей комиссара здравоохранения латышской республики. Она очень обрадовалась мне.

* Кибуц, в котором я живу с момента прибытия в Израиль.

Мы сидели у ее письменного стола, попивали чай с наркомздравовским печеньем и болтали о судьбах общих знакомых, участников войны. Я мучилась, как лучше подойти с моей просьбой, и вдруг Нинка заявила:

– Ты что, Этька, просто проведать пришла или тебе что-то нужно?

В те времена никто не ходил в гости в рабочее время, да еще и на место работы.

– Нинка! – сказала я напрямую. – Хоть ты и бешеная, и вспыльчивая, но дурой я тебя никогда не считала. У меня действительно просьба. Мне нужно направление в Вильно. Если ты не можешь – забудь обо всем. Ведь мы подруги.

Горящие Нинкины глаза вперились в меня. Молчание длилось так долго, что я уже хотела сказать, что ладно, этого разговора не было, но она, раздумывая, промолвила:

– Теперь я понимаю, куда исчезли некоторые еврейские врачи! Ладно, посиди!

И она скрылась в комиссарском кабинете, который, на мое счастье, был пуст. Нинка вышла оттуда с увесистой печатью. Остальное было делом нескольких минут. Нинка ловко отстукала на машинке удостоверение, что я, психолог детей младшего возраста, работающая там-то и там-то, направляюсь в город Вильно на предмет изучения состояния развития детей в детских домах таких-то (точные адреса). Подпись комиссара в Нинкином исполнении, печать и весь вид бумаги были очень солидные.

– Спасибо, Нинка!

– За что? – быстро прервала она меня. – Мы ведь боевые подруги. Спасибо тебе, что зашла.

Я все поняла и больше не распространялась о благодарности, но перед уходом мы крепко расцеловались. Это было прощание. Больше я мою Нинку не видела.

Я ждала трамвая, чтобы вернуться к себе в Пардаугаву. Итак, первый шаг сделан. Теперь они, то есть те, кто рисковали своей свободой и жизнью, чтобы такие, как я, могли выехать, сумеют достать мне билет. Сейчас наступает самое трудное: как вывезти из детдома моего сына, если нам не

разрешается даже выйти с детьми на улицу погулять? Я сосредоточенно думала над этой задачей, а взгляд скользил по противоположному тротуару. Там проходила оживленно беседующая пара. Ее лицо было освещено влюбленной улыбкой. Блестящие карие глаза, чуть вьющиеся волосы, свежая, розовая – сама юность. Цветастое платье и легкая жакетка.

"Господи, до чего хорошенькая!" – подумала я рассеянно.

Он, высокий, солидный, наверное, намного старше нее, говорил что-то, чуть наклонившись, и она счастливо смеялась. Из своего душевного отдаления я все же немного позавидовала ей – есть на свете веселые счастливые люди! Раздался грохот приближающегося трамвая, солидный кавалер повернулся, сверкнули очки, и я узнала страстного поклонника "Вареньки Олесовой". Я не хотела, чтобы он меня видел, и скрылась за очередью, что было, конечно, лишним – вряд ли бы он заметил меня с высоты своего роста. Но я уже не завидовала юной хорошенькой женщине. Как хорошо, что все кончилось, не начинаясь, и не надо ни от кого близкого ничего скрывать и перед кем-то притворяться.

Целыми днями я неотступно думала, как забрать ребенка. Выкрасть его я не могла, потому что двадцать четыре часа за домом наблюдали дежурные, и если ребенка не окажется на месте, за мной вышлют милицию. Последствия для меня и для тех, кто мне помогает, ясны. Необходимо найти другой выход. Надо посоветоваться. Но с кем? Кому довериться? Сомнения измучили меня. В это самое время подошла радостная Стелла Моисеевна и сообщила, что все устроено, она вытребовала для меня в Москве общежитие, препятствия устранены, и первого сентября я отправляюсь в Москву. Наверное, что-то отразилось в моем лице, потому что она добавила:

– Не волнуйтесь, Манькова, за сына. Я отвечаю за то, что за ним будет хороший уход. Отправляйтесь и учитесь спокойно. Вы должны преуспеть в учебе!

Усилием воли я изъявила удовольствие и поблагодарила ее. В ту ночь мне предстояло дежурство (в ночных дежур-

ствах участвовали все, кроме директрисы). На этот раз оно совпало с дежурством лечащего врача Коган. Она была на год-два старше меня, с милым приятным лицом, вся – домовитость, уют, душевная мягкость и интеллигентность. Наверное, человек, у которого такая жена, должен быть очень счастлив. В наши прежние совпавшие ночные дежурства она рассказала, как муж сделал ей предложение. Это произошло в поезде. Ей преподнесли прекраснейший букет цветов (заказанный им), он открыл бутылку шампанского, она пригубила, и у нее закружилась голова. Тут он обнял ее одной рукой и наклонил ее голову к себе. ("А может, я сама наклонилась", – улыбнулась она милой улыбкой). И заговорил о своей любви, о том, что жизни без нее он вообще не мыслит. Они поженились, и у них родился сын. Война прошла для нее стороной: эвакуация была сравнительно легкой, муж, морской офицер, вернулся цел и невредим, жизнь текла достаточно спокойно и гармонично.

Не знаю, то ли уютный свет настольной лампы (мы сидели в директорском кабинете), то ли ее добросердечное, такое милое лицо разоружило меня, но я молниеносно решилась на полную откровенность.

– Доктор Коган, я хочу с вами посоветоваться.

И я рассказала о моей поездке. Сначала она смотрела вопросительно, потом участливо, но по мере моего рассказа глаза ее делались шире, и я не могла понять, то ли она очень удивлена, то ли очень испугана. Стало не по себе. А вдруг я ошиблась? Я, конечно, не назвала ни одного имени и ни одного адреса, но себя я выдала с потрохами, и мне сделалось страшно.

Однако ее реакция была так неожиданна, что я забыла удивиться.

– Ох, Манькова! Как я вам завидую! Вы осмеливаетесь рисковать всем ради мира, о котором мечтаете. У меня же нет такой решимости. Я бы побоялась...

Она, имеющая все, что именуется "женским счастьем", завидует мне, не имеющей ничего, кроме сына?! И снова я ощутила, как поднимаются во мне ростки гордости, придав-

ленные намертво еще в расторгуевском санатории матери и ребенка.

Мы вернулись к насущной проблеме: как мне уйти? Ведь Стелла Моисеевна наверняка меня не отпустит так просто. Могу ли я довериться ей?

– Боже упаси! – вскричала испуганная доктор Коган. – При ее бурном характере, к тому же она преданная коммунистка, и брат ее работает начальником в НКВД!

– Что же делать?

Она задумалась, а я молчала, с ожиданием глядя на нее.

– Вы говорите, отец вашего ребенка погиб на фронте и вам это достоверно известно? Но ведь случаются ошибки?! – полувопросительно заговорила она, и глаза блеснули лукавством. – А вдруг он остался в живых, нашел ваш адрес и просит вас с сыном к нему приехать? У кого хватит жестокости лишить вас возможности начать настоящую семейную жизнь? А наша начальница хоть и взбалмошная, но доброй души женщина.

Я восхищенно смотрела на нее. Я бы до такого никогда не додумалась!

При встрече я передала Мике Нинкино направление из минздрава и сообщила о моем плане, как получить от дирекции официальное разрешение оставить работу и забрать ребенка. Мика план одобрил и пообещал, что самое позднее через неделю я получу письмо из Ленинграда. Действительно, вскоре прибыло письмо. Это было замечательно убедительное, трогательное письмо, оно повествовало о неустанных поисках любимой жены по всему Союзу на протяжении вот уже более года. Высказывалась тоска по сыну, которого отец успел увидеть лишь двухнедельным. Шел длинный перечень бытовых подробностей насчет комнаты и зарплаты, и так далее и тому подобное. Я перечитывала это произведение искусства доктору Коган, и она даже прослезилась. Меня охватила дикая тоска: наконец я получила письмо, которое страстно желала в свое время. И вдруг поняла, что отдать это письмо в директорские руки как правдивое доказательство преданности человека, погибшего два года назад на фронте, и

его желания построить со мной семейную жизнь, отдать письмо, в котором есть упоминание о его последнем посещении, – значит надругаться над нашей короткой, прекрасной и подлинной, по крайней мере для меня, любовью.

– Доктор Коган! Я не смогу говорить с директрисой об этом письме. Мне тяжело врать.

– Мне кажется, я вас понимаю. Но вы только дайте ей письмо, а в остальном положитесь на меня.

Я была глубоко благодарна ей. Мы пошли к директрисе. Стелла Моисеевна внимательно читала письмо, откинувшись в директорском кресле. Доктор Коган сидела напротив на стуле, а я стояла – ведь я была просительницей. Закончив чтение, Стелла Моисеевна прищурила свои и так близорукие глаза и сразу бросилась в атаку:

– Вы что, Манькова, совсем сошли с ума? Перед вами открывается будущее! Вы получите профессию и со временем высшее образование! – она мельком взглянула на письмо. – Нашли для вас комнату! Подумаешь! Да я сама дам вам отдельную комнату, когда вернетесь с курсов.

Я стояла, опустив голову. Но тут доктор Коган прервала директорский монолог:

– Стелла Моисеевна, о чем вы говорите! Ведь не о комнате речь! Она едет к мужу наладить семейное счастье и дать ребенку отца! Вы ведь и сами говорите, что ребенку нужна семья!

– Э, счастье! – отмахнулась Стелла Моисеевна. – Кто знает, какое там еще счастье! Если он такой преданный и любящий, где ж он был полтора года, когда о нем не было ни слуху ни духу! Почему он не приехал сам ее забрать? Вот что, Манькова, не верьте мужчинам, они ненадежный элемент. Вы его давно не видели. Что будет, если он вас с ребенком бросит в Ленинграде? А я вам предлагаю серьезную карьеру и будущее.

Доктор Коган со своим опытом семейного счастья очень обиделась за пренебрежение к мужчинам и с жаром стала доказывать, что нет счастья выше семейного и что Стелла Моисеевна хочет меня лишить этого счастья. Она так искренне

защищала это мое "семейное счастье", что мне сделалось не по себе.

– Что-то на лице Маньковой я не вижу отражения этого великого счастья. Наверное, она сама не уверена в том, что ее ожидает.

– Стелла Моисеевна! – вырвалось у меня. – Я не знаю, на что я еду и что со мной будет, но я ДОЛЖНА ехать!

Воцарилось молчание. Стелла Моисеевна немного растерянно говорила, что уже посланы в Москву все документы, что же будет, если я не поеду? Ведь этим я ее очень подведу. И опять-таки доктор Коган нашла выход из положения.

– Стелла Моисеевна, до сентября еще много времени. Пусть поедет. Если вы окажетесь правы, она вернется и отправится в Москву. Если же все устроится и Манькова найдет мужа, а ребенок – отца, то вы сделали доброе дело. Даже в Москве поймут, что семейное счастье превыше всего.

Стелла Моисеевна ворчливо согласилась. Я получила разрешение забрать ребенка и впридачу пеленки и немного одежды.

За два дня до отъезда я пошла проведать Айну и ее семью. Все было по-прежнему в любимом мною доме. Дамберг сидел на своем обычном месте у стола, маленькая Парслиня, увидев меня, тут же вскарабкалась ему на колени и принялась, как всегда, теребить дедовы пушистые усы, Айнес-мама по обыкновению хлопотала на кухне, но тут же оторвалась от плиты и набросилась на меня с криком:

– Ты что себе думаешь, Этька? Ты, может, там, в Пардаугаве, большим начальником заделалась или миллионершей стала, что с нами знаться не хочешь? Сколько времени уже как ты у нас не была?

Старый Дамберг, так же любовно-насмешливо поглядывая на жену, заметил, что миллионеры вышли из моды. Айнес-мама тут же, как всегда, отрезала, что она, конечно, в жизни ничего не понимает, но что миллионеры живут – огого! -- припеваючи и сейчас, хотя и не так открыто, но они, разумеется, не компания ни для Айночки, ни для Этьки. При этой пикировке Айнес-мама времени не теряла. На столе уже

стояли тарелки, исходя вкуснейшим паром, уже был нарезан хлеб.

– Ну, садись к столу, миллионерша! – крикнула она, и мы все рассмеялись. В этот момент дверь открылась и в кухню стремительно вошла... кареглазая стройная женщина... нет, сгусток радости, силы и энергии! Айна мимоходом бросила: "Молодец, что пришла и нас не забыла" и кинулась к дочке, тут же перекочевавшей с дедушкиных колен в объятия мамы. Началась веселая семейная болтовня, в которой я не принимала участия. Но когда волна встречи схлынула, Айна сказала:

– Ладно, хватит болтать, рассказывай, Этька, как твои дела!

Я рассказала о неожиданной переквалификации и представила в лицах свои первые шаги на поприще психолога детей младшего возраста. Особенный успех был у директивы "я же вас назначила психологом, вы и должны знать!" Потом я рассказала о курсах в Москве. Айна очень обрадовалась:

– Видишь! Я знала, что ты не пропадешь и найдешь свое место!

– Ты, Айна, умна больно других учить, когда у твоей Парелы есть бабушка и дедушка, на которых ты оставляешь ее каждый день, а кто будет за Этькиным сыном смотреть? Чужие тетки? Сама знаешь, какая от них польза.

И снова я подумала, в который раз, что эта деревенская женщина многое понимает лучше нас всех.

Мы еще оживленно беседовали, но я уже начала мысленно прощаться. Я смотрела на просторную добротную кухню – такая кухня могла быть только у замечательной хозяйки, на лица, бывшие мне почти родными, и знала, что больше их никогда не увижу и никогда не забуду.

Я собралась уходить. Айна обняла меня, пожелала успехов в учебе и, как всегда, подбодрила (у нее это выходило веско, не просто так) :

– Не унывай, Этька! Может, и другие дела устроятся, главное, гляди веселей!

Айнес-мама поворчала на нынешнее поколение – женщин, забывших, что главное – это растить детей.

– Но если уж решила учиться, помни: без диплома со всеми пятерками лучше не возвращайся!

Дамберг сдержанно пожал мне руку и сказал, что я вступаю на новый путь, и путь этот не близок и не легок. Он говорил о высшем образовании и перемене профессии, но слова о новом и неблизком пути возбудили во мне неодолимое желание сообщить ему, хотя бы намеком, о принятом мною решении судьбы.

– А знаете, товарищ Дамберг (ужасно захотелось сказать "господин Дамберг", но я сдержалась), может, редко, но бывает в жизни, что мечты, даже самые заветные, сбываются. Пожелайте мне удачи в моем новом и, как вы сказали, НЕБЛИЗКОМ пути.

В глазах его мелькнуло замешательство, но потом он, видно, вспомнил наш разговор. Он взял мою ладонь обеими руками, крепко сжал ее и, смотря мне прямо в глаза, каким-то новым голосом торжественно произнес:

– Желаю вам, Эстер, большой удачи и – скорее достигнуть цели на вашем тяжелом пути.

– Ну, что ты, папа, заговорил, как пастор в церкви? – изумилась Айна.

– Что ж, когда человек выбирает путь и этот путь новый – это требует некоторой торжественности.

И старый Дамберг улыбнулся своей всепонимающей улыбкой.

Я быстро простилась и вышла, и, когда спускалась по ступеням, Дамберги стояли на верхнем пролете и махали мне рукой. Такими я их и запомнила навсегда.

Через два дня я попрощалась с персоналом, выпила с "мамашами" по рюмочке, причем все шумно пожелали мне счастья, а некоторые даже позавидовали: нежданно-негаданно нашелся муж, считавшийся убитым, зовет к себе... похоже на чудо. Я не возражала, что чудо, и только просила не провожать меня на Ленинградский вокзал (ведь я уезжала в Вильно). Мирочка к тому времени уже решила личную проб-

лему, то есть ушла жить к мужу, и мне не было нужды перед ней притворяться.

В двенадцать ночи за мной приехал сопровождающий из организации "Бриха"*, то есть из той подпольной группы, которая, преодолевая бесчисленные и неодолимые, как казалось, преграды, взяла на себя труд и опасность вывозить таких, как я, из Советского Союза в Эрец-Исраэль.

Да, Эрец-Исраэль был конечной целью моего пути, которую я выбрала наконец-то сама, по своей воле, впервые после долгих дорог войны и скитаний.

---

* В буквальном переводе слово "бриха" означает "побег". Название подпольной организации, состоящей из бывших членов сионистского движения. Целью организации был перевод через границу евреев, желавших совершить "алию" – репатриироваться в Израиль.

СОДЕРЖАНИЕ